

Эдуард Клаудиус



ЭДУАРД КЛАУДИУС

О ТЕХ, КТО С НАМИ

РОМАН

Перевод с немецкого

В. СТАНЕВИЧ и И. ТАТАРИНОВОЙ

Предисловие

О. МЕЛИХОВА

Редактор

А. ДМИТРИЕВ

И * Л

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва, 1953

\\

EDUARD CLAUDIUS

MENSCHEN
AN UNSRER SEITE

BERLIN, 1952

Предисловие

Лауреат национальной премии Эдуард Клаудиус принадлежит к тем немецким прогрессивным писателям, которые тесно связали свою жизнь с борьбой рабочего класса. Жизненный путь Клаудиуса типичен для многих немецких писателей-коммунистов.

Эдуард Клаудиус (род. в 1911 г.) вышел из рядов немецкого пролетариата и рано начал принимать участие в рабочем движении. В 1932 году, когда классовая борьба в Германии достигла наибольшей остроты, он вступает в Коммунистическую партию Германии и с этого времени отдает все свои силы борьбе против фашизма. Он становится подпольщиком в Руре, сражается с фашистами под Мадридом и Телуэлем, участвует в партизанском движении в Италии. После разгрома гитлеровцев Советской Армией Клаудиус возвращается на родину.

Творчество Клаудиуса с самого начала было неотделимо от его политической деятельности. Все его произведения носят боевой антифашистский характер. В романе «Зеленые оливы и голые горы» (1944 г.) он рассказывает о немецких коммунистах, бойцах Интернациональных бригад в Испании, о силе международного антифашистского движения, оказавшего поддержку испанскому народу в его мужественной борьбе против франкистских мятежников. В романе «Соль земли» (1947 г.) писатель изображает самоотверженную борьбу коммунистов Рура против фашизации страны в 1932—1933 годах. В своих новеллах Клаудиус описывает отдельные эпизоды гражданской войны в Испании и партизанского движения в Италии и Франции во время второй мировой войны.

Важнейшие перемены в жизни Восточной Германии выдвинули перед немецкой литературой новые темы и нового героя — строителя демократической республики, для которого труд на благо родины стал радостным творчеством. На конференции немецких прогрессивных писателей в августе 1950 года выступили передовики производства. Трудовой подвиг одного из них, Ганса

Гарбе, заинтересовал Клаудиуса, который увидел в этом яркое проявление изменившегося отношения к труду. Клаудиус посвятил Гарбе свой рассказ «О трудном начале» (1950 г.), а затем включил этот материал в большой социальный роман «О тех, кто с нами» (1951 г.).

В романе «О тех, кто с нами» Клаудиус рассказывает о борьбе нового со старым, о победе нового в жизни и сознании трудящихся ГДР.

В центре внимания писателя — народное предприятие, опорный пункт новой власти. Враги молодой демократической республики всячески стараются помешать развитию важной отрасли народного хозяйства. Западно-германские фирмы внезапно прекращают поставку сырья для народного предприятия, а бывшие владельцы завода организуют прямое вредительство. Их агенты травят честных работников, переманивают на Запад ценных специалистов, организуют саботаж и диверсии.

Героями романа являются простые честные люди — рабочие, техники и инженеры, беспартийные и члены СЕПГ. В образах строителей новой демократической Германии, «тех, кто с нами», нашли свое отражение такие важные социальные процессы, как рост политической сознательности трудящихся ГДР, развитие движения передовиков производства и формирование новой демократической интеллигенции. Клаудиус изображает СЕПГ как руководящую силу общества и показывает, как в партийном коллективе формируется характер, складывается мировоззрение нового человека.

В романе выведены образы членов СЕПГ. Не все они удались автору. Бакхаус, Зальбуш, Мальке очерчены очень бегло. Более полно обрисованы старые партийцы — Карлин и Венде. Это стойкие антифашисты, которых не могли сломить гитлеровские концлагери и тюрьмы. Клаудиус характеризует их как людей волевых, решительных, обладающих большим политическим и жизненным опытом.

Но прежде всего Клаудиуса интересуют изменения в сознании широких масс немецкого народа, происшедшие после войны, поэтому в центре внимания писателя оказывается представитель тех немецких рабочих, которые пришли в партию в послевоенный период. Это печник, активист производства Ганс Эре, прообразом которого послужил Г. Гарбе.

Клаудиус изображает Эре как человека, который всегда остро чувствовал несправедливость буржуазного общества, но который до 1945 года не видел возможности борьбы с ним. После разгрома гитлеризма он вступил в СЕПГ. Те грандиозные перспективы, которые партия раскрыла перед простыми людьми Германии, воодушевили его на трудовые подвиги, на борьбу с врагами. Работая на предприятии, принадлежащем народу, он выступил как рационализатор производства. В решительный момент, когда заводу грозила полная остановка, Эре оказался тем человеком, который спас предприятие от прорыва. В борьбе с маскирующимися врагами он завоевывает доверие и поддержку рабочих, которые раньше противились всякому нововведению. Эта победа рождает у него ощущение огромной силы своего класса, преобразующего мир.

Но Клаудиус не идеализирует своего героя. Он показывает, что развитие лучших качеств передового человека происходит в упорной борьбе с пережитками старого. Лишь постепенно, под влиянием воспитательной работы партии, на собственном опыте убеждаясь в правильности ее политики, герой Клаудиуса освобождается от груза старых представлений.

Некоторые рабочие завода продолжают еще смотреть на народное предприятие как на капиталистическое. Эре уже освободился от этого представления. Он любит свой завод, и труд для него — это радость, но он еще не избавился от старого недоверия к заводской администрации и пытается обойти ее в своих действиях. Партия в лице Венде и Фале помогает ему осознать свою ошибку.

Клаудиус изображает своего героя не только на производстве и в партийном коллективе, но и в быту. Эре замечательный активист и в то же время нежный отец и любящий муж. Однако Эре не может еще целиком преодолеть свои старые взгляды на женщину. Он помог своей жене понять смысл совершающихся в стране перемен и подготовил ее к вступлению в партию. Но когда она захотела принять активное участие в строительстве новой жизни и решила поступить на завод, Эре воспротивился этому. Он потребовал, чтобы она осталась дома. Катрин, в образе которой Клаудиус запечатлел черты новой женщины, сумела отстоять свое право на участие в общем труде, доказать, что она нужна заводу. Эре был вынужден признать неправильность своих взглядов.

Клаудиус показывает, как с изменением условий жизни, под влиянием личного примера таких людей, как Эре, изменяются взгляды на жизнь и труд у рабочих завода — Кербеля, Рейхельта, Зузы Рик и других. Они тоже становятся активистами, рационализаторами производства, борцами за высокую производительность труда.

В результате глубоких социальных перемен в стране меняется и лицо немецкой интеллигенции. Роман изображает процесс дифференциации старой немецкой технической интеллигенции. Одни из прежних служащих завода, такие как Марта Глюлинг, бегут на Запад вслед за своими хозяевами, другие после длительных колебаний решают остаться и служить новой власти. Так поступает, в частности, доктор Вассерман, образ которого, наряду с образом Эре, является значительной творческой удачей автора. Сначала Вассерман остается потому, что любит завод, на котором проработал всю жизнь, но постепенно трудовой энтузиазм Эре захватывает его, внушает ему веру в людей, которые самоотверженно строят новое общество. Таким людям, как доктор Вассерман, свойственны еще ошибочные представления и предрассудки буржуазной интеллигенции, но эти люди познают теперь самое важное — необходимость служить своему народу, и это определяет их дальнейший жизненный путь.

Наряду с изображением старой буржуазной интеллигенции Клаудиус показывает рождение новой интеллигенции в Германской Демократической Республике. Бывший электромеханик Карлин работает директором завода, слесарь Венде становится секретарем заводской парторганизации, Катрин выдвигается на руководящую работу в химической лаборатории, и путь самого Эре тоже ведет в ряды инженерно-технических работников.

Несколько особое место среди других представителей немецкой прогрессивной интеллигенции занимает в романе художник Андрицкий. Клаудиус связывает с его образом вопрос о развитии передового реалистического искусства. Андрицкий — талантливый художник из народа, он ненавидел гитлеровскую диктатуру и создал ряд замечательных картин, остро разоблачающих ее человеконенавистническую сущность. Он хорошо знал тяжелую жизнь своих земляков — рурских рабочих и правдиво запечатлел ее в своих произведениях. Но в Восточной Германии он столкнулся с совершенно новым общественным укладом, новым типом человека, и когда

попытался отобразить его, то сначала потерпел неудачу. Клаудиус показывает, почему это произошло: Андрицкий был одинок, оторван от жизни молодой демократической республики и не понимал значения тех огромных преобразований, которые происходили вокруг него. Единство с трудовым коллективом помогло художнику глубоко проникнуть в духовный мир передовых людей своего времени. Когда Андрицкий снова вернулся к живописи, он создал крупные художественные произведения, правдиво отображающие рост нового человека в условиях ГДР.

В своем романе Клаудиус показывает, как банда вредителей, во главе которой стоит мастер цеха Матшат, пытается помешать честным труженикам, строящим новую демократическую Германию. Матшат — отвратительный тип политического двурушника. По своим взглядам, вкусам и привычкам он принадлежит к тем старым мастерам фашистской Германии, которые всегда были верными лакеями своих хозяев. Он ненавидит все то новое, что появилось на заводе в условиях ГДР, и всячески старается затормозить его рост. Он спекулирует на отсталости части немецких рабочих и, ловко маскируясь, пакостит где только может. Он пробрался в СЕПГ, аккуратно выполняет партийные поручения, выдает себя за защитника интересов рабочих и таким образом обманывает людей.

Роман Клаудиуса учит ненавидеть врага и предостерегает против политической слепоты и ротозейства. Враг мог действовать лишь потому, что партийная организация завода ослабила политическую работу среди масс, а ее секретарь Бок потерял бдительность. В лице Бока Клаудиус создал яркий сатирический образ самовлюбленного партийного бюрократа, свысока смотрящего на простых рабочих. Он не терпит критики, не умеет организовать коллективное руководство, не считается с внутрипартийной демократией. Его «стиль руководства» — это либо команда, либо абстрактные рассуждения по общим вопросам. Он не пользуется авторитетом ни у членов партии, ни у беспартийных рабочих. Бок сознательно отрывает политические вопросы от производственных, считая, что производство его не касается. Поэтому в решающий момент он оказывается в стороне от острой политической борьбы, развернувшейся на заводе. Клаудиус отмечает, какую опасность представляют люди, подобные Боку. Позиция Бока приводит к тому, что он фактически становится пособником и покровителем Матшата и его банды.

Клаудиус вводит в свой роман несколько эпизодов из жизни Западной Германии. По контрасту они еще резче подчеркивают значительность тех социальных преобразований, которые происходят в ГДР. В Восточной Германии быстро развивается мирная промышленность и культура, вырастает новое поколение людей, решительно порывающих с представлениями старого буржуазного общества, и укрепляются основы демократического строя. В Западной Германии, наоборот, происходит свертывание мирной промышленности, растет безработица и нищета. Иностранцы империалисты с помощью западногерманских реакционных сил подготавливают новую захватническую войну; они восстанавливают военные заводы и ставят у власти фашистов, которые пытаются с помощью террора подавить национально-освободительное движение. Но и в этих тяжелых условиях, показывает Клаудиус, в Западной Германии растут прогрессивные силы: усиливается влияние КПГ, патриоты все чаще и активнее выступают против оккупантов. Роман Клаудиуса проникнут уверенностью в том, что вся Германия пойдет по пути ГДР. Художественное воплощение этой идеи — большая заслуга Эдуарда Клаудиуса.

Роман «О тех, кто с нами» не лишен некоторых недостатков.

Немецкая передовая критика справедливо указывала на то, что борьба героев романа мало связана с общей политической жизнью республики.

Как и в прежних произведениях, Клаудиусу больше удалось положительные герои, но и среди них имеются неудачные фигуры. Типизируя, писатель не всегда находит характерную деталь, меткое сравнение. Часть образов вообще лишена развернутой психологической характеристики.

Но в целом роман Клаудиуса является весьма ценным произведением. Он ставит актуальные политические проблемы, показывает, как укрепляется демократический строй в ГДР, как вызревают новые черты в сознании широких масс немецкого народа.

В современных условиях трудящиеся ГДР, сорвав фашистскую провокацию 17 июня 1953 года, все шире разворачивают движение за мир и демократию, за объединение страны. Роман «О тех, кто с нами» Клаудиуса служит немецкому народу в его борьбе за лучшее будущее Германии.



Наш завод стоит на далекой окраине Восточного Берлина, там, где уже начинаются огороды и беспорядочно разбросанные рабочие поселки; это лабиринт закопченных цехов и барачков; среди леса труб, среди зданий, в тесных длинных дворах повсюду лежат кучи мусора и шамотного кирпича. Тусклые, точно ослепшие, окна цехов и барачков затянуты паутиной, а покрытые копотью и угольной пылью фасады напоминают изношенную одежду. Возле самой трамвайной остановки высится темнокрасное кирпичное здание заводоуправления — в том холодном и напыщенном архитектурном стиле, который был в моде после франко-прусской войны.

Сюда не доедешь ни подземкой, ни городской железной дорогой — только на качающемся, дребезжащем трамвае. Вечером угрюмо нависшее зимнее небо озаряется перламутровым отблеском далеких берлинских огней, а в морозный полдень, когда небо очистится, на юго-востоке виднеются Рюдердорфские заводы для обжига известняков и за ними, на холмах, черно-зеленая кайма сосновых лесов, мягко оттеняющих бледно-голубой горизонт.

Ясные и сухие осенние деньки, когда в огородах от куста к кусту тянутся, поблескивая, паутинки бабьего лета, давно миновали. Ноябрьский ветер поднимает пепел и угольную пыль, и из заводских зданий и дворов заносит их даже в комнатухи рабочих и в деревянные хибарки огородников.

Но несколько дней назад, в первую неделю декабря, зарядил дождь. Непрерывно сеялась серая изморось и прибила наконец клубы угольной пыли. Сейчас, во вторую неделю декабря, воздух пахнет снегом, тяжелые тучи заволокли небо, и ветер хватает за лицо ледяными пальцами.



I

Когда печник Ганс Эре возвращался по вечерам с завода, начинались рассказы. Даже не смыв грязь, которой покрывавшую его руки и худое, резко очерченное лицо с длинноватым носом и всегда задорным взглядом, он брал на руки дочку и прижимал к себе. Девочку звали Миле, ей исполнилось три года, у нее было такое же, как у матери, здоровое крестьянское лицо, такие же ясные, смысленные глаза. Отец кружил ее вокруг себя, целовал, говорил без умолку, а затем, радостно взглянув на Катрин, которая спокойно и молча стояла у плиты, спрашивал:

— Ну, что нового? Какие у тебя сегодня несчастья?

При этом вопросе ее глаза нередко вспыхивали, она начинала греметь крышками от кастрюль и возмущенно отвечала:

— Да опять наша барыня, эта фря, расшумелась, просто житья от нее нет!

— Что же стряслось?

Миле, которую он кружил вихрем, визжала от восторга.

Тогда Катрин подходила к столу, а он опускал девочку на пол.

— Иду я вниз, несу ведро с золой и чуточку просыпала на ступеньку, ну вот столечко, а фря стоит у своей двери, морда — как стиральная доска, и начинает приставать ко мне: «Пожалуйста, осторожнее! Вечно грязь на лестнице, и потом ваш ребенок так ужасно орет! Боже мой, фрау Эре, пора бы, наконец, и вам привыкнуть к правилам внутреннего распорядка, они обязательны для всех жильцов». Ну, уж когда-нибудь я до нее доберусь! Дождется! — возмущалась Катрин.

— Нет, я этого так не оставляю! — И Эре, как был, неумытый и без пиджака, вне себя кидался к двери, готовый сейчас же мчаться вниз. Однако Катрин, уже смеясь, крепко хватала его за рукав и тащила обратно в кухню, а если он отталкивал ее и пытался вырваться, она прижимала его к низкой косой стене их чердачной кухни.

— Вот черт! — восклицал он наконец и, тоже хохоча, валялся на узенький диван. — Неужели она так и будет нахальничать? — негодовал он. — До сорок пятого волей-неволей приходилось выслушивать все эти ее: «Ах, фюрер... ах, великая славная победа!.. Пожалуйста, аккуратнее с лестницей... ведь натирать теперь нечем!» Ну, а сейчас?

А Катрин смеялась:

— Велика важность! Нам-то что? Из нее уже песок сыплется...

Однако Эре с горечью продолжал:

— Неужели и сейчас мы должны терпеть?

— Да брось! Я сама с ней справлюсь!

И Эре покорно смотрел на жену, а затем окидывал взглядом их чердачную комнатку. Катрин, эта женщина, перешагнувшая уже за тридцать, крепкая и рослая, с простым, грубоватым и здоровым лицом, похожим на румяное яблоко, от которого так и хочется откусить кусочек, была его женой. Эта тесная кухонька с косыми стенами, узким столом и шкафчиком для посуды, который, казалось, вот-вот развалится, была их кухней. Спальня

помещалась тут же, на чердаке; при западном ветре плита дымила; от окон дуло; но все же это было их гнездо.

А девочка!

Когда он, фыркая, обливал водой грудь и лицо над кухонной раковиной, девчурка подбегала к нему, хлопала по голой груди и, восторженно захлебываясь, кричала своим звонким, темного пискливым голосом:

— Папуля... смотри, у тебя волосы... волосы! Как много! Смотри сколько!

Катрин, смеясь и слегка краснея, оттаскивала девочку и говорила:

— Не мешай папуле. Ему надо вымыться.

А когда они, наконец, усаживались за узким столиком и смотрели друг другу в глаза, разговоры продолжались: он рассказывал ей о заводе, о работе, она — о ничтожных и о важных событиях своей повседневной жизни. Однако последнее время он чувствовал, как в ней растет что-то новое, а что — никак не мог понять. И каждый раз, когда он говорил о своей работе, она точно замыкалась в себе и в ее взгляде появлялось что-то похожее на недовольство.

Однажды вечером — это было в начале декабря 1949 года — Эре вошел в свою кухню насупленный, его обычно ясный взгляд как будто затуманился. Тяжело опустился он на диван и буркнул: «Добрый вечер».

Девочка радостно бросилась к отцу, но, посмотрев на него, отступила. Однако Эре протянул к ней руки. Миле робко подошла и прижалась к нему. В кухне слышалось только звяканье тарелок и жестяной стук ножей и вилок.

Катрин, возившаяся у плиты, с тревогой наблюдала за мужем. Она поставила перед ним миску с капустой, картофелем и мясом.

— Я сегодня достала ребрышки, — сообщила она.

— Так, так... — пробормотал он, едва приподняв голову. Миле вопрошающе посмотрела на мать. Катрин вложила ей в руку вилку.

Эре ел через силу.

— А колбаса стала уже гораздо лучше, — сказала Катрин. — Сегодня выдавали ливерную. Она совсем как прежде! Намазать тебе?

Он рассеянно покачал головой.

Жена встревоженно продолжала:

— А кооператив в самом деле изо всех сил старается. Если бы они еще держались так же, как государственная торговля, будто они здесь для нас, а не мы для них, тогда все было бы отлично. — Она заставила себя улыбнуться. — Я в магазине заказала к рождеству гуся и уже купила две бутылки вина.

Однако глаза мужа попрежнему казались угасшими, и она увидела в них что-то, встревожившее ее. Катрин обеспокоенно спросила:

— Разве невкусно?

— Вкусно... вкусно! — Уставившись в свою тарелку, он снова принялся жевать, медленно, автоматически; куски точно застревали у него в горле.

— Пить хочешь? — спросила жена.

— Пить? — Он отодвинул тарелку и сказал, словно оправдываясь: — Устал я...

— Принести тебе кружку пива?

— Пива?

— Ну да, я мигом слетаю.

Муж попытался взять себя в руки, он смущенно и натянуто улыбнулся, и Катрин показалось, что его губы дрожат.

— Да, выпить пивка было бы неплохо! — сказал он.

Катрин спросила:

— Может, хочешь и водочки?

Когда Эре поднял голову, Катрин увидела в его глазах тревогу; она улыбнулась, но легче ей от этого не стало. Продолжал улыбаться и он, мигая тяжелыми веками:

— Что ж, стаканчик можно...

Катрин надела свое довольно поношенное коричневое пальто, накинула на голову платок; зашнуровывая башмаки, она спросила:

— А папиросы у тебя еще есть? Может, прихватить и папирос?

Его лицо расплылось в широкой улыбке, как будто у него, наконец, отлегло от сердца. Однако Катрин чувствовала, что он только старается прикрыть этой улыбкой свое беспокойство и растерянность. Она увидела его ровные крепкие зубы, и когда он снова упрямо сжал обветренные губы, она подумала: «Да что это с ним?» — и тут же услышала его голос:

— Вот богатая... Ты деньги печатаешь, что ли?

— Не печатаю, а на несколько папирос хватит,— отозвалась она.

На улице шел мокрый снег; раскисавший от городских испарений, он таял, едва коснувшись земли. Шагая по скользкой улице, Катрин размышляла: ну что она тут может поделывать? Вот так и всегда! Если его что-нибудь гнетет, у него точно горло сжимается, точно он давится, давится каким-то куском и ничего сказать не может. А еще хуже, когда ему кажется, будто люди против него идут или смеются над ним, потому что он говорит нескладно, запинаясь, да еще с померанским акцентом — весь красный делается, кулаки сожмет... И если она тогда не взглянет на него с предостерегающей улыбкой и не станет рядом с ним, он, пожалуй, способен полезть в драку. Но таким замкнутым, как сегодня, он бывал с ней очень редко.

Катрин вышла в первый раз замуж перед самой войной; муж ее был такой же, как и многие в то время; нервный, издерганный, прямо психопат, а потом, когда она его узнала поближе, она поняла, что он к тому же подлец. Оказалось, он не только изменяет ей с другими женщинами — в нем сидит та мерзкая гниль, которая растлеvalа многих людей в годы фашизма. И тогда все в ней словно оборвалось. Этот человек выдал рабочего, который в простоте душевной рассказал ему о сообщении одной заграничной радиостанции, и рабочий сложил голову на плахе; и так как муж ничуть этого не стыдился, а, наоборот, хвастался своим предательством, она уже не могла смотреть людям в глаза. И вот ее окружила стена ледяного молчания, холодной, неугасимой и безмолвной ненависти. Война освободила ее от мужа — он был призван одним из первых. Ночи напролет лежала она без сна, повторяя одно: «Господи, освободи меня. Освободи меня от этого человека». Но он писал: «Никакая пуля меня не возьмет». Он приехал в отпуск; его мерзкий подстерегающий взгляд был оскорбителен, как удар кнута. Она была беззащитна, а он кричал на нее: «Что ты умеешь? Ничего! Вот в Париже женщины...»

Она лежала в его объятиях, как под ножом, оцепенев от стыда. И никто не освободил ее; муж возвращался

в армию и снова приезжал в отпуск. Руки у него были влажные и липкие, и ей чудилось, что это не руки, а скользкие жабы. Потом она познакомилась с Эре. Бывали дни и часы, протекавшие тихо, как ручей летним вечером. Когда муж еще раз приехал в отпуск — ведь не было того бога, который бы слышал ее молитву, — она с побелевшим лицом встала перед ним. И когда его руки потянулись к ней, она сказала, не двинувшись с места:

— Хватит! Теперь хватит!

Муж ответил недоверчивой широкой ухмылкой; его взгляд, горящий, как у бешеной собаки, скользил по ее телу вверх и вниз. Затем он накинулся на нее. Она защищалась молча, упорно. Попадали стулья, зазвенела разбитая посуда; в отчаянии Катрин схватила стул и ударила мужа. Он отпустил ее, посмотрел на нее, точно перед ним привидение, и убежал из дому, как побитый пес...

Проезжавшая мимо автомашина прервала ее размышления. Вот и пивная на углу. Когда Катрин вошла, хозяин, шуплый и худосочный, жалобно говорил единственному посетителю, сидевшему за столиком у самой стойки:

— А дальше?.. Я спрашиваю — что же дальше? Получим мы для продажи хоть одну бутылку вина? Чем же нам жить? Разрешается нам торговать мясом без талонов? Нет. Ничего нельзя, ничего! Только их магазинам все можно.

Катрин смахнула снег с пальто, кашлянула. Гость кивнул ей. Хозяин обернулся, торопливо подошел к стойке:

— Что прикажете, фрау Эре? Стаканчик водки? Нет? Что-нибудь для супруга? Папиросы? Ну да, коли приходится так работать! Уж кто-кто, а он заслужил!

Катрин отвечала односложно. Хозяин налил водки в бутылочку, сказал, сколько платить, и добавил:

— Собственно говоря, я не имею права продавать водку на вынос. Нам же не доверяют. Налог на вино, знаете ли! Будто нам уж и доверять нельзя!

Он поставил перед Катрин пиво, водку и отсчитал ей папиросы. Когда она, расплатившись, скрылась за дверью, он снова подошел, шаркая туфлями, к посетителю за столиком.

— Вот вам, жена активиста! — сказал он. — Все им! Прямо зажрались! А мы, что мы нынче получаем? Ничего, ну ничегошеньки.

И он опрокинул стаканчик.

Лицо гостя, отекавшее от постоянного употребления спиртных напитков, к которым он был очень привержен, насмешливо скривилось:

— Кому-нибудь надо же получать. Да, да, только им все суеют — зажрались!

— А тут еще эти Эре! — На пепельно-сером лице хозяина появилась угрюмая гримаса. Он достал со стойки бутылку, налил себе и посетителю и продолжал: — А она — что? Гадюка, змея, а не баба. Я как-то говорю ей: «Ну что ж, фрау Эре, теперь, когда ваш муж активист...» — так, безо всякой злобы говорю, а она как накинется на меня... прямо гадюка! «Ну и что же? — говорит. — В чем дело? Вы-то, — говорит, — навряд ли станете активистом — очень пивом наливаясь любите!» Ну не гадюка?

Гость поднял стакан:

— Ваше здоровье!

Хозяин задумчиво уставился на бутылку.

— А муженек, этот померанский олух, — злобно продолжал он после паузы, — прямо живодер какой-то. Всю сдельщину срывает. Превышать норму задумал, видите ли! На днях мне рассказывал один заводской парень, что раньше на какую-нибудь работу давалось, к примеру, пятьдесят часов, а теперь — не желаете ли двадцать пять. Да что вы хотите! Рабочие на что угодно идут, им совсем головы задурили. Все, дескать, ваше — заводы, фабрики! Господи Иисусе! Говорю вам, этот Эре прямо живодер!

Хозяин посмотрел в сторону, и посетитель поспешил сам себя обслужить. Когда он поставил на стол пустой стакан, хозяин растерянно вытаращил на него глаза, взял со стола бутылку и пробурчал:

— Тоже активист, да?

— В данном случае — конечно, раз это ничего не стоит, — фыркнул ему в лицо посетитель; затем, смеясь, притянул к себе хозяина, украдкой окинул взглядом пивную, хотя кроме них никого не было, и зашептал ему на ухо: — Вы знаете последние новости насчет Геннеке? Нет? Ну, я должен вам непременно это рассказать!..

Когда Андреас Андрицкий, заводской техник, вошел в свою чердачную комнату, из окна которой были видны развалины Фридрихштрассе, и зажег свет, оказалось, что его ждет письмо от матери. Он торопливо вскрыл конверт,

мысли его вернулись к далекой поре детства. Не часто приходили от матери письма, да и сам он писал редко. Открытка на рождество, на Новый год, на пасху и ко дню рождения — вот и все.

Он увидел корявый материнский почерк, и перед ним отчетливо встал неизгладимый облик матери: широкое скуластое лицо, зеленоватые глаза, упрямо сжатый рот, острые зубы, ржавое пламя тяжелых волос; он увидел широкие натруженные руки, когда-то крепкое тело, которое с возрастом все больше расплывалось.

«...Ты не пишешь, и это нехорошо с твоей стороны, и мы ничего про тебя не знаем, как ты живешь! Отец безработный, потому он старый, и ему можно теперь сколько хочешь сидеть на диване. Только вот не знаем, как быть насчет денег. Вы там в Берлине наверно голодаете, и все говорят, скоро у вас никого не останется и ничего-то у вас достать нельзя, а у нас в угольном районе все можно достать и я не знаю, что теперь будет. Карл говорит, все это вранье, что вы голодаете и что вас погонят в другое место. Без денег какая жизнь. Когда ты домой приедешь? Карл еще работает, а долго ли — один господь ведает. Англичане хотят завод демонтировать, и тогда работе конец. Он с женой больше не живет у нас, а заходит часто из-за то-тошки. Я тоже хочу научиться выигрывать. Ты все еще рисуешь? Отец говорит, вот у него теперь есть время, ты мог бы рисовать его. Когда ты приедешь?»

Андрицкий сидел неподвижно; подперев голову рукой, смотрел он на портрет трактористки. Время утекало капля по капле, лениво и неудержимо. Он закурил. Потом встал и повернул портрет лицом к стене.

...Андрицкий увидел перед собой домики рабочего поселка по обе стороны ползущей в гору дороги, вышки угольных шахт, заводские цеха; трубы, казалось, упирались в низкое облачное небо. Наконец, он увидел себя — сначала возвратившимся с войны солдатом, еще в ненавистной военной форме, затем в штатском — вот он выходит из своего домика, в руке чемодан и планшетка; кроме того, он весь обвешан принадлежностями для живописи.

Мать тогда стояла рядом с ним в дверях, смотрела на него с отчаянием, подшучивала сквозь неудержимо набегавшие слезы: — Помяни мое слово, пожалеешь! В Берлин ему надо! Господи, да на что он тебе сдался! Только тебя там не хватало!

Но кто-то сказал:

— Четыре власти в городе — это же стоит посмотреть! Ведь Берлин теперь пуп земли, Восток и Запад! Там сталкиваются все культуры, все взгляды и мнения, перед человеком там открываются все возможности...

А другой возразил:

— Ничего подобного, там Восток! Он побеждает! Упаси вас боже туда ехать! И потом — эта теперешняя русская школа живописи!..

Но Андрицкий, охваченный отвращением к разжиревшим паразитам, к спекулянтам, которые повсюду располагаются как дома, не дал себя отговорить.

Берлин стоял на горизонте, точно манящий факел: слава и почести там ждут каждого, у кого твердая и честная рука. Почему же не его?

Он опять повернул к себе портрет трактористки и стал всматриваться, прищурив глаза. Серо! Да, серо! Не вышло! Андрицкий взмахнул материнским письмом, как белым флагом: он сдавался. Он вспомнил ту свою картину, где были изображены подъемные клетки и фабричные трубы, вспомнил множество написанных им портретов... И вот он поднял белый флаг. Но почему же? — спросил он себя. То, что тянулось двенадцать лет — тупое прозябание, придавленность, покорное бессилие — все это сумел же я выразить; а тут — тут я отступил! Почему? Вернуться домой? Смириться? Но ведь Германия рассечена пополам, и как я туда доберусь? Да, разрезана пополам, и что было, того уже нет, а что есть, долго не продержится; и этот разрез ножом — вдоль Эльбы — и заставил меня отступить. Одно вспоротое фабричными трубами небо чего стоит — точно вата нависло оно над поселками и заводами... Как добраться домой? Вальдшут лежит далеко внизу у реки; туда ведет извилистая крутая дорога; долго идешь по ней, и вот ты на берегу; а река течет, течет... В одной из долин Таунуса — деревня, она окружена полями, опоясана деревьями, взбирающимися по склонам; осенью по воскресеньям в долине аппетитно пахнет пирогами со сливами. Над Некаром на холмах растет виноград; и холмы и небо по вечерам пылают золотом, как увядающие дубовые рощи. Боденское озеро сверкает, словно гигантская чаша, полная расплавленного серебра. А на склонах — виноградники, виноградники и рощи, и в кустах поблескивают осенние паутинки...

Андрицкий стоит перед портретом, сжимая в руке письмо, на его упрямом лице выступили красные пятна. Всему этому нет возврата! И никогда не будет.

Он подходит к столу деревянным шагом, рука, держащая письмо, как чужая! Он умывается, бреется, расчесывает рыжий вихор и, глядя в зеркало на свое упрямое лицо, размышляет: «К чему все это? Я ведь уже не художник, я теперь строительный техник». — И в то время как он надевает чистую серую рубашку, брюки без заглаженной складки, уже несколько поношенные, перед ним встает отскшшее и какое-то непроницаемое лицо Матшата, и он думает: «Почему я должен с ним пьянствовать? Потому, что я сделал ему чертеж? Но он же мой начальник, и если он мне говорит: «Сделай чертеж!», я обязан сделать, а пьянствовать с ним я не обязан...» Андрицкий небрежно повязывает галстук, но в ту минуту, когда он собирается провести тряпкой по башмакам, в нем внезапно вспыхивает тревожное воспоминание о том, что произошло на фабрике.

...Зуза Рик, увидев, что по проходу, ведущему мимо печей, к ним направляется Матшат, тут же, без лишних слов, покатила прочь свою тачку. Матшат остановился подле Андрицкого, посмотрел ей вслед; многозначительно подмигнув и ухмыляясь, он спросил:

— Я помешал? — Андрицкий что-то буркнул в ответ. Матшат расхохотался противным, сиплым смехом.

— Невредный кусочек! Фигура — что надо! В холода погреться можно!

Когда Андрицкий посмотрел на него, Матшат слегка отодвинулся, похлопал молодого человека по плечу и сказал:

— Ладно, мальчик, незачем сразу на стену лезть.

Он подхватил Андрицкого под руку, потащил его к печи мимо разрушенной камеры, которая зияла, точно выпотрошенное животное, и внутри которой все было видно: и кладка, и газовые и отопительные каналы.

Он спросил вполголоса:

— Печи-то конец?

Андрицкий кивнул.

Жирное, одутловатое лицо Матшата выразило облегчение. Он продолжал более оживленно:

— Особой точности тут не требуется. Я вот двадцать лет строю кольцевые печи, и есл бы нам теперь пришлось

взяться за эту, мы наверняка справились бы и без чертежа. И все-таки меня могли бы спросить: а где же чертеж? Поверь мне, Андрицкий, порядок избавляет нас от лишнего труда. Что бы я без тебя стал делать? Право же, это очень любезно с твоей стороны, что ты нашел время сделать мне чертеж. На нем и газовые и дымовые каналы есть? Вот это здорово! И как это меня угораздило куда-то засунуть чертежи! — Затем, прервав себя, спросил: — Когда ты кончишь наносить размеры?

— Должно быть, в полдень, — ответил Андрицкий.

— Так я возьму чертежи. А нынче вечером — как условились, да? — Он подмигнул Андрицкому припухшими глазами. — Хорошенько встряхнемся. Проклятушая угольная пыль! Если вечером хорошенько не встряхнуться, так просто не выдержишь. — И добавил, понизив голос: — Только пусть все это останется между нами. Я думаю, людям незачем знать...

Андрицкий кивнул: он все еще был не в силах произнести ни слова. Он смотрел вслед Матшату, а тот шел, переваливаясь и лениво поднимая ноги, словно разжиревший петух. Матшат остановился возле трех женщин, отпустил какую-то шутку, загоготал и хлопнул одну из них по плечу с такой силой, что выбил из ее куртки целое облако угольной пыли. Женщина, обозлившись, замаяхнулась на Матшата лопатой, а он, все еще смеясь, поспешно отступил.

Андрицкий провел рукой по лбу и вдруг плюнул, как будто угольная пыль захрустела у него на зубах. Два, три раза плюнул он и сердито проворчал, сам не зная почему: «Дерьмо проклятое... вот дерьмо!»

И хотя его раздражение все еще не улеглось и ему не очень-то хотелось пьянствовать с Матшатом, он все же переоделся и лениво зашагал по Фридрихштрассе: он условился встретиться с мастером на трамвайной остановке.

Когда Катрин вернулась в кухню, Миле сидела одна у стола и ела. На ее вопрошающий взгляд девочка ответила:

— Папуля спит.

— Что? — Катрин поставила бутылку на стол.

— Папуля спать лег, — повторила Миле.

Катрин сняла пальто и платок и вошла в спальню. Эре спал на кровати одетый, его руки были раскинуты,

брови насуплены, рот судорожно сжат. В тусклом свете слабой лампочки продолговатое бледное лицо казалось мучительно напряженным, как будто Эре и во сне не оставляли беспокойные мысли. Катрин раздела мужа, но он не проснулся. Она провела рукой по его лбу, но упрямые морщинки не разгладились. С тоской спрашивала она себя: «Что же случилось? Что?»

Эре, должно быть, почувствовал, как его накрыли одеялом; он поежился, точно перед тем озяб. Однако лицо оставалось таким же напряженным, лоб — нахмуренным. Дышал он спокойно, и только по временам, при особенно глубоком вздохе, высоко поднималась его грудь.

Катрин вернулась в кухню, раздела девочку. Та спросила:

— Папуля спит?

— Да, он устал, — отозвалась Катрин.

— И всегда он усталый, — заныла девочка.

Катрин уложила ее, улеглась рядом с Эре и, охваченная тревогой, долго лежала без сна, прислушиваясь к его дыханию, которое становилось все более неровным.

В течение многих лет Ганса Эре мучило по ночам одно сновидение. Когда он засыпал, переутомленный и разбитый, ему чудилось, будто он падает в глубокую черную яму. Точно на фоне черного занавеса вырисовывались перед ним хлыст для верховой езды и сжимающая его, затянутая в перчатку рука. Когда он потом просыпался и шел на работу — где только он ни работал: сначала в Померании, когда был еще мальчиком, затем молодым парнем в провинциальном городе или в Берлине уже взрослым рабочим, — его неизменно сопровождало видение этого хлыста.

Из ночного мрака его снов медленно выступал перед ним все тот же хлыст и затем со свистом опускался. Он слышал стон, видел усталое, измученное лицо деда и багровые полосы, протянувшиеся от виска до губ. Крупным планом стояло перед ним это старческое лицо, а дальше раскинулись бесконечные просторы полей, принадлежавших человеку с хлыстом; на плоской померанской равнине чернели ряды крестьянских хибарок, теснившихся вдоль грязной, затопленной февральскими дождями деревенской улицы. Краска на фасадах стала бесцветно-серой

и отваливалась целыми кусками, точно струпья; на низких окнах не было занавесок, поросшие мохом косые соломенные крыши напоминали рваные шапки, нахлобученные на стены. А в парке, среди мощных старых буков, хвастливо выступал фасад господского замка, украшенный колоннами с вычурным лепным орнаментом. Когда дул ветер, гардины на больших распахнутых окнах развевались, как оторвавшиеся паруса.

О своем отце Ганс Эре не знал ничего, и о матери — очень мало. Деревенские ребята кричали ему вслед: «Ослиный ублюдок!» А ему было так страшно и стыдно, точно у него на закорках сидело костлявое чудовище. Добродушный голос деда, уговаривающий Ганса, тяжелая заскорузлая рука, касавшаяся его плеча нежнее голубиного пуха, вызывали у мальчика слезы.

И тогда он спрашивал деда:

— Я со звезды упал?

В трубе завывал ветер; они лежали на деревянных нарах, крепко прижавшись друг к другу. И когда они вздрагивали, сжавшись от холода, солома под ними шуршала.

— Ну да,— бурчал удивленный старик.

— А с большой звезды? — тревожно спрашивал Ганс.

— Конечно,— отвечал дед, и его голос был как скрип пересохшей кожи.

— А может, с луны?

— Да, да, с луны,— успокаивал его дед. Ганс чувствовал дыханье старика на своем лице, жесткую руку, обнимавшую его. Дом содрогался от порывов ветра, холод заползал в комнату, точно мокрый косматый зверь. Хорошо было, засыпая, чувствовать, как лицо щекочет борода деда, как он крепко обнимает внука; слушая вой ветра, прижиматься к его высохшему телу.

Сонным голосом Ганс еще раз спрашивал:

— Правда — с луны?

— Спи уж, спи! — ворчал старик. И про себя с горечью доканчивал: — Эх, кабы ты знал! Кабы ты знал!

Даже теперь, как тогда, восьмилетним мальчиком, он все еще слышал во сне стон деда, его срывающийся от боли голос:

— Господин капитан...

И только после этого на месте усталого морщинистого лица возникало узкое, палочное лицо помещика, злой рот, гибкая, сухощавая фигура.

У деда кровь стекала струйками в уголки рта. Он глотал ее. Запинаясь, но без покорности в голосе он сказал:

— Господин капитан, еще холода стоят... Осмелюсь попросить у господина капитана... дров! Дров бы мне...

— Дров? — Голос помещика стегал, как его хлыст, тонкий, свистящий, жесткий. Это лицо с тяжелым длинным носом и крутым властным лбом вошло в сновидения мальчика, как страшные лица из сказок, которые по вечерам люди рассказывают в хижинах у огня.

— Мы с малышом зябнем! — повторил дед. Смех капитана просвистел, как холодный ветер.

— Что? С малышом?

Февральский дождь вперемешку с тяжелыми снежными хлопьями поливал деревню и застилал окрестные леса. И ничего не существовало больше на широком белом свете, кроме этого поместья.

Лицо капитана стало холодным, точно камень.

— Господин капитан, моя дочь... ведь ребенок-то... Перед богом мы все равны, и судить нас будут только по делам нашим.

Снова просвистел хлыст. Дед охнул. Ганс — в то время худенький мальчуган — вспомнил: так стонут волны, когда на них безжалостно обрушивается свистящий кнут, пока они, измученные, не опустятся в грязь дороги.

— Вон чего захотел! Перед богом все равны! Судить будут по нашим делам!

Багровые полосы от ударов — одна над левым глазом, другая над верхней губой — налились темноалой сочащейся кровью. Старик, кашляя, проговорил:

— По делам нашим, да! Мы, барин, ведь тоже люди! Крыша-то течет...

Капитан засмеялся, взмахнул хлыстом и прогнал обоих.

Дед шел через всю деревню спотыкаясь, точно глаза у него были завязаны. Они добрались до лесной опушки. Почти стемнело, и отдельные деревья были едва видны. Дед посмотрел вокруг и заковылял в лес. Тут они принялись собирать хворост и обламывать ветки сухостоя.

Временами старик что-то бормотал, и его голос был точно жесткий шум дождя в нагих деревьях:

— Бери! Это наше, принадлежит нам всем! Это твое!

Вечером в их хибарке, у очага, где потрескивали сучья, Ганс спросил:

— Какое он имеет право тебя стегать?

Старик сидел, приложив к ранам мокрую тряпку. Он снял ее и, глядя слезящимися глазами на пламя, проговорил:

— Гм... н-да...— и наконец ворчливо добавил: — Возьми-ка хлеба.

Однако мальчик спросил опять:

— Разве можно драться?

Дед подошел к столу, отрезал хлеба себе и дал внуку; бросив несколько веток на пылающие угли, он подержал хлеб над огнем.

Ганс, сощурившись, сказал со злобой:

— А я бы дал ему по морде!

Старик испуганно зажал ему рот рукой, со страхом взглянул в окно, точно там стоял кто-то и подслушивал. Оробев, Ганс примолк. С очага донесся запах подгоревшего хлеба.

И сегодня, в эту долгую декабрьскую ночь, разбуженный мучительным кошмаром, Эре лежал, вытянувшись на кровати и уставившись в темный потолок. Снаружи просачивался белесый ночной свет и чуть доносились шаги редких прохожих. Он слышал дыхание жены — было ясно, что она не спит, — и тихое ровное дыхание спящего ребенка. Что он видел сегодня во сне? Опять лицо капитана? Нет, это был не капитан! Правда, хлыст возник, как обычно, из темноты, но рука, сжимавшая его, была не затянутой в перчатку узкой рукой капитана, а здоровенным кулачищем с толстыми, точно обрубленными пальцами. Гибкий хлыст со свистом опустился, Эре всмотрелся в выступившее перед ним лицо с двумя багровыми полосами и увидел, что это лицо не деда, а его собственное. А когда его взгляд последовал за взвившимся снова хлыстом, он увидел круглое, рыхлое лицо Матшата.

Эре провел рукой по лбу, покрывшемуся испариной. Катрин приподнялась:

— Ты что?

— Ничего! Ничего!

— Скажи мне, Ганс, что-нибудь случилось на заводе?

— Да нет, не беспокойся.

— Ну так, может быть, в партийной организации? Или еще что?

— Уж ты придумаешь!

Катрин встала, зажгла свет. Эре лежал с открытыми глазами. Когда она склонилась над ним, он улыбнулся, стараясь ее успокоить.

— Ты же еще ничего не ел!

Эре как будто не слышал ее и опять уставился в потолок. За окном проехала машина. Когда Катрин набросила на себя платье, он сказал:

— Ничего не ел? Да... верно!

Жена опять наклонилась над ним, ловя его взгляд.

— Принести тебе что-нибудь?

Он обвил рукой ее шею, потянул к себе. Взглянув на спящую девочку, Катрин высвободилась.

— Да, я проголодался,— сказал он, выразительно посмотрев на нее. Она хлопнула его по рукам и спросила:

— Хочешь чего-нибудь выпить?

Он кивнул.

Катрин прошла в кухню. Эре слышал, как она взяла нож и вилку, и, хотя дверь была закрыта, ясно представил себе ее спокойные, уверенные движения; представил, как она отрезает хлеб, достает из шкафа колбасу, наливает пиво в стакан, и подумал: «Ведь она целый день на кухне, подай да прибери, вся грязная работа на ней...» И вдруг его точно обдало жаром: может быть, она потому и недовольна? Катрин вошла. Эре ничего не сказал. Она поставила пиво и тарелку с хлебом и колбасой на стул у кровати.

Он взял ломтик, нехотя пожевал.

— Ешь и ты! Одному невкусно!

Катрин тоже принялась за колбасу. Ей стало холодно, и она опять залезла под одеяло.

Вдруг Эре заявил:

— Я нынче говорил с директором, с Карлином.

Жена удивленно посмотрела на него.

— Ну и что же?

— Неплохой человек. Даже наоборот, приятный человек, бывший рабочий. Зашел ко мне, смеется, мы потолковали, как приятели.

— А что ему нужно было?

— Ну... спрашивал, как живу, чем занят. А мне очень хотелось сказать ему... ты же знаешь, что мне приходится делать всякую грязную работу... Этот Матшат гоняет меня, как бездомную собаку. А на мое предложение мне все еще не дали ответа.

— И ты ему сказал?

— Ничего я не сказал. Не вышло. Он мог подумать, что я жалуюсь.

— Эх ты, глупый! Ему-то как раз и нужно это знать. Ведь он же, в конце концов, твой директор.

— Так-то оно так... — отозвался Эре помолчав. — А ведь у них теперь действительно не капитанские рожи!

— Не понимаю, о чем ты?

— Не барские рожи. Когда я раньше говорил с этим директором... — Эре рассмеялся. — Да я ни с одним никогда и не говорил, раньше-то. Но когда я их видел, у них у всех были барские рожи. Иной раз даже после сорок пятого года. Взять к примеру хотя бы этого Вассермана, или Лампертов, или... Ну да и Матшата. Хоть он всего-навсего мастер, рожа у него — как у помещика. Я и теперь еще, как увижу, так в морду дать хочется.

— Да ведь он же член СЕПГ!

— А хотя бы и так! — И с горьким смехом добавил: — Матшат даже казначей группы, и один он ухитряется распродавать все свои газеты и брошюры. Бок и заладил: «Вот, берите с него пример, это настоящий член партии!» — Эре молча жевал, погрузившись в раздумье; выпив пиво, он поставил стакан на стул и сказал вполголоса: — Взять бы хоть разок за жабры — Матшата и всех этих... Дать бы им как следует в морду! Газеты-то он распродает, верно, а вот на производстве все идет как попало, самотеком.

— Да что идет-то? — удивленно спросила Катрин.

Эре приподнялся, оперся на локоть и задумчиво посмотрел на Катрин.

— Последняя кольцевая печь у нас действует — и ту придется остановить. Ведь шесть печей не работают, а если выйдет из строя еще и эта... Тогда — будьте здоровы! Вот завтра узнаем, как и что.

— А ты-то тут при чем?

— То есть как при чем? Кое-что касается и меня, а может быть, даже и все! Печь надо переложить, не гася ее.

— Не гася?

— Ну да, гасить не нужно. Каждый раз, как опорожнят одну из камер, ее нужно ремонтировать и сейчас же снова загружать.

Катрин возмущилась:

— До чего неугомонный тип этот Эре! Непременно ему нужно выдумывать что-то необыкновенное, да? А я потом выслушивай по вечерам его брань, если другие не хотят делать, как придумал Эре.— Она рассмеялась.— Непременно ему нужно идти всем наперекор! И воображает, что после всего этого с ним еще носиться будут!

— Носиться... носиться... Чтоб их чорт побрал.

— А что же директор?

— Почему я знаю! Я ведь с ним на этот счет не говорил. Мне еще все обдумать надо.

Она склонилась над ним, толкнула его в бок, сказала смеясь:

— Опять что-то придумал? Ах ты, господи!

Засмеялся и он, вполголоса, сдерживая себя, чтобы не разбудить ребенка.

Катрин продолжала:

— И все скажут — этого нельзя. А Эре будет уверять — можно!

Он обнял ее за плечи. Она высвободилась, с насмешливым вызовом спросила:

— Ты ведь поел? Верно? Ну так как же насчет печи? Расскажи мне про печь!

Он удивленно взглянул на нее, и когда увидел ее светлые глаза, ему показалось, что недовольства в них уже нет.

В это время три человека, выйдя из цеха обжига, где они довольно долго простояли перед первой открытой камерой, возвращались под моросящим дождем в здание заводоуправления. Один из рабочих ночной смены, мимо которого они прошли, сказал другому, стоявшему перед кучей угля:

— Что за чудо? В такую поздноту? Прямо как три привидения. Особенно старик Вассерман.

Другой ответил:

— Ну, а Карлин? Он, скажешь, не привидение? И когда только он спит?

Первый рабочий засмеялся:

— Наверно, целый день, пока другие работают.

— Карлин-то? Нет,—возразил первый.—Когда он спит, я тебе в точности не скажу, потому что я частенько вижу

его поздно ночью; и в двенадцать он еще тут, и утром в шесть он уже опять тут.

— Похлеще, чем прежние директора. Можно подумать, будто завод — его собственный.

И так как шел дождь и дул ветер, они зашли на минутку погреться в обжиговой цех.

А те трое, не говоря ни слова, уселись в кабинете директора Карлина и, даже закулив, все еще продолжали молчать. В гнетущей тишине особенно гулко загремел проходивший по улице трамвай.

Наконец Карлин поднял голову. Его правильное молодое лицо было строго и спокойно.

— Какой же выход? — спросил он. — Вы, значит, не допускаете другой возможности и считаете, что печь надо погасить, дать ей остынуть и тогда складывать заново?

Инженер Зептке, начальник обжигового цеха, коренастый крепыш, кивнул.

Карлин молча постукивал карандашом по столу. Так как молчал и Вассерман, директор заговорил опять:

— Наш завод — единственный в своем роде во всей республике. Наши электроды и силитовые стержни, уже не говоря о меднографитовых щетках, необходимы стране, как вода в пустыне. — В его голосе зазвучали резкие ноты: — Без нашей продукции ряд заводов вынужден будет остановиться. А это повлечет за собой очень значительное сокращение экспорта, который идет не только в страны народной демократии, но и на Запад.

Глаза доктора Вассермана были полузакрыты, и хотя он дышал прерывисто, холеное, розовое старческое лицо казалось спящим.

— Но что тут можно сделать? — спросил Зептке, избегая холодного взгляда Карлина.

Вассерман сказал негромко, видимо соглашаясь с Зептке:

— В технике существуют определенные законы, и нарушать их нельзя. И до войны это не делалось, и во время войны, хотя страна напрягала все силы и мы ввели немало усовершенствований... Тем более это недопустимо теперь, при наших ограниченных технических возможностях... Нет, господин директор, иного выхода нет...

Карлин возразил язвительно, однако не теряя самообладания:

— Мало ли что было раньше, господин доктор. Должны же мы как-то...

— Еще никогда печь не ремонтировали, не погасив ее, а теперь и подавно.

— Теперь и подавно? — Карлин постарался встретиться глазами с Вассерманом. Они в упор посмотрели друг на друга. Вассерман с угнетенным видом пожал плечами.

— Господин директор, не подумайте, что я не доверяю...

— Подождем все-таки до завтра, — предложил Зептке. — Ведь неизвестно, а может быть, печь выдержит еще один обжиг?

Карлин прикусил губу, его карандаш продолжал четко отстукивать такт. Зептке казался смущенным. Он посматривал бесцветными глазами то на одного, то на другого. Вассерман, сдвинув почти белые брови над близорукими глазами, молчал, словно все уже было сказано и пересказано и ничто на свете не могло хоть сколько-нибудь изменить положение. Да и потом — чего они от него хотят, эти новые хозяева? Он сердито поджал маленький увядший рот. Они требуют от человека невозможного! Карлин, этот директор с манерами механика, с неизменным спокойствием взирает на всех и вся и способен бросить человеку в лицо величайшие грубости, ни мало не заботясь о том, насколько они могут быть оскорбительны. Это сущий дьявол, он уже не выпустит вас из своих лап.

Фон Вассерман встал и, опираясь на письменный стол, не глядя в глаза Карлину, невидящим взглядом рассматривал висевший на стене портрет Сталина.

Наконец Вассерман протянул Карлину руку:

— Уже поздно, господин Карлин. Мне пора.

— Я вызову машину, — сказал Карлин, внимательно разглядывая старика.

Вассерман вдруг торопливо заговорил:

— Не думайте, что я... то есть не думайте, что это меня не волнует! Я расстроен несколько не меньше вас.

Карлин вызвал машину, поднялся и вышел из-за письменного стола. Положив Вассерману руку на плечо, он сказал вполголоса:

— Прошу вас, доктор, присядьте на минутку.

Беспомощно улыбнувшись и украдкой бросив умоляющий взгляд на Зептке, Вассерман снова сел. Карлин предложил ему папиросу; Вассерман взял ее и закурил. А Карлин настойчиво продолжал:

— Это еще не все. Последняя партия медного порошка не доставлена нам с Запада. Запасов едва ли хватит на два месяца. Но вернемся к обжиговому цеху: каково там положение вещей? Камеры, в которых происходит обжиг основного материала, разрушены все, кроме двух. Ну хорошо, с этими двумя мы будем выполнять план до середины будущего года. Но маленькие кольцевые печи — вот где наша беда... На весь завод действует одна-единственная печь номер шесть, да и та, наверно, больше одной загрузки не выдержит. Печь номер три, которую теперь приходится гасить, по вашему мнению, загружать уже нельзя, а с нею выходит из строя не только обжиговой цех, но и многое другое.

Усталый, едва держась на ногах, вернулся Карлин к своему креслу. Вассерман чувствовал на себе испытующий взгляд его умных глаз; он думал: и как он не боится руководить таким предприятием? Простой, необразованный механик берется — и притом с удивительной смелостью — за такие дела, которые раньше доверялись человеку только после многих лет ученья и десятилетий практического опыта. Разве сам он, будучи молодым человеком, не просидел долгие годы за книгами, чтобы изучить все имеющее отношение к силитовым стержням для электропечей, чехлам для термопар и высокоомному сопротивлению? И разве не поднимался он очень медленно — ступенька за ступенькой, пока не добрался до поста заведующего исследовательским отделом завода? И вот он с горечью, но и с особым завистливым восхищением вынужден признать: а ведь механик-то справляется неплохо! И если не знать, кто он и откуда, — можно подумать, что он прошел весь свой путь как специалист на этом заводе и что его директорство не стоит ни в какой зависимости ни с послевоенным временем, ни с теперешним руководством страной. У Карлина, уж если говорить правду, твердая рука, он безошибочно разбирается в людях и событиях, он знает, что делает, и управляет заводом уверенно и смело.

Вассерман счел нужным нарушить слишком затянувшееся молчание и с трудом выдавил из себя:

— Поверьте, господин Карлин, я отлично знаю, в чем заключаются наши трудности, и изо всех сил стараюсь устранить их. Но все же нам придется сократить производство, а может быть, даже совсем остановить работу обжигового цеха на несколько месяцев. Печь нужно сложить заново; и на это нам потребуется, по меньшей мере, полгода. Так делалось испокон веков. Я уже говорил: с определенными законами производства нельзя не считаться, нельзя просто ломать их.

Худое, всегда сдержанное лицо Карлина стало еще строже:

— А если я спрошу рабочих, как вы думаете, что они мне ответят?

Вассерман вздрогнул, однако промолчал, и Карлин обратился к Зептке:

— Ваше мнение?

Зептке, грузный, широкоплечий, с мясистым лицом, нерешительно пошевелил губами, поерзал на стуле и наконец проговорил:

— Что ж, это факт! Ничего тут не поделаешь. Вы знаете, как для меня важно поддерживать непрерывность процесса производства, но я в качестве начальника обжигового цеха могу только повторить то, что уже сказал: нам придется, как делается обычно, передать работу иностранной фирме,—с нашими силами нечего и соваться.

— И остановить производство силитовых стержней?

Глаза Зептке забегали.

— Выбросить людей на улицу? — продолжал Карлин; но, видимо, думал он о чем-то еще.

— Пока их можно использовать на какой-нибудь другой работе!

— Разрешите! — вмешался Вассерман, подняв дрожащую руку. — Едва ли рационально с точки зрения рентабельности предприятия перебрасывать рабочих в другие цеха.

— А рабочие что на это скажут? Как вы думаете, господин доктор?

Но так как ни Зептке, ни Вассерман не ответили, то Карлин решил уже не упоминать о недополученном медном порошке, отсутствие которого ставило перед управлением, пожалуй, еще более трудный вопрос, чем разрушавшаяся кольцевая печь. Сдержанно протиснулся он со своими сотрудниками. Их шаги затихли, а он принялся

ходить по кабинету, наклонив голову, как ходил некогда по своей камере в тюрьме Лукау: три шага вперед, три шага обратно, три вперед, три обратно... В окне решетка, на забранном решеткой небе верхушка дерева; а он ходит туда и сюда, туда и сюда.

Нажимая кнопку звонка, он услышал шум отъезжавшей машины, а за дверью — поспешные шаги жены; когда доктор фон Вассерман ночью возвращался домой, он чувствовал себя, как раненый зверь, заползающий в свою берлогу. Дверь открылась.

— Опять в первом часу, — сказала жена, когда он с чисто отцовской бережностью поцеловал ее. — Я уж думала, что-нибудь случилось.

— Что же может случиться? — отозвался он. — И чего ты сразу так пугаешься?! — Он снял пальто, погладил ее увядшую руку.

Они вместе прошли через слабо освещенную прихожую в столовую. В комнате горела настольная лампа с абажуром, ужин был подан: несколько ломтиков колбасы на тарелочке, чайник под стеганым ковриком, два кусочка лимона.

Несмотря на усталость, Вассерман с подчеркнутой чопорностью сел на свое привычное место, неторопливо развернул салфетку и принялся за еду. Жена, по-совиному втянув голову в тощие плечи, сложив на коленях сморщенные руки, молча сидела напротив. За окном ночной мрак стоял, как враждебная стена, наполняя комнату глухой печалью. Жена спросила вполголоса:

— Ну как, сегодня день прошел благополучно?

— А почему бы ему и не пройти благополучно?

— У меня недобрые предчувствия. В одно прекрасное утро...

— Да не тревожься ты... — его губы задрожали, и рука нерешительно потянулась к ней.

— А все-таки не лучше ли было бы нам уехать отсюда? Твоя фирма наверняка возьмет тебя на этот новый завод в Западной зоне...

Он взглянул на нее; в ее скорбных, усталых глазах он увидел отражение и своей скорби. Вассерман покачал

головой, снял со стола руку, его взгляд стал неподвижным, почти враждебным.

— Каждый вечер я с шести часов сижу вот тут и жду, и волнуюсь, и с каждым часом мой страх становится все сильнее, — продолжала жена.

— Но почему же? — спросил он.

— Ну, ведь здесь Восточная Германия, русские и все такое...

— Да русские вовсе не так уж плохи! — ворчливо прервал он ее. — На днях у нас был молодой инженер, он приехал из России, с одного завода, который выпускает ту же продукцию, что и мы. Приятный человек, не могу не признать, и образованный, специалист. Нет, русские вовсе не так плохи.

— Да, но... ведь тут... — Он взглянул на нее, и от этого взгляда она смущенно замолчала. Он опять принялся за еду, однако хлеб казался ему невкусным, а жидкий чай просто противной теплой бурдой. Разве он все это уже не испытал? Тогда ему предложили возглавить исследовательский отдел завода... как раз в тот день, когда он утром велел жене укладывать чемоданы... И вот в душные летние сумерки он пришел домой и сидел так же, как сегодня, молча, словно к чему-то прислушиваясь, и наконец с трудом проговорил:

— Вынимай вещи!

Жена, ошеломленная, уставилась на него. Он вскипел:

— Я говорю — вынимай вещи! Мы остаемся!

Жена, почти плача, возразила:

— Да, но ведь ты сказал, что...

— Разве я могу в такое время бросить завод? — крикнул он тогда, дрожа всем телом. И она, рыдая, принялась распаковывать вещи.

Погруженный в эти воспоминания, он молчал. Наконец, жена сказала:

— Сегодня они приходили насчет какой-то подписи. Но я не подписала.

— Не подписала? — спросил он удивленно.

— Ну да, я же не знала; какое-то воззвание или... ну, словом, не знаю, во всяком случае что-то политическое.

— Господи, но почему же ты не подписала? — возмутился он. — Что тебе стоило? Кажется, я на заводе все делаю, чтобы не выделяться, а ты... — и настойчиво зашептал: — Ты этим можешь погубить нас...

Ее губы задрожали; глаза наполнились слезами. Она стиснула руки.

— Я же не знала... — и слезы побежали по морщинистому лицу.

Но он, все еще рассерженный, опять накинута на нее:

— Они смотрят на нас свысока, следят за нами и по любому поводу, касается ли дело техники или еще чего-нибудь, заявляют: «Вы должны понимать, какую на себя берете ответственность!» Нужно быть чрезвычайно осторожным! Чрезвычайно!

Но, увидев слезы на ее старческих глазах, увидев, как подергиваются уголки ее рта, он подошел, обнял ее и окинул взглядом комнату, как бы стараясь навсегда все это запомнить: изысканную мебель, немногочисленные, но дорогие картины на стенах, мерно тикавшие часы на высокой подставке. Он подвел жену к окошку, и они стали перед ним, прижавшись друг к другу и всматриваясь в темноту; совсем близко от их дома лежало широкое озеро с тихими заливами, окруженными березовыми рощами. Подавленные тяжелым, гнетущим молчанием, они стояли так довольно долго. Затем он вернулся вместе с ней к большому кожаному креслу, усадил ее рядом с собой, и они словно оцепенели — две тощие старческие фигурки с худыми, горестными лицами и растерянным, потухшим взглядом.

— Все обойдется, — наконец прошептала жена. Он кивнул, стиснув зубы, хотя отлично понимал, что ничего не обойдется. Та жизнь, которая кипела там, за окном, и на его большом заводе, и во всем городе, неслышно прокралась даже в эту комнату, схватила его, и теперь — он это знал — уже его не выпустит.

Не доходя до Вейдендамбрюкке, Зуза Рик повстречалась с тремя мужчинами — Матшатом, Вейтлером и Андрицким. После путешествия по нескольким пивным они наконец бросили якорь в маленьком кафе на Шоссештрассе, чуть ли не во французском секторе.

Папиросный дым и поблескивающая пыль плыли длинными мгlistыми прядями над продолговатым залом с маленькими нишами вдоль стен и площадкой для танцев и оркестра посредине. Слышались звуки какой-то жиденской

жестяной музыки; саксофонист подскакивал на стуле, точно под ним была подушка с иголками. От стойки доносился визгливый женский смех; звенели стаканы, и парочки шептались за столиками.

Зуза танцевала с Андрицким. Она чувствовала, как он прижимает ее к себе, смотрела в его замкнутое, слегка покрасневшее лицо.

Почти прижав губы к ее уху, он спросил:

— Ты не замужем?

Они оба уже были под хмельком. Она взглянула на висевшее над оркестром объявление: «Танцевать с горячей папиросой воспрещается». Скрипач подмигнул ей. Она отвернулась. Затуманенные вином глаза Андрицкого сузились.

— Вдова? — спросил он.

— Да, вдова! — ответила Зуза. Ее суровое лицо с резкими, довольно неправильными чертами оставалось бесстрастным. Мысленно она увидела комнату и себя в этой комнате — вдвоем с мужчиной. С тех пор прошло, пожалуй, целое столетие, так, по крайней мере, ей казалось. Мужчина был мелким страховым агентом, преуспел он благодаря войне; он был в восторге от своего лейтенантского чина. Когда Советская Армия стояла уже у Силезского вокзала, он заявил: «Если это правда, я этого не перенесу. Советы перед дворцом и на Унтер-ден-Линден — нет, этого я не перенесу!» Его лицо подергивалось пьяной судорогой, он нелепо размахивал руками, точно ища опоры; потом истерически закричал: «Я покончу с собой! Русские в Берлине! Устраивайся без меня!» Он ушел из дому, а она бросилась следом; рядом с ним спешила она по разрушенным улицам. Началась бомбежка, и он убежал в свою часть, которая должна была находиться где-то поблизости от рейхсканцелярии.

— Твой муж убит? — спросил Андрицкий.

— В последний день.

— Чорт!

— Он не хотел жить под властью русских.

— А почему? — спросил Андрицкий.

Оркестр заиграл танго. Да, почему? Она больше не имела о нем никаких вестей; и никогда не будет иметь; никогда не сможет его спросить, почему он добровольно выбрал смерть.

Андрицкий опять сказал ей на ухо:

— Я не хотел... я не хотел касаться больных мест!— Его упрямое лицо с рыжим вихром было по-юношески смущенным. Зуза улыбнулась и пожала ему руку.

— Все это давно прошло,— сказала она.— С тех пор столько воды утекло. Да, все это давно прошло!

— Ты работаешь с сорок пятого?

— Все время! Я ничему не училась и пошла сначала на уборку развалин.

— На уборку развалин?

Она кивнула.

— Ну да, напялишь штаны и вытаскиваешь кирпичи из мусора; в то первое лето над развалинами еще стоял трупный запах, ветер далеко разносил его, а осенью, когда все стало вянуть, по всему городу понесло тухлятиной и гнилью.

Один из музыкантов запел; он пел нарочито тусклым, гусявым голосом; женщины подхватили. Над столиками в нишах лица склонялись друг к другу.

Зуза Рик спросила:

— А ты? Почему ты работаешь на заводе?

Лицо Андрицкого снова стало замкнутым и неподвижным, как маска. Он не ответил. Зуза Рик продолжала:

— Говорят, ты художник?

— И строительный техник,— буркнул он и так рванул ее и закружил, что она не могла произнести ни слова. В этом вихре она увидела Вейтлера и Матшата, о чем-то шептавшихся, скрипача, который подмигивал ей, и объявление над оркестром: «Танцевать с горящей папиросой воспрещается».

Она откинулась на руку Андрицкого, и он крепко обхватил ее за талию.

Всякий раз, когда Зуза танцевала с Андрицким, выражение лиц сидевших за их столиком мужчин менялось. Когда объявили, что приглашают дамы, одна из сидевших перед стойкой женщин, с подбритыми бровями и ярко накрашенным ртом, подошла к Матшату. Он уже было приподнялся, но Вейтлер сердито пробурчал:

— Да сиди ты! Надо же до чего-нибудь договориться!

Женщина, надувшись, отошла. Матшат крикнул ей вслед:

— Следующий танец будем обязательно с тобой танцевать.

В шуме вновь заигравшей музыки Вейтлер спросил:

— Так как же? С планом все в порядке? Там дольше ждать не хотят, да и нельзя. Когда Кифер явился туда, он похвастался, что, мол, все держит в голове. Он, мол, может на память весь обжиговый цех построить, а в конце концов сел в лужу.

— Нечего было перетаскивать его туда первым. Я вон здесь торчу в дерьме, а там какую пользу мог бы принести!

— Ну, так как же насчет плана? — В глазах Вейтлера горели злые огоньки. Другая женщина из сидевших у стойки решила было пригласить Вейтлера; но, увидев его колючие глаза и поджатые губы, прошла мимо.

Матшат язвительно ответил:

— План планом, а я хочу знать, долго ли еще мне придется здесь со всякой дрянью возиться. Ведь там завод должен быть скоро достроен? И где он вообще находится?

— Где-то на Рейнс.

Лицо Вейтлера стало злым. Но разве он не понимает Матшата? Разве он сам не в таком же положении? Он тоже из всех сил старается перебраться на Запад. Тайком, незаметно переправляет он в Западный сектор все, что может: стройматериалы, лес, машины, — постепенно, штука за штукой. Там они по большей части попадают в новое отделение фирмы. Осталось только справиться вот с этой важнейшей задачей, с кольцевой печью — на ней он зарабатывает свыше двухсот тысяч марок, а потом можно уже будет и сбежать туда, исчезнуть.

Вейтлер опять спросил:

— Когда же будет план?

— Он у меня с собой, — проворчал Матшат.

— Хорошо. — Вейтлер удовлетворенно улыбнулся.

— А когда заплатишь?

— Хоть сейчас.

— Восточными или западными?

— Западными. Скажи-ка, — добавил Вейтлер недоумевающе, — куда ты деваешь все эти деньги?

Матшат пожал плечами. Он осклабился и показал при этом свою широкую, с желтыми прокуренными зубами, лошадиную челюсть.

— Без этого болвана ничего бы не вышло,— сказал он. — Я сам не мог сделать чертеж. А он ни о чем и не спрашивал, взял да тут же и сделал.

Вейтлер прервал его:

— А вообще его можно использовать?

Оба посмотрели на Андрицкого, который, видимо, выпил слишком много водки и теперь яростно кружил Зузу по паркету. Раскрасневшаяся Зуза, в облегающем платье, почти лежала на крепко обхватившей ее руке художника.

Матшат и Вейтлер, глядя на них, цинично усмехались.

Матшат сказал:

— Значит, печи номер три конец.

Вейтлер насторожился, он потянулся пухлой рукой к стакану с водкой и спросил:

— А кто будет восстанавливать?

Матшат молчал; казалось, он погружен в созерцание женщины у стойки — грузной, мясистой блондинки с высокой прической с лиловатыми отеками под глазами. Помолчав, он сказал:

— Тебе и в этот раз не поручили бы. Если бы не я...

— Ты тоже при этом недурно хапнул! — Вейтлер придвинулся к Матшату еще ближе, и когда они сидели так, перешептываясь, наклонив друг к другу жирные лица — у Вейтлера лицо было еще самоувереннее, чем у Матшата, точно жир служил ему прочной защитой, — они казались братьями.

Зуза Рик спросила Андрицкого:

— Чего они все шушукуются? Как только мы отойдем, они о чем-то совещаются!

Андрицкий посмотрел на них. Казалось, Вейтлер уговаривает Матшата. Андрицкий пожал плечами:

— Не знаю, чего они. Да и какое мне дело?

А Матшат в эту минуту, откинувшись назад, спросил:

— Сколько?

Вейтлер язвительно ответил:

— Разве я тебя когда-нибудь обижал?

— Да ведь кольцевая печь! Объект уж очень важный. Ведь четыреста тысяч!

— Десять,— неохотно процедил Вейтлер.

Танец кончился. Подошли Андрицкий и Зуза, оба разгоряченные; Андрицкий жадно выпил стакан пива. Матшат многозначительно заметил:

— Ну как, нравится?

— Уж очень оркестр дрянной, — смущенно ответила Зуза.

Матшат, усмехаясь, оглядел ее с головы до ног.

— Я не про то... — ответил он.

— А про что же? — вызывающе спросил Андрицкий. От его взгляда Матшату стало не по себе, и он решил быть осторожнее. Он опять засмеялся, уже добродушно и виновато. Однако лицо у Андрицкого было все такое же хмурое и недовольное.

Эре в куртке, накинутой на плечи, и Катрин, крепко закутавшаяся в пальто, сидели рядом на кровати. Он с отчаянием смотрел на листок блокнота, который держал в руке, на свои каракули, беспомощные и кривые, как вороний след.

Тяжело дыша, точно при кладке кирпичей, он сказал с отчаянием:

— Если бы я тогда как следует доучился! Но ведь этим сволочам не было никакой выгоды учить нас. Лишь бы умели прочесть газету — и хватит!

— Да уж ладно, — успокаивала его Катрин, ежась от холода в своем жидком пальтишке.

И так всегда: достаточно ему было взглянуть на свой корявый почерк и с трудом нацарапанные цифры, как он падал духом. И только после ее уговоров, то ласковых, то насмешливых, к нему возвращалась вера в себя.

— Ученье! Ты знаешь, как нас учили? — он с горечью рассмеялся. — Только зимой детей пускали в школу. Когда мы приходили, то должны были выстроиться перед учителем, показать свои грифельные доски, и все равно — сделал кто урок или не сделал, каждый получал два раза линейкой по озябшим пальцам.

Катрин осторожно спросила:

— Значит, в такой кольцевой печи тридцать шесть камер?

— У меня не было охоты ходить в школу, мне больше нравилось бегать по полям.

— Да брось ты! Лучше скажи, сколько же камер в кольцевой печи.

— Бывало, и по шею надают, да еще по голове, а все-таки, чорт их заberi, им не удалось все из нее выбить.

Катрин встала, направилась в кухню. Взяв бутылку с водкой, она остановилась и задумалась: «Или мне просто самой все написать и потом отдать ему?» Она вспомнила, как сидела рядом с ним вот так же несколько месяцев назад, как трудно было ему объяснить то, что он думал и видел умственным взором; прямые, резкие морщины над его бровями тогда так и не разгладились. Он близко придвинулся к ней, обнял ее рукой за плечи и нерешительно проговорил:

— Слушай внимательно: если я сделаю шаблон, выложу его шамотными кирпичами и спилю углы, разве нужно их потом еще тесать? Тогда ведь они не рассыплются и ни одного не придется шлифовать... а сколько времени я на этом сэкономлю? Пропасть!

А она сидела рядом с ним и чувствовала, что его рука скользит по ее плечу, словно ищет опоры, и что он, сам того не сознавая, нуждается в человеке, который помог бы ему прийти к ясным выводам. Но что она понимала в шамотном кирпиче, в спиленных углах и вообще во всем этом деле? Да ничего! И она тогда сказала ему:

— Нарисуй, как ты себе все это представляешь.

И он неуверенно взял карандаш и бумагу и провел четыре линии. Но вдруг все отшвырнул, вскочил и пошел в кухню. Он вернулся, неся в руках пять чурочек, сложил их так, чтобы они образовали прямоугольник, а последнюю дощечку положил так, как должен был лежать кирпич.

— Видишь, — сказал он и рассмеялся, — если я отпилю вот здесь наискось, я сэкономлю...

И только тут она словно прозрела и поняла, чего он хочет. Неумело и беспомощно нарисовали они вместе раму для кирпича, и когда кончили, он спросил: «Как же это я?..» Его глаза сузились, но потом он посмотрел на нее, и она была не в силах выдержать его сияющий светлый взгляд, не могла без глубокого волнения слышать его слова: «Ну? Как же это мы сделали?» В горле у нее защекотало, и так как Эре все еще продолжал на нее смотреть, она с напускной ворчливостью заметила:

— Но в таком виде ты же не можешь это представить. Все это нужно аккуратно и чистенько вычертить. Давай-ка попробуем.

И теперь, когда она вошла с бутылкой водки в спальню, он сидел на кровати, ссутулясь, как и тот раз, в наки-

нutoй на плечи куртке и, держа в руке блокнот, угрюмо смотрел в стену. Увидев бутылку, он сердито спросил:

— На что тебе водка?

— Я озябла,— сказала Катрин и подмигнула ему.

— Да, холодно, что верно, то верно,— согласился он и засмеялся.

Катрин выпила, налила и ему.

Она заглянула в блокнот: там у него были записаны какие-то цифры.

— Сколько камер в кольцевой печи?

— Тридцать шесть.

— А какой ширины каждая камера?

— Семьдесят один на семьдесят один!

— Значит, квадрат?

Эре промолчал; он был готов все бросить. Какой смысл знать ширину камеры, какой смысл что-то высчитывать, если он понятия не имеет о сложнейшей системе газовых каналов, вычислить протяженность которой было важнее всего прочего? И потом, если даже он найдет человека, который ему поможет,— скажем, какого-нибудь техника,— то как явиться в дирекцию, как предстать перед этими гладколицыми людьми с равнодушными глазами, перед людьми с рожами помещиков?

Тогда он уже ничего не будет ни видеть, ни понимать! А говорить? Ах ты, господи! Да у него язык прилипнет к гортани, просто прилипнет! Чорт бы его побрал! Вот только Карлин... Он был сегодня такой близкий, такой простой, как те, кто знает, что в каждом сердце горит пламя, надо только разгрести золу. Но Матшат и Зептке! Да и сами печники, из которых придется организовывать бригады!

Эре кротно сказал:

— Дай мне еще глоток. А потом ляжем спать.

Катрин налила ему, откинула волосы со лба и взглянула на него заблестевшими от гнева глазами:

— Да, выпей, чтобы мы крепче спали!

Она тоже выпила еще стаканчик, но слова, которые он выдавил из себя, обожгли ее сильнее, чем водка:

— Никто не поможет мне. Никто! Они накинутся на меня, как на паршивого пса!

Она чувствовала, что он не может заснуть, да и не хочет, и спросила:

— Ну, а партия?

— Партия?

— Да, партия! Ты ведь тоже частица партии. Ты сам сколько раз внушал мне это. Ведь нельзя же успокоиться на том, что у вас плохой секретарь заводской парторганизации и партгруппа ничего не делает?

— Ты не понимаешь! Да кто я такой? Велика птица!

— Кто? Ах ты, господи, — воскликнула она с недоумением, и он опять увидел в ее глазах то самое недовольство, тот особый металлический блеск, которые поражали его и раньше. А она продолжала: — Я тебя только спрашиваю: кто мне без конца доказывал, что партия — это все мы, все? Не только секретарь и всякие там комитеты, но каждый член партии, даже самый скромный? Или это говорил мне не Эре? Не товарищ Эре?

— Но ведь нет никого, кто бы... — он замолчал, пораженный, оглушенный ее горячей речью.

— Никого во всей партгруппе? Хороша группа!

— Бок — пустышка, а остальные...

— Ты всех так хорошо знаешь?

— Бок — пустышка, а Матшат и Бакханс...

— Да не кричи ты, — остановила она его шопотом, — ребенка разбудишь.

Оба взглянули на детскую кроватку, стоявшую в ногах большой кровати. Девочка, толстощекая, раздумывая от сна, перевернулась на другой бок, не открывая глаз. Они помолчали, поглядели друг на друга, улыбнулись, и Эре, прищурившись, толкнул Катрин и сказал:

— Ах ты злючка этакая... ах ты злюка! Пойди налей мне еще водки.

Выпив, он вернулся к той же мысли:

— Нет, правда же, все это просто свинство, нет никакой партийной работы. Как хорошенько подумаешь, много ли наберешь таких, с кем поговорить можно? Может быть, Карлин или Фале из шамотного цеха. А вот настоящему человеку помочь... Ну, Карлин, потом, пожалуй, Андрицкий, а еще...

— Неужели больше никого? Ни за что не поверю!

— Ах, все это ни к чему! — Он снова помрачнел, поставил стакан на ночной столик и вытянулся на кровати. Она сорвала с него одеяло, которым он накрылся с головой, и настойчиво сказала:

— А теперь слушай! Я займусь этим! Я напишу правительству. Оно должно хоть разок проверить, что у вас творится!

— Да тебе-то что? — Он даже сел на кровати.

— Мне-то? А вот увидишь! Я напишу, а тогда посмотрим, какие у вас дела!

— Ну и придумала! — Он взглянул на нее пристально, но в его взгляде светилась любовь. — Ну и злюка! Она будет писать правительству!

— А ты сам-то разве не писал? — Она посмотрела ему в глаза.

— Ну, тогда совсем другое было.

— Совсем другое? — Она рассмеялась, и когда он посмотрел на нее, то и сам невольно засмеялся. В ясных, умных глазах Катрин было веселое лукавство и ни тени сонливости. Она продолжала: — Итак, скажем к примеру... Скажем, кто-нибудь возьмется тебе помочь, кто знает эти самые газовые каналы, — сколько же камер ты мог бы отремонтировать за неделю?

— За неделю? С бригадой из четырех человек?

— Верно, не больше одной?

Эре возразил:

— Нет, нужно сделать больше. Ремонт печи нельзя тянуть тридцать шесть недель, это ведь значит, она простоит, самое меньшее, девять месяцев.

— А печников сколько тебе нужно?

— Четыре! Если бы только они у меня были! Но кто из них согласится? Ни одного не найдешь!

— Среди них разве нет членов партии?

— Бакханс!

— Ну вот! — Катрин и не думала сдаваться. — А если две камеры в неделю?

— Только две? Невозможно! Никто не захочет участвовать в этой работе! Невозможно!

— Невозможно? — Катрин улыбнулась. Так как девочка опять зашевелилась, она приложила палец к губам. Оба посмотрели на детскую кроватку. Эре заговорил опять вполголоса:

— Чего ты хочешь? Ведь это на словах просто... А для дела нужно гораздо больше.

Катрин схватила его руку. Он посмотрел в ее широкое, доброе крестьянское лицо с веселыми светлыми глазами: даже сейчас, в ночном сумраке, оно не утратило своего здорового румянца.

Он сжал ее плечо, затем положил ей руку на грудь, проворчал: — Ах ты... — Она заглянула ему в глаза, но он

опустил их и подумал: «Нет, хорошо, очень хорошо, что я на ней жепислся!»

Катрин заговорила вполголоса, поглаживая его руку, лежавшую на ее груди:

— Нельзя терять мужества! Как это — невозможно? Ты же должен знать, сколько один человек делает за день, и тогда можно высчитать, сколько сделают четыре человека за неделю.

— А температура?.. И потом, согласятся ли они? Если я пойду и скажу: «Я хочу сложить печь», — увидишь, как они все набросятся на меня, чисто шакалы.

Но она спокойно продолжала:

— Когда печь работает — сколько тогда градусов?

— Не знаю! Может быть, триста или даже четыреста.

— А когда материал вынимают из печи?

— Около ста.

— А при скольких градусах можно работать?

— При сорока, ну, самое большее — при пятидесяти.

В глазах Катрин блеснуло что-то озорное:

— Ну, что за беда еще несколько лишних градусов! Если можно при пятидесяти, так, наверное, и при ста можно.

Эре сжал ее плечо с такой силой, что она невольно вскрикнула.

— А мне от твоих слов даже холодно становится. И чего это я развеселился? Еще глоточек дашь?

— Еще? А осталась там хоть капля?

— Дай кусок хлеба с маслом!

Он смотрел ей вслед, видел ее сильное тело, густые каштановые волосы, кое-как собранные на затылке. В нем поднималось теплое чувство, его тянуло к ней. Он думал о своих планах: «Разве я справлюсь с этим делом? Я — нет! Она — справится! Она прямо как бес какой-то, торопит меня, подгоняет!» Эре протянул руки, как будто она все еще стояла перед ним. Он почувствовал, как его мускулы наливаются силой, и опять повторил про себя: «Нет, стоило, конечно, стоило бороться за нее!»

Когда она принесла хлеб, Эре сказал:

— Сядь-ка сюда! — И указал на край кровати. Она положила на столик бутерброд, взяла блокнот и карандаш и спросила, пропустив мимо ушей его последние слова:

— Так кто же из заводских помог бы тебе?

— Технически, насчет чертежей? Может быть, Андрицкий.

— Кто?

— Есть у нас один, новый. Парень неплохой, но он не член СЕПГ.

— Ничего, лишь бы помог!

— А в подручные я возьму тебя, только тебя!

Она взглянула на него. Его глаза блестели, точно освещенные солнцем камешки. Она радостно рассмеялась, но тут же лицо ее стало опять серьезным, а взгляд — задумчивым.

— Ганс, слушай... Я больше не хочу сидеть дома. Ну, не хочу. Я пойду работать.

— Что? — Упрямые морщины на лбу Эре стали еще глубже.

— Я хочу пойти работать.

Задыхаясь, он с трудом проговорил:

— Послушай, Катрин. К чему это? Разве я не зарабатываю достаточно для нас тронх? Достаточно ведь... — и продолжал еще раздраженнее: — Выкинь это из головы, не будет этого! Никогда! И хватит таких разговоров!

Когда она, наконец, опять обратилась к нему, голос ее звучал, как и прежде, тепло, но в нем был скрытый оттенок строгости. И Эре решил, что Катрин смирилась. Она спросила:

— Так кто же еще согласился бы тебе помочь? Андрицкий и...

Андрицкий проснулся. День еще не наступил, но небо было светлее, чем вечером. Он почувствовал этот свет на своем лице, повернул голову и увидел спящую Зузу.

Он приподнялся. В комнату медленно вливался свет, наступало тусклое декабрьское утро. Взгляд Андрицкого бродил по стенам, по висевшим на них картинам: в сером свете проступали только разноцветные пятна без определенных очертаний. Его пронзила мучительная мысль: «Боже мой, что я натворил!».

Но разве Зуза не по своему желанию сошлась с ним? Без особых разговоров последовала она за Андрицким в его комнату и затем, стоя перед ним в темноте, возле его кровати, разве она не сказала: «Ты хочешь меня? Ладно! Я тоже хочу тебя!» — Она прижалась губами к его губам и проговорила почти беззвучно: «До сегодняшнего

вечера... Господи, как давно!» — Ее волосы пахли табачным дымом и сладковатым ликером, а широко раскрытые глаза блестели, как отшлифованные камни.

Прошедший год был для Андрицкого неудачным. После такой зимы, когда дождь неделями поливал ближний лес и деревню, превращая поля в болото, а вечерами сырой туман плотной пеленой ложился на луга и хжины, после такой зимы ему предстояло уехать. После такого поражения!..

Каждый день смотрел он на трактористку, равнодушный к тому, где она находится — на своем тягаче или на машинно-тракторной станции, пропотевшая от работы, изучал ее лицо и делал еще одну попытку написать ее. Но напрасно он смешивал краски и наносил их на полотно: он каждый раз чувствовал, что в нем самом никаких красок нет. А когда он рисовал, в рисунке не было ни силы, ни выразительности, в композиции отсутствовали порыв и большое, значительное содержание.

Тогда шел дождь и в сером сумраке сарая для инструментов, где он поставил свой мольберт, смутно выступало правильное и красивое лицо девушки; ясные, твердые линии, широковатый нос, полные губы и глаза с влажным, теплым блеском. По стенам текла вода и водянисто расплывалась краска на холсте.

Лиза, возившаяся у своего тягача, подошла и с любопытством взглянула на его работу, но тут же лицо девушки стало насмешливым. По-летнему смуглая кожа обтягивала ее худые скулы. Когда она рассмеялась, недовольная и даже рассерженная, ему почудилось, что вместо губ у нее красная трещина.

— Неужели это я? Такая уродина?

Андрицкий чуть не задохнулся от стыда. Он подумал: «В самом деле, она права! Эти прихотливые линии, этот рот, точно алое пятно, — ничего в этом ясном лице я не передал!» Может быть, все-таки прав его старый учитель, однажды сказавший ему: «Не начинай рисовать женщину, если ты не жил с нею, если в тебе не запечатлелись рисунок ее рта, блеск ее глаз, самое важное в ее внутреннем облике». Неужели все сводится к этому? Нет, не может быть.

И когда Андрицкий, после замечания трактористки попристальнее взгляделся в портрет, ему показалось, что и портрет смеется: «Неужели это я?»

— Да, ты! — буркнул себе под нос Андрицкий, хотя отлично знал, что перед ними не портрет девушки, как она есть, и не тот ее образ, который он себе создал. Но что же так трудно в ней схватить? Обыкновенное деревенское лицо, широкий тупой нос, крупный, резко очерченный рот. Но ведь она трактористка! Может быть, это?

И трактористка, и ее изображение на мольберте смеялись, смеялись над ним. А он отвернулся от полотна и сказал:

— Нет, у тебя лицо не для живописи, вот в чем дело! И мне следовало это знать!

Он зашагал прочь, чувствуя на себе ее взгляд. Он шел через деревню, по грязи, под дождем, погруженный в свои мысли. Смеялась Лиза, смеялся портрет, а в башмаках хлюпала вода. И когда Андрицкий уселся за столик в деревенском трактире, он и тут не поднял головы. Хозяин принес водки; он выпил, хозяин принес еще, он выпил еще, но так и сидел с опущенной головой. Его лицо стало красным, как и его упрямые, торчавшие во все стороны вихры.

После войны Андрицкий приобрел некоторую известность. Благодаря серии рисунков, изображавших жизнь при фашизме, он создал себе как художник определенную репутацию. Он был родом из Рурской области, и о нем говорили: «Не слишком приятный малый. Настойчив и упрям как осел». Однако его уважали за беспощадные краски, за выразительную композицию. По тому, как остро он видел разрушительные силы фашизма, его бесчеловечность, по тому, как он разоблачал их в своих рисунках, чувствовалось, что Андрицкий намного талантливее большинства своих товарищей-живописцев.

Лиза в рабочей, но опрятной одежде под села к нему за столик, но и тут он не поднял головы. Был вечер. Ветер стучал в окна. Лиза закурила папиросу, и когда хозяин вопросительно посмотрел на нее, засмеялась и сказала:

— Ну и сырость... дайте рюмку крепкой...

Девушка весело пускала клубы дыма; она выпила водку и, видя, что Андрицкий сидит неподвижно, сказала:

— У тебя на это... глаза нет... Не знаю, что ты видел, но на это нужно иметь глаз.

Андрицкий понял по выражению ее лица, что она догадывается о его стыде, горечи, отчаянии. Лиза пила, курила; помолчав, она сказала:

— Ты только в себя глядишь. Да, в этом все дело. Все, что в твоём нутре есть, ты видишь верно. Ну, я же не художник, и я не знаю, как объяснить, но мне кажется, глаза твои видят неправильно.

— Что? Мои глаза? — Андрицкий растерянно уставился на нее. Ветер за окном выл и визжал, как пила, распиливающая сырое дерево. Андрицкий впервые заметил, что левая бровь девушки чуть выше правой; это придавало ее красивому лицу с вздернутым носом выражение задора; как будто она из озорства нахлобучила себе бровь на один глаз, как шляпу. И он удивился, что до сих пор этого не замечал.

Она подняла стакан за его здоровье и, выпив, продолжала:

— Ты знаешь, я только и умею, что водить тягач, но говорю тебе, у тебя на это нет глаза. Вот в чем загвоздка.

— А что ты раньше делала? — спросил Андрицкий с сердитым упрямством.

— Раньше-то?

— Ну, до того, как ты стала трактористкой?

— Прислужой была. В сорок четвертом я приехала из Силезии, одна-одинешенька, и была рада хоть куда-нибудь приткнуться. И мне было все равно, что работать приходилось целый день. Встанешь утром, вечером ляжешь, и опять сначала. И что будни, что праздник — все одно. А потом я вступила в СНМ¹, и тут стало уж не все равно — утро или вечер, рабочий день или праздник; а хозяину моему, крестьянину, это не понравилось, я и взяла расчет.

— Так, так... — пробормотал он. Собственно, с этого и следовало ему начинать; кто она, откуда, как она жила. Ничего он о ней по-настоящему не знает. Да, ничего.

— Я уезжаю, — сказал он, когда она смолкла. И так как она продолжала молчать, добавил: — Мой учитель говорил мне: «Пиши женщине, только если ты жил с ней».

Лиза покраснела; ее губы слегка задрожали. Она спросила:

— Это был учитель?

Андрицкий кивнул:

— Может быть... Может быть, для моей работы это было бы и лучше.

¹ Союз свободной немецкой молодежи. — *Прим. ред.*

Лиза посмотрела на него в упор:

— Значит, ради твоей работы я должна была жить с тобой? Спасибо... — Она звонко рассмеялась и повтори-
ла: — Нет уж, спасибо! Ради этого...

Андрицкий поднялся, пожал ей руку и вышел; и всю ночь до тусклого рассвета, пока он скитался по полям, ветер словно мокрыми лохмотьями хлестал его по лицу. Очув-
тившись опять в Берлине, он стал бродить по кафе и пив-
ным, пил там жидкую кофейную бурду и водку; а когда
вечером увидел перед собою улицы и обгоревшие разва-
лины домов, ему показалось, что он смотрит на них из за-
колоченного окна. Пересаживаясь с одного трамвая на
другой, он исколесил город вдоль и поперек — из Потсда-
ма ехал в Эркнер, с северной окраины — на южную, и если
чувствовал, что ему становится уже не под силу смотреть
на эти развалины в мертвом неоновом свете, он прятался
в метро.

Он прислушивался к выкрикам газетчиков, покупал
газеты, прочитывал их, но ничего не понимал. На Фрид-
рихштрассе, среди суетившихся людей, убиравших об-
ломки, он остановился в облаке пыли и стал угрюмо
всматриваться в сновавших мимо него рабочих. Затем он
подошел к одной работнице, кряжистой и крепкой со-
рокалетней женщине, и спросил:

— А что вы делали раньше?

Женщина сначала опешила, а потом так расхохота-
лась, что слезы выступили у нее на глазах. Она крикнула
другой женщине, работавшей рядом с ней:

— Погляди-ка на сопляка! Еще только полдень, а он
уже насосался!

Андрицкий пошел дальше. За столиком в каком-то
кафе он встретил приятеля, одного из тех художников,
которые носят длинные лохматые волосы; но у этого был
умный и пронизательный взгляд. Они выпили, потом
Андрицкий потащил его в свою мансарду.

И они говорили так, как говорят друг с другом худож-
ники, когда обсуждают свою работу: «Талантливо,
да! Рисунок чувствуется, да, но так нельзя! И краску чув-
ствуешь, да, но...»

Минутами эта беседа приносила Андрицкому об-
легчение, однако жужжанье смутных мыслей, мучи-
тельное, как жужжанье мириадом летних комаров, не
прекращалось.

Они разговаривали в течение многих часов, а друг продолжал настаивать на своем:

— У тебя краски какие-то старые, потухшие... видишь это серое?

Даже водка в его стакане, даже мысли в его голове — все казалось Андрицкому серым.

У него была девушка — одно из тех столичных созданий, которые неведомо чем живут и откуда берутся, которые приходят и уходят, дарят мужчинам только ночи и ничего от них не требуют. Девушка эта, придя к нему однажды, увидела, что он, неумытый и небритый, сидит в расстегнутой рубашке перед портретом трактористки. У девушки было нервное, подвижное лицо; видно было, что она хорошая любовница. Она окинула взглядом его комнату и молча принялась за уборку — задвинула в угол подрамники и мольберты, вымыла бритвенный прибор. Он видел в зеркале ее лицо, и, когда она смотрела на него, ему чудилось, что и ее черты расплываются в насмешливой гримасе. Он смотрел на ее стройное тело, высокую грудь, длинные ноги серны, но вывести его из раздумья она не могла.

Лишь спустя долгое время, уже после того, как она все прибрала, вычистила и уселась перед ним, он сказал:

— Вот тебя, вероятно, я смог бы написать!

Она поняла, что он говорит с самим собой, и оставила его в покое. Взяв щетку, она начала подметать. Косой и гускый солнечный луч упал в комнату, золотистая солнечная сетка легла на ее волосы. Он не мог отделаться от своих дум.

Вдруг девушка спросила:

— А почему ты меня никогда не рисовал?

Он с недоумением покачал головой.

Она сказала, как будто это самая простая и ясная вещь на свете:

— Если хочешь, можешь меня рисовать всю, без одежды.

— Я больше не буду рисовать, — с усилием выговорил он.

— Никогда?

Он помотал головой. Она увидела по его глазам, что он ее больше не замечает. Девушка встала, взяла его платье, которое, как и все в комнате, было разбросано,

и повесила на гвозди между дверями. Она вдыхала все запахи этой комнаты — запах красок и керосина, скипидара и табака; и, когда она увидела, что он все еще сидит вот так — погруженный в себя, она уже поняла, что за этим последует.

Девушка спросила вполголоса:

— Значит, ты не хочешь рисовать меня?

— Я поступил на фабрику,— буркнул он.

Через некоторое время она спросила:

— У тебя поесть-то найдется?

Он промолчал. Она растерянно пожала плечами, потянула к себе пальто и шляпку. В дверях она сказала: «Ну, прощай!» — И так как он продолжал молчать, легко сбежала по лестнице...

Вспомнив сейчас все это, он поднялся и, взяв свечу, подошел к постели. Зуза дышала спокойно, удовлетворенно, и грудь ее под одеялом тоже вздымалась спокойно и равномерно. Тогда он начал писать.

Вчера, когда они шли к нему, она сказала: «Ты один? Ну, ладно» — и теперь он видел, как она вырастает из-под его карандаша такая, какой она идет через заводской двор, черная от угля, залитая потом, с сияющими глазами на измазанном сажей лице; она движется ему навстречу, толкая перед собою тачку.

Почувствовав во сне его взгляд, она пошевелилась, одеяло соскользнуло, и вот она лежала перед ним нагая. Он видел ее крепкую грудь, округлый живот, стройные бедра. А на рисунке она идет ему навстречу, лицо у нее ясное, полное силы и решительности; и, глядя на этот рисунок, Андрицкий спросил себя:

— Неужели все это только оттого, что я обладал ею?

Зуза натянула на себя одеяло и сказала с легкой насмешкой:

— Что же это ты не спишь?

Он улыбнулся ей по-мальчишески смущенно и про-
бормотал:

— Да я никак не мог заснуть. Очень хотелось нарисовать тебя.

Она взяла рисунок и при мерцающем свете свечи принялась рассматривать свое изображение:

— Это я? — задумчиво спросила она.

— Да, ты!

— Да-да,— проговорила она,— это я!

Обрадованный, он спросил:

— Нравится?

Но она кивком указала ему на портрет трактористки. Одна бровь была у той задорно надвинута на левый глаз, и казалось, лицо дерзко подмигивает — это была в нем единственная живая черта.

— А с этой женщиной ты жил? — спросила Зуза.

— Почему ты спрашиваешь? — Он придвинулся к ней; она снова легла, продолжая держать в руке рисунок, и смело встретила его взгляд.

— Так как же? — Она вопрошающе посмотрела на него.

— Нет, — ответил он и обнял ее; плечо было гладкое, как шелк.

— Что-то у тебя тут не получилось!

— Да все не получилось.

— Что все?

— Если бы я знал что, — медленно проговорил он.

Она погладила его по руке, лежавшей теперь на подушке рядом с ее плечом. Он не отнял руки и почувствовал потрескавшуюся кожу на ее пальцах.

— А в тебе самом? Тоже не все в порядке?

— Да, многое.

— И теперь?

Он взял рисунок, сощурился, проверяя его контуры, построение, потом сказал: — Мне хотелось писать... людей, но я совершенно не знал, что такое человек. А когда ничего не вышло, я был ужасно потрясен, потерял веру в себя. Тогда я пошел на завод, решил, что у меня таланта нехватает. А потом думал, может, это потому, что я не жил с той девушкой...

— Значит, только ради этого?.. И мой портрет... — ее голос задрожал, глаза потемнели.

— Нет, нет, — поспешил он разуверить ее. — Не ради этого. Тебя я знаю, я видел тебя так, как не видел еще ни одного человека.

— Верно, — сказала она и провела по его руке, по лицу и губам, и он опять почувствовал шершавую кожу ее пальцев.

— Как я могу что-нибудь рисовать, если я этого... ну, не...

— Не любишь?

— Да, как можно рисовать человека, если не любишь его?

Она улыбалась; и эта улыбка придавала ей зрелость плода, который под дождем и солнцем провисел на ветке положенное ему время.

Он обнял ее, и она спустя некоторое время сказала:

— Ты меня обнимаешь, но ты не хочешь меня.

Он снял руку с ее плеча и выпрямился. Одеяло опять сползло. Она видела, что его взгляд скользнул с ее лица на грудь и живот и остановился на одеяле, прикрывавшем бедра. Зуза не натянула на себя одеяло.

Она сказала вполголоса:

— Когда все это кончится, тогда ты...

— Все кончится? — он побледнел.

— Ну да, ведь так будет, — сказала она просто.

— Что ты говоришь? Снимем какую-нибудь хибарку и поселимся вместе.

Она покачала головой. Он смотрел на ее рот, большой, красный, резко очерченный, с потрескавшимися губами. Зуза обвила руками его шею, прошептала:

— Я это я, а ты — ты. Это две совсем разные вещи.

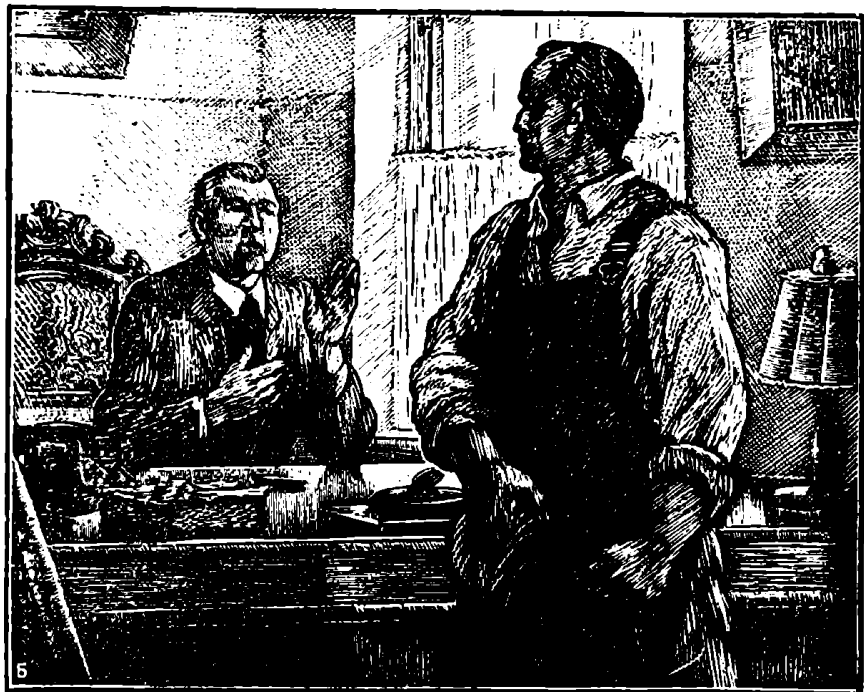
Он высвободился из ее объятий, взял рисунок и растерянно уставился на него. Он понимал, что Зуза совсем другая, чем все те женщины, с которыми он был близок до сих пор. Он сказал:

— Да. Но завтра, завтра!..

— Завтра и видно будет! — Она взяла у него из рук рисунок и сказала, разглядывая его: — Нет, хорошо! Мне нравится!

— Хорошо?.. Хорошо?.. — пробормотал он, запинаясь. Она улыбнулась. Он наклонился к ее губам. Рисунок выскользнул у нее из рук, закружился в воздухе и медленно опустился на пол.

За окном зимний свет стал ярче; отблеск этого света, мягкого, как тающий снег, отразился и в ее глазах.



II

Между бараками и заводом, между обжиговым и шмотным цехами, по узким дворам проносится ветер, он вихрем закручивает пыль, влетает в широко раскрытые двери зданий; или, если идет дождь, как сейчас, в начале утренней смены,— он хлещет людям в лицо водяными струями, обрушивается на крыши, стучит по оконным стеклам. И рабочие стараются как можно скорее укрыться в обжиговом цехе.

В прелом тепле этого цеха, где стоит ряд врытых в землю кольцевых печей, хорошо работать в первые промозглые дни зимы, к тому же здесь можно, пока доберешься до своего рабочего места, еще поболтать с товарищами.

Вокруг Зузы Рик собралась кучка рабочих. Зуза, одетая в черные штаны и такую же черную блузу, стоит

перед ними, держа в руках лопату, ее лицо разбурманилось, она едва успевает огрызаться.

— Эй, Зуза, а ведь ты спала не одна! По глазам видно! — кричит Рейхельт, молодой печник с дерзким, насмешливым взглядом. И все смеются — одни визгливым пронзительным смехом, другие басисто или с каким-то бульканьем, словно вода выливается из бутылки.

Они стоят возле уже открытой камеры, которая давно ждет, чтобы ее опорожнили. Когда такую камеру откроешь, лицо обжигает пылающий жар, волна раскаленного пара и едкого газа заставляет невольно отшатнуться. Долго должен потом остывать материал; а рабочие с волнением ждут той минуты, когда можно наконец опорожнить печь. На тачках с высокими колесами подвозят четырехугольные ящики, соответствующие длине обожженных стержней; с грохотом подъезжает всасыватель, который должен перед выемкой цилиндров и стержней отсосать угольную пыль; чудовище со слоновьей головой и длинным хоботом как будто добродушно ждет, пока кто-нибудь не опустит его хобот — всасывающий шланг — в еще горячую камеру. С жужжаньем приближается маленький мостовой кран; он лавирует между подъемными цепями и сложной системой тросов, и только когда он оказывается точно над камерой, жужжанье стихает.

Правда, нынче утром до этого дело еще не дошло, но уже наготове подручные и работницы, в обязанность которых входит очищать вынутые из камеры силитовые стержни от остатков угольной пыли. Они стояли по две, а то и по три у пустых ящиков, насмешливо поглядывали на окруженную мужчинами Зузу Рик, и одна из них, тощая, с гусиной шеей, наконец, злобно прошипела:

— И ей ничуть не совестно! Господи, надо же хоть себя уважать!

Зуза Рик звонко рассмеялась. В ее голосе звучали какие-то новые, независимые нотки, и ее ясные, поблескивающие глаза выдавали нечто большее, чем воспоминание о нескольких приятно проведенных минутах.

Она задорно воскликнула:

— Ну, этот Матшат и штучка!

— Разве она с ним путается? — прошептала сухопарая своей соседке.

В косом, тусклом свете, сочившемся сквозь затянутый паутиной стеклянный потолок, взлетали, крутятся, черные длинные хлопья. Вдруг вспыхнули прожекторы; в их жестких лучах лица стали похожи на маски из серого камня, и морщины вокруг губ и глаз были, точно высечены резцом.

Бакханс, ростом почти на голову выше стоявшего рядом с ним Эре, кряжистый малый с огромным мясистым носом на сердитом лице, спросил Зузу:

— Ну как, разрешилась от поста?

— Какого поста? — удивилась Зуза.

— Сама знаешь какого, — пояснил Кербель, хилый, немолодой печник. Женщины, ожидавшие у ящиков для силиковых стержней, снова захихикали. Из всех углов просторного цеха рабочие стали поглядывать на эту группу. Две другие женщины в деревянных башмаках и больших черных платках остановились со своими железными тачками и с завистью рассматривали Зузу.

Бакханс, которому, видимо, доставлял удовольствие этот щекотливый разговор, рявкнул несколько осипшим голосом:

— А платил-то кто? Кто платил-то? Сначала он, потом ты?

Зуза замахнулась лопатой, которая была у нее в руках, и Бакханс, видя, что она сейчас ударит его, отскочил до самых камерных крышек. Вся побагровев, Зуза крикнула ему:

— Думаешь, если мне захочется, я ничего получше не найду? Очень мне нужна эта старая кляча! Да из него песок сыплется!

Кербель иронически засмеялся:

— У него же такое аппетитное жирное брюшко!

— Замолчи! — крикнула Зуза.

Но рабочие уже расходились, каждый спешил к своему месту. Печники собрались вокруг камерных крышек. Подручные начали подносить кирпичи и шамот; стержни вставлялись в керамические трубы, катились тачки, жужжал мостовой кран. Группа рабочих остановилась у первой открытой камеры.

Покусывая толстые потрескавшиеся губы, Ганс Эре, насупленный, с усталыми от бессонницы глазами, остановился подле Зузы Рик и спросил:

— Скажи, кто вчера был?

Зуза удивленно взглянула на него и с явной неохотой ответила:

— Матшат, подрядчик Вейтлер и Андрицкий.

— А платил кто?

Она опять покраснела.

— Кто? Вейтлер. А тебе-то какая забота?

Эре насмешливо улыбнулся, но глаза его метали искры. Отвернувшись от нее, он сказал:

— Конечно, если ты считаешь...

Зуза схватила его за рукав:

— Постой! А тебе-то что? Разве это тебя касается?

— Я только думаю...

Но она не отпускала его и потащила за груды шамотного кирпича.

— Эре,— сказала она вполголоса,— я дам тебе хороший совет. Даром. Ничего за него не возьму. Оставь Матшата в покое!

Глаза Эре сузились. Он тяжело задышал, недоумевающе взглянул на нее. А Зуза Рик повторила:

— Оставь, говорю! Хоть ты и активист, а против него у тебя кишка тонка. Говорю тебе, Матшат только твое имя услышит — у него прямо глаза кровью наливаются. Скажи,— она пристально посмотрела на него,— чего вы, собственно, не поделили?

Эре молчал. Пожелтевшими от табака зубами он еще крепче прикусил нижнюю губу; но в глазах вспыхнул опасный огонек.

Когда камеры загружены, их закрывают большими четырехугольными крышками. Крышки крепко заворачивают, они должны выдерживать давление и температуру обжига; как правило, после трех-четырех обжигов они начинают крошиться, распадаться, и их приходится выкладывать заново.

Рама такой крышки сделана из толстой стали и выложена шамотными кирпичами. Чтобы сделать такую крышку в те времена, когда Эре пришел на завод, то есть весной сорок девятого года, печникам требовалось пятьдесят часов. Эре, в ту пору совершенно сбитый с толку и подавленный историей у Ламперта и последовавшим за ней исключением из партии, стоял и смотрел, как равнодушно и лениво выполняют свою работу ста-

рые заводские печники, заботясь только о том, чтобы «не снизить расценки на сдельщину», как это тогда еще называлось. Они недоверчиво поглядывали на этого стоявшего поодаль рабочего. Он же повторял про себя одно: «Пятьдесят часов! Пятьдесят часов! Господи, разбогатеть можно бы! Купить себе постельное белье и посуду, спать в отдельной каморке и мясо есть почаще. И костюм, и платье, и девочке новые башмачки — все это можно было бы купить...»

Но для него... для него такая работа была недоступна: он таскал то песок для узкоколейки, то кирпич для печи; ему приходилось даже вывозить щебень и выгребать шамот, хотя на завод он был зачислен печником.

Когда Эре однажды попросил разрешения выложить крышку камеры, Матшат — мастер обжигового цеха, прослуживший на заводе целых двадцать лет, — прищурившись, посмотрел на рабочего и снисходительно процедил сквозь зубы: «Ну... там посмотрим!» Однако Эре чувствовал, какой тяжестью легла на его плечо липкая рука Матшата.

— Готово? — обычно орал Матшат на весь цех. — Ну-ка, забери отсюда поживей мусор! — Если же Эре медлил, Матшат рычал на него: — Ты забыл, что тебя исключили из партии? Да? — И камешник Эре покорно вывозил мусор, убирал шамот. А Матшат нагло, спокойно и удобно сидел у него на горбу, точно злой колдун.

Но однажды Матшат прогулял, не явилась на работу также и вся бригада печников, которые выкладывали крышки, и Эре удалось выпросить у инженера Зептке разрешение восстановить одну из этих крышек. Зептке удивленно и добродушно посмотрел на него.

— Что вы говорите, Эре? За двадцать пять часов?

Эре, у которого комок стоял в горле, только кивнул, и по его глазам было видно, что думает он уже не только о крышках. Прячась за керамическими трубами, он десятки раз смотрел, как другие выкладывают крышки, десятки раз представлял себе, как бы он стал над ними работать. Он рассчитал заранее каждый взмах руки, каждый удар киркой, каждый шаг; отчетливо рисовал себе, как он размеренными, четкими движениями кладет кирпич за кирпичом.

Получив согласие Зептке, он взял себе только одного подручного и вместе с ним все заранее подготовил. Вокруг

рамы он сложил кирпич, возле каждой из продольных сторон поставил ящик с раствором и затем, когда все нужное было у него под рукой, начал тесать кирпичи.

Крышка представляет собой стальную раму, выложенную кирпичом в форме свода; чтобы придать ей такую форму, каждый кирпич должен быть стесан на «клин». На каждую такую крышку идет до сотни кирпичей. Есть два сорта шамотных кирпичей: твердые и очень мягкие. На крышки употребляют только мягкие; и из этой сотни при теске разбиваются, по крайней мере, двадцать. Кроме того, боковая поверхность каждого кирпича должна быть гладкой, чтобы они плотнее прилегали друг к другу, а для этого их шлифуют пемзой.

Обливаясь потом, Эре работал среди облака пыли, и его склоненное лицо казалось в жестком свете прожекторов известково-белым. Он действовал спокойно, планомерно, выполняя каждое движение в точности так, как он его задумал. При каждом ударе кирки взлетала клубами шамотная пыль, и в такт ударам радостно билось сердце. А когда кирпич раскалывался, он сердито ворчал: «Ах, сволочь... сволочь проклятая! Ничего другого не могли придумать?» — и сердито поблескивал на подручного темносерыми глазами, глубоко сидевшими под крутым упрямым лбом. «Получше-то нету?» И когда подручный, не сдержавшись, с некоторым ехидством ответил: «Получше тебе уж, видно, придется самому выдумывать», — он крикнул в ответ: «Придержи язык! Знай себе обтесывай да помалкивай!» При этом кирпич, который он сам тесал, треснул. Молча взял Эре из кучи другой кирпич и принялся осторожно его обтесывать.

Так он работал час за часом, и движения его становились все ровнее; подручный вечером ушел домой, и Эре один остался доделывать крышку. Есть он не ел, но выпил чуть не ведро суррогатного кофе, который велел принести себе из заводской столовой, передохнул часа два, а около полуночи мог уже сказать с уверенностью: никогда больше на такие крышки не будут тратить пятьдесят часов. Никогда!

Двадцать часов, только двадцать! Но он потратил всего тринадцать. Утром, когда вспыхнули прожекторы и пришли рабочие, они увидели, что Эре спит возле своей камерной крышки. И они на цыпочках ходили мимо него,

стараясь не разбудить, а Бакханс, онемев от изумления, склонил свое грубоватое лицо над крышкой.

— Как же... это... он успел?

Кербель провел пальцами по стыкам.

— И один... один!..— пробасил он.

Бакханс подозвал кивком головы Матшата, входившего в цех. Тот, видимо, опять не выспался. Отекшее лицо хмурилось, под глазами набрякли мешки. Он медленно обошел крышку камеры, остановился возле Эре и вдруг толкнул его в бок. Бакханс с удивлением посмотрел на Матшата. Кербель пробормотал:

— Ну уж, так, сразу...

Эре вздрогнул, вскочил, стараясь прийти в себя. Он увидел изумленные лица Бакханса и Кербеля, налитые кровью глаза мастера.

Бледный и полусонный, Эре спросил:

— А что... В чем дело?

И вдруг лицо его посветлело, на щеках вспыхнул румянец. Он провел рукой по лбу и спросил, все еще не вполне очнувшись:

— Который час?

Но тут он уже услышал все шумы начавшегося трудового дня: постукивали молотки, гроыхая, катились тачки, скрежетало железо по обожженным угольным блокам; а на дворе тарахтели грузовики, и где-то совсем рядом скрипели лопаты, вонзаясь в песок и шамот.

Подняв широкие обвисшие плечи и засунув руки в карманы, Матшат с равнодушным видом спросил:

— Это ты сделал крышку?

— Да, — ответил Эре, — за тринадцать часов.

— А кто же это поручил тебе?

— Кто? Ну, я поговорил с Зептке...

Эре увидел насмешку в свиных глазках Матшата. Он услышал, как мастер просипел:

— За тринадцать часов? Скажите, какой герой! Звучит недурно: активист Эре и его великое достижение! За тринадцать часов, это тебе не раз плюнуть!

Эре сделал попытку улыбнуться, неуверенно посмотрел на одного, на другого. Бакханс уклонился от его взгляда. Лицо Кербеля было холодно, как стекло. Матшат хохотал во весь рот, так что были видны его гнилые зубы. Эре сказал смущенно:

— Ну да... ведь вышло... И устал же я! Господи, как я устал!

Со всех концов печного цеха рабочие подходили к Эре.

— Устал! Скажите пожалуйста! Он устал! — ехидно процедил сквозь зубы Матшат и сдавленным от злости голосом сказал печникам:

— Я из кожи лезу, стараюсь сохранить для вас сдельные расценки, забочусь о том, чтобы вы больше получали, а он все провалил к чертям. — И добавил, обращаясь к Эре:

— Как ты думаешь, чего ты этим добился?

Эре не знал, что ответить. А Матшат продолжал:

— Чего добился? Я вам прямо скажу, чего он добился: он снизил вам заработок, вот что! До сих пор нам полагалось на крышку пятьдесят часов, мы не надрывались и все-таки хорошо зарабатывали, а он, видите ли, сложил за тринадцать. И выходит — он всех нас подвел, и крепко подвел! — Матшат не скрывал издевки: — Зато он теперь активист! Активист!

В то утро Эре растерянно стоял среди шума и пыли цеха, усталый, невыспавшийся; перед глазами у него плыли черные круги, толпились печники и насмехались над ним. Долго слушал он, недоумевая, и, наконец, сказал:

— Да, но ведь так... так к этому нельзя подходить...

Однако продолжать он был не в силах. Ведь и Бакханс — член СЕПГ, и Матшат, и среди обступивших его рабочих немало членов партии, но никто не поддержал его. Горячая радость от того, что теперь понадобится уже не пятьдесят часов, что двухлетний план может быть выполнен досрочно и что сделал это он, — угасла, лицо его стало серым, и он подумал: «Боже мой, что я наделал! Что наделал!»

Ему казалось, что он туп, как нож, которым провели по неотесанному камню.

А все собравшиеся вокруг него: Бакханс и Кербель, подручные и рабочие, оставившие керамические трубы, — все молчали, и лица у них были тупые и замкнутые. Черные круги уже не мелькали у него перед глазами. Он спокойно сказал Матшату:

— Послушай, мы же члены партии...

— Члены партии? Мы? Ну и что же?

— И Бакханс тоже... А партия сказала... она сказала, чтобы двухлетний план... и мы должны...

Он не договорил... Горящим взглядом уставился он на лица рабочих и все-таки не смог сказать тех слов, которые жгли его.

— Ты меня не учи, — прорычал Матшат, — тоже, панелся учитель! Сам-то ты хорош! Товарищ! Разве тебя у Ламперта не вышвырнули из партии за вечные склоки?

Эре проглотил обиду, он изо всех сил старался быть спокойным, хотя ему очень хотелось пустить в ход кулаки. Он только с насмешкой отпарировал:

— А ты, собственно, в какой же СЕПГ состоишь?

— Как это в какой? — пробормотал, заикаясь, пораженный Матшат.

— Да уж, верно, не в той, в которой я, — продолжал Эре. — У тебя, верно, есть собственная партия. Та партия, где я, сказала... Ну, партия сказала, что... — Он остановился, как-будто язык не повиновался ему. На самом же деле он просто не мог повторить перед этим косоротым, опухшим от пьянства человеком все те мудрые и драгоценные слова, которые говорила партия, хотя они жили в нем и трепетали, точно красное знамя: «Мы хозяева нашей жизни. Только наша работа дает нам жизнь, дает то, что нам необходимо для жизни. Наш труд не делает нас рабами: он нас освобождает, будит в нас чувство собственного достоинства и гордости, только он и делает нас подлинно людьми». Точно огненный поток проносятся в его сознании эти слова, они горят в нем неугасимым пламенем. Но разве все это можно высказать?

Когда он уходил, позади раздался голос Матшата:

— Берегись, Эре! Как бы мы тебя опять не вычистили!

Стоя позади керамических труб, Эре видел, как все снова собрались у разрушенной камеры. Бакханс — они вместе с Кербелем бросили работу над крышками — старался успокоить товарищей:

— Уверяю вас, ребята, это не так страшно!

Эре, все еще задумчиво смотревший перед собой, спросил Зузу Рик:

— Значит, Вейтлер так весь вечер за всех и платил?

Зуза кивнула. Она заправила под платок выбившиеся прядки волос и сказала:

— Коли тебе уже так приспичило узнать... Ну да, платил. А Матшат и Андрицкий...

— Андрицкий? — переспросил Эре. — А причем тут Андрицкий?

Зуза покраснела. Эре улыбнулся, не разжимая губ, но глаза его оставались серьезными. Он сказал:

— Андрицкий тоже был? Впрочем, это неважно. Каждый делает что ему угодно, то есть, я хочу сказать, может распоряжаться собой как хочет.

— Ты это в каком смысле? Как Бакханс? — Глаза Зузы сверкали. Она крепко сжала ручку лопаты.

У края камеры стояли рабочие, все как один охваченные тревогой, и смотрели вниз, словно старались проникнуть взглядом до еще скрытого дна.

— Иначе и быть не могло! — говорили они.

— Уже в прошлый раз при последней загрузке камеры было ясно, что это случится.

— Главное, это последняя!

Зуза Рик накинулась на Эре:

— Так как же прикажешь тебя понимать?

— Как сказал, так и понимай. Вы же были вчетвером. И Андрицкий тоже участвовал. — Казалось, это последнее обстоятельство почему-то мучило Эре больше, чем все остальное.

— Господи, да я их совершенно случайно встретила на станции Фридрихштрассе!

— Матшата, Вейтлера и Андрицкого?

— Матшат уже был навеселе, да и Вейтлер тоже.

— А Андрицкий?

И опять румянец залил все ее лицо. Она избегала встречаться глазами с Эре; опустив руки, Зуза смотрела мимо него, однако чувствовала на себе его взгляд, насмешливый, многозначительный. А он продолжал все с той же иронией:

— Так, так, Вейтлер платил, а Андрицкий забрал проценты...

Она замахивается, и раздается звонкая пощечина — раз, два; а когда он, опомнившись, поднимает голову, она дает ему в третий раз по носу с такой силой, что он отскакивает.

— Ну что, получил? — язвительно спросила она и, отвернувшись, ушла прочь.

Он растерянно схватился за щеку — хорошо хоть, что никто из рабочих не видел этой сцены.

— Дьявол... вот скотина! Вот шельма! Эти бабы нынешние...

А Зуза Рик шла по цеху, и в беспощадном свете прожекторов ей чудилось, будто все, мимо кого ей приходится идти, видят те же картины, что и она: Андрицкий кружится с ней в вихре танца! Но боже мой! Как давно она лишена была мужской ласки! Потом она лежала рядом с ним, он спал как убитый, она же глаз не сомкнула; а с улицы слышались гудки пронесившихся автомашин, женский смех, похожий на звон ледышек, и рогот мужчин. Она видела затем, как Андрицкий встал и начал рисовать ее, а она смотрела ему в глаза из-под почти сомкнутых век до тех пор, пока он не кончил наброска...

Когда Ганс Эре подошел к камере, Кербель стоял рядом с Бакхансом. На бледном, изможденном лице Кербеля была написана ярость. Он прошептал на ухо Бакхансу:

— Вот помани мое слово, как сказал, так и будет. Чорт их возьми! Ведь господа спецы не желают слушать пролетариев! Разве я не говорил, что нужно хотя бы заднюю стену с газовыми каналами выложить заново? Разве не говорил? Да тут всякую охоту к работе потереяешь!

Его бесцветные глаза под обожженными ресницами озлобленно горели.

Бакханс громко захохотал, но его смех звучал неуверенно.

— Ну, ты ведь давно мастак по части кольцевых печей и все это понимаешь, а вот что тебе работать нравится, — этого я, признаться, до сих пор не замечал.

— А если печи действительно конец, что тут можно сделать? — недоуменно вставил Эре.

— Все дерьмо, — сказал Кербель с той же горечью. — И нам еще голову морочат, будто мы — хозяева... И мы дерьмо. Они делают что хотят, на наше мнение им наплевать, — и, обращаясь к Бакхансу, проговорил: — А насчет работы — ты оставь! У меня это не для собраний, не для болтовни...

— Да ты погоди... — старался его успокоить Бакханс.

— Да замолчи ты! — грубо оборвал его Кербель. — Надоело мне про вашу партию слушать. Все специалисты, да специалисты — на задних лапках перед ними пляшете!

Он посмотрел в дальний конец цеха. Там вдруг зажужжал мотор, и оттуда к камере уже плыл мостовой кран, которым управлял белокурый паренек в опрятной спецовке.

Эре, тоже смотревший на мостовой кран, вполголоса спросил Кербеля:

— Как ты считаешь, не можем мы сами сложить печь?

Кербель взглянул на Эре, злобно фыркнул и выразительно постучал себя пальцем по лбу.

В это время в проходную у заводских ворот вошел человек. Он был похож на рабочего, который опаздывает на работу. На нем было слегка помятое зимнее пальто и темная потертая кепка. Словом — не то механик, не то слесарь. Черты его лица трудно было рассмотреть: спасаясь от режущего декабрьского ветра, человек согнулся, поднятый воротник закрывал почти все лицо.

Сощурившись, вошедший обвел взглядом едва освещенную, душную проходную, откинул воротник, вытащил из кармана удостоверение личности и спросил:

— Что, секретарь парторганизации уже пришел?

Оба вахтера, пожилые люди, с болезненно-бледными от ночных дежурств лицами и запачканными табаком бурыми пальцами, в недоумении посмотрели на него. Не отвечая на его вопрос, оба вдруг насмешливо захихикали, а когда Шадов, неприятно удивленный, подошел к ним ближе, так же внезапно умолкли.

Один из сторожей, мордастый, с хитрыми глазками, седой щетиной усов и шишковатым носом, спросил:

— Вы это насчет Бёкхена¹?

Другой, низенький скрюченный старичишка, снова захихикал.

— Какого Бёкхена?.. Я имею в виду Бока, — отвечал Шадов.

¹ Böckchen — по-немецки козлик, уменьшительное от Воск — козел. — *Прим. ред.*

— Н-да... — подмигнул мордастый.

Шадову стало жарко, он расстегнул пальто, размотал шарф. В парном дымном воздухе проходной стоял едкий запах пота, водки и крепких македонских папирос.

Низенький скрюченный старичишка громко зевнул, потер воспаленные глаза и сказал:

— Вы еще часика два могли бы спокойно поспать.

— Самое меньшее! — подтвердил другой.

— Да, но... — Шадов в недоумении уставился на них.

— Уж не меньше двух часиков... — повторил старичишка.

— Ему ведь контрольный жетон не нужен, — добавил первый.

Скрюченный старичишка продолжал, стараясь придать своему тоненькому жидкому голосу твердость и решительность:

— Тебе, товарищ, это непонятно! — по его интонации было ясно, что он кого-то передразнивает: — Обязанности у секретаря другие, чем ты, может быть, полагаешь, товарищ! — В его голосе появились скрипучие нотки, даже своему лицу он попытался придать жесткое и властное выражение. — У каждого своя задача. Моя задача... — Но тут он не выдержал, голос у него сорвался, и старичок разразился блеющим смехом. Силясь принять снова серьезный вид, он сказал Шадову: — Два часа бы еще спать могли, по крайней мере, два! — А затем снова гаркнул, точно капрал: — Товарищ, прекратить вопросы... Дисциплина прежде всего!

Шадову стало не по себе. Он протянул свое удостоверение старичишке, который тщательно сличил наклеенную на нем фотокарточку с оригиналом: правильное лицо с чуть широковатыми скулами, крупный нос, энергичный, резко очерченный рот, косматые, почти сросшиеся брови, строгие, немного утомленные глаза.

Второй вахтер спросил с хитрым блеском в глазах:

— Работенку ищешь?

По лицу Шадова скользнула тень улыбки; он отрицательно покачал головой.

— А Бока ты знаешь лично?

Шадов недовольно поджал губы, он, видимо, что-то обдумывал. Когда старичишка начал писать ему пропуск, он спросил:

— У вас каждый день так?

— Что каждый день?

Шадов сел на стул:

— Да что два лишних часика поспать можно?

Оба вахтера опять ответили тем же странным хихиканьем. Шадов извлек из кармана пачку дешевых папирос, угостил обоих, сунул папиросу и себе в рот. Один из вахтеров поднес ему зажженную спичку, однако сам курить не стал.

Шадов уселся поудобнее, вытянул ноги и спросил:

— У вас что же, конец дежурства?

— Через полчаса.

— Да и пора уж, — пробурчал скрюченный старичишка, пошарил в ящике стола, извлек оттуда пачку «Родопы» и протянул ее Шадову: — Бери! А твою дрянь... нешто ее можно курить!

Шадов улыбнулся; его скуластое лицо с внимательными глазами и резкой чертой косматых бровей потеплело. Он взял папиросу. Все трое задымили.

— Торгуете поцёмногу? — спросил Шадов.

— Ни-ни! — отозвался мордастый, а низенький, жадно затягиваясь, добавил: — Так-то не продаем... Ну, а если ты желаешь приобрести парочку... либо пяток...

— Значит все-таки торгуем... — насмешливо заметил Шадов и добавил: — У меня денег нет.

Они продолжали курить. Воздух стал еще плотнее. Шадов спросил:

— Налог, небось, не платите?

— Ну и что же? — Низенький удивленно поднял брови. А другой добавил:

— Ведь у нас же не табачный магазин.

Под пристальным взглядом Шадова старичишка состроил гримасу. Он сказал сердито:

— Чего смотришь-то? Приходится! На те гроши, что мы тут получаем, разве проживешь? Сейчас, слава тебе господи, хоть опять кое-что купить можно. Значит, старайся подработать. А все эти годы... ты думаешь, нам, старикам, они легко дались? Еще бы! Молодой налопается картошки, вот он и сытый, сытый да толстый от картошки и всякой травы. Ну, а мы, старики? На мне кожа висела, как тряпка... для нас такой корм уже не годится. Нам, старикам, нужно побольше жирку да мяса. А сейчас, когда можно опять кое-что купить...

Он замолчал. Некоторое время все трое сидели и курили. Поток рабочих, вливавшийся в заводские ворота, иссякал; последними торопливо пробежали несколько мужчин, две женщины и девушка.

Когда нараставший шум рабочего дня — удары молотков, скрежет кранов и стук деревянных башмаков — проник и в проходную будку, нарушив ее унылую гнетущую тишину, Шадов, наконец, спросил:

— Ну, а Бок... Что это за человек?

— Это вы насчет Бёкхена-то? — смущенно усмехнулся мордастый.

— Ну да, насчет Бока, секретаря заводской партийной организации, и насчет работы заводской организации вообще.

— Какое же тут может быть мнение? — Мордастый усиленно замигал: — Настоящий козлик... Там боднет, тут боднет... Козлик и есть.

А старичишка сказал:

— Мне-то что... я ведь не в партии!

— Что ж он, по части женского пола?.. — Вахтеры только перемигнулись и тоненько захихикали. Шадов вынул свое партийное удостоверение, поднес его к самому носу мордастого и строго сказал:

— Мы сейчас говорим не о папиросах... хотя и о них потолковать тоже следовало бы...

Мордастый смущенно провел рукой по щетине усов и пробормотал, запинаясь:

— Ну да, товарищ инструктор, а вы не считаете, что надо бы... — и, покосившись на старичишку, пояснил: — Он ведь не в нашей партии...

— Ну и что же?

— Так вот... Я полагаю...

— Ты полагаешь, что мнение беспартийных нам не нужно знать? — Он подошел к нему вплотную, настойчиво спросил: — Так любитель женского пола? Да?

— Нет, боже упаси, этого я не говорил!

— А тогда что же?

Вахтер, видимо, испугался неумолимых глаз инструктора. «Так вот, оказывается, с чего приходится начинать», — подумал Шадов. А что сказала партия? «На этом предприятии не все обстоит благополучно. По отчетам секретаря все выглядит слишком гладко. Но каково положение в действительности? Вероятно, администрирование,

директивы вместо коллективного руководства. В отношении бригад из активистов тоже ничего не сделано, хотя товарищ Эре своей замечательной инициативой создал для этого все предпосылки. Пойди туда, погляди, расспроси членов партии и беспартийных... Так дальше продолжаться не может!»

— Бойтесь? — спросил вполголоса Шадов.

— Боимся? Нет, не боимся, а зачем на рожон лезть? — Мордастый отер губы, точно хотел стереть с них все только что сказанное им.

Шадов спросил опять:

— Скажи, мы члены СЕПГ или нет?

Когда вахтер наклонился к уху Шадова, его голос почти потонул в заводском шуме. Вначале Шадов несколько раз с досадой прерывал его: — Да говори же громче! Никаких тут секретов нет! — Но потом замолчал и с непроницаемым лицом стал внимательно слушать то, что ему рассказывал мордастый, не оставляя без внимания и реплики, которые по временам вставлял старичишка.

Матшат послал Эре в Дом культуры, который стоял недостроенный, в лесах, здесь же рядом на улице; его строила фирма Вейтлера, а Эре должен был выполнить там всякие поделки и мелкие работы, очевидно, договором не предусмотренные. И вот он стоял на помосте у задней стены здания, откуда мог хорошо видеть все вокруг. Вдали, сквозь зимнюю мглу, проступали склоны Рюдерсдорфа, всюду были разбросаны огороды, а между ними — черные пятна больших и малых заводов и рабочих поселков.

Из зала для собраний донеслись голоса. Перегнувшись через недостроенную стену, Эре увидел внизу Матшата, Вейтлера и еще кого-то, кого он не знал. О чем они говорили, Эре разобрать не мог. Матшат и Вейтлер как будто уговаривали этого третьего, — долговязого, неповоротливого малого в засаленной шляпе и потертом пальто. Эре видел настойчивые жесты подрядчика и насторожившееся неподвижное лицо незнакомца, слышал визгливый голос Матшата, но ничего не понимал. Незнакомый человек в пальто отрицательно качал головой.

Наконец Матшат подхватил его под руку и потащил к одной из колонн, поставленных вдоль стены на расстоя-

нии примерно двух метров друг от друга и поддерживавших тяжелые железные балки потолка. Долговязый показал вверх на то место, где железные балки опирались на колонны.

Трое людей внизу продолжали о чем-то спорить, а Эре все еще не понимал ни слова. Ясно было одно: незнакомец никак не соглашался со своими двумя собеседниками. Потом они зашагали прочь, перешли на другую сторону, снова вернулись и остановились под тем местом, где работал Эре; но сейчас они говорили настолько тихо, что даже голосов не было слышно. Через несколько минут долговязый снял шляпу и начал прощаться. Вейтлер вынул из кармана сигару и протянул ему. Незнакомец понюхал ее, сунул в рот и осклабился; его спутники засмеялись, натянуто, неохотно. Держа в руке раскуренную сигару, незнакомец не спеша дошел до трамвайной остановки и стал ждать. Эре смотрел ему вслед, Матшат и Вейтлер — тоже. Затем они обернулись, и Эре слышал, как Вейтлер, проходя вдоль стены, пробурчал:

— Вот сволочь проклятая... Мало ему!

Положив лопатку на стену, Эре еще постоял с минуту на месте, пока Матшат и Вейтлер не скрылись в обжиговом цеху. Он внимательно осмотрел колонны, железные балки и, озабоченный, спустился вниз.

В проходной он спросил:

— Кто это ходил с Матшатом и Вейтлером в Дом культуры?

Вахтеры продолжали разговаривать между собой, не обращая на него никакого внимания.

— Кто, я вас спрашиваю, паразиты вы такие? — заревел Эре.

— А тебе-то что? — огрызнулся один из вахтеров.

Другой небрежно бросил:

— Кто? Технический надзор.

— Вот как, — недоверчиво сказал Эре, стоя уже во дворе, где дул ветер и сыпалась крупа, и задумчиво глядя на Дом культуры.

Люди у кольцевой печи смолкли. Ворота цеха распахнулись, ворвался ледяной ветер, погнал угольную пыль; рабочие втянули головы в плечи и точно съежились — потому ли, что стало холодно, или потому, что появились

господа из дирекции. Андрицкий в паре с Зептке, доктор Вассерман с Карлином, который его заботливо поддерживал и осторожно обводил вокруг мусорных куч; — так они подошли к камере.

Молодой крановщик остановил мостовой кран как раз над ее серединой, откинул рукой светлые волосы со лба и задорно крикнул:

— Ну так! А теперь посмотрим!

Карлин улыбнулся несколько принужденно, хотя парень ему нравился. Всасыватель погрузился в угольную пыль. Она закрутилась вихрем. Лицо Вассермана оставалось бесстрастным и равнодушным; по серым глазам Карлина также ничего нельзя было прочесть, в них появилось только выражение затаенного упорства.

Зуза Рик спустилась в камеру, надела петли троса на первую керамическую трубу, которую тотчас стали тянуть кверху. Молодой крановщик крикнул:

— Садись на нее, Зуза, я тебя, как рыбку, вытащу вместе с ней.

Кто-то сказал:

— Вот черт!

Угольная пыль осела. Зуза Рик, стоя в горячем пепле, так направляла хобот, чтобы коричневые керамические трубы, заполненные материалом для силитовых стержней, постепенно высвобождались. От чада, от нестерпимого жара лица стоявших перед камерой болезненно кривились. На лбу Зузы крупными каплями выступил пот; стекая, он прокладывал по щекам серые бороздки.

Затем чад в камере стал рассеиваться, сквозь мглу обозначились стены. От температуры в полторы тысячи градусов, необходимой для обжига и поддерживаемой в камере в течение многих недель, эти стены треснули; швы разошлись, кое-где между кирпичами можно было просунуть руку. Также и свод, под которым проходили газовые каналы в соседнюю камеру, грозил рухнуть, хотя его подпирала стена из сухого, крепкого, как камень, кирпича.

Вассерман попрежнему казался невозмутимым. Эре видел, как он украдкой покосился на Карлина. Кран извлек из камеры еще одну керамическую трубу. Рабочие торопливо начали вытаскивать из нее силитовые стержни и аккуратно складывать их в стоявший наготове ящик. Другие очищали ее от налипшей угольной пыли. Но возились ли они с трубами или относили готовый материал

и ящики, их почерневшие лица были все так же замкнуты.

...Один пробормотал:

— Развалилась, совсем развалилась!

Никто не ответил. Все взгляды были устремлены в недра камеры, стены которой вырисовывались все отчетливее.

Вассерман первый направился к двери, Зептке и Карлин последовали за ним, и когда они возвращались в дирекцию, они увидели Вейтлера и Матшата, поджидавших их. Поздоровавшись, Карлин спросил:

— Ну, что вы скажете насчет печи?

После некоторого колебания Матшат ответил:

— Ничего не поделасшь. Нужно переключивать запово.

— Значит, придется остановить?

— А как же? — удивился Матшат.

Зептке сказал Вейтлеру:

— Составьте, пожалуйста, смету всех расходов и подайте как можно скорее; приложите также все документы.

Вейтлер кивнул, они простились. Во дворе их охватил леденящий холод; передвигались вагоны, сновали электрокары; нависшее зимнее небо, неуклюжие закутанные фигуры рабочих, унылые бараки и закопченные заводские цеха, из окон которых лишь местами пробивался тусклый свет, — от всего этого день казался еще более гнетущим и угрюмым. Карлин поднял воротник пальто и, стиснув зубы, подумал: «Чорт побери! В чем тут дело? Нет, надо все изменить!» Из цеха донеслось тонкое жужжание мостового крана. Лицо Карлина посветлело. Он снова увидел перед собой молодого крановщика; его впрямую спцовку, его белокурый чуб, услышал звонкий, задорный голос. Как досадно, что он не знает его фамилии; ничего, решительно ничего он не знает об этом парнишке! Вот раньше он бы знал, а теперь, когда стал директором... Карлин встряхнулся, но тут налетел порыв ветра и чуть не сорвал с него пальто. Они вошли в здание заводоуправления.

Когда дверь цеха захлопнулась за господами из дирекции, работа приостановилась; в наступившей тишине слышалось только сопенье всасывателя. Кто-то сказал:

— Ну как? Может быть, эти господа вам что-нибудь новенькое сообщили?

Зуза Рик, покрытая с головы до ног густым слоем золы, крикнула из камеры:

— Ничего не поделаешь! Камера совсем развалилась.

Молодой крановщик выключил мотор. Тишина стала еще более гнетущей. Из шумного цеха доносились удары дробилки. Андрицкий стоял возле Бакханса, который смотрел перед собой тоскливым взглядом, а позади был Эре, и его глаза горели. Крановщик крикнул:

— Ну, что носы повесили? Мы же не на похоронах!

Андрицкий спросил Бакханса:

— А сколько времени нужно, чтобы сложить новую кольцевую печь?

Матшат, подошедший к ним вместе с Вейтлером, накинулся на них:

— Что у вас тут стряслось? Чего стали? В первый раз что ли печь разваливается?

Из соседнего цеха вышел Шадов. Он остановился позади одного из столбов, поддерживающих потолок.

Кербель, насмешливо скривив изможденное лицо, сказал Андрицкому:

— Как раз ты и должен это знать! Для чего же тебя держат?

Бакханс молчал, но на его лице, сером и рыхлом, как бата, отражалась упорная работа мысли, он до крови прикусил нижнюю губу.

Матшат опять заорал:

— Пошли работать! Чего торчите здесь, лодыри!

Кербель что-то пробурчал в ответ.

Бакханс с усилием проговорил:

— Ведь печь-то погасить придется!

Андрицкий спросил:

— Как? Совсем погасить? Разве мы не можем... ты, как старый печник...

Кербель горько усмехнулся. Рейхельт, работавший над крышкой камеры, молодой, рослый, с крупными руками и резко очерченным дерзким лицом, спросил:

— А почему мы не можем?

— Мы? — Кербель кашлянул и посмотрел на Вейтлера, который спокойно и уверенно стоял возле Матшата.

Эре сказал Бакхансу:

— Надо отремонтировать ее, не гася.

— Что?.. — Бакханс смущенно засмеялся. Кербель крикнул Матшату:

— Наш активист намерен ремонтировать печь на ходу! Матшат посмотрел на него и стал шептаться с Вейтлером.

Среди рабочих, извлекавших из керамических труб обожженный материал, были и две женщины, их лица покрывал густой слой угольной пыли. Одна из них крикнула Зузе Рик, находившейся внизу, в камере:

— Слышала?

Другая насмешливо добавила:

— Вот вам! Съели? А еще вчера я читала статью: «С безработицей навсегда покончено!» — И она захохотала.

Зуза Рик промолчала. Она опустила хобот всасывателя в угольную пыль и продолжала работать, не подымая глаз.

Андрицкий крикнул ей:

— Ну, как там, внизу?

Она не отозвалась. Рабочий, стоявший рядом с ней, надевал на трубы петли троса; по его лицу струился пот; он пробурчал:

— Если бы хоть лето было... тогда прямо бы отсюда да в Мюггельское озеро, с головой...

Но Зуза прислушивалась к низкому голосу Андрицкого:

— Значит ты считаешь, Эре, что ее можно восстановить, не гася?

Бакханс сердито заворчал, а Кербель с издевкой спросил:

— Как? Полезай прямо в печь и работай?

Подняв глаза, Эре увидел, что к нему приближается Матшат. Кран остановился. Стук деревянных башмаков по каменному полу затих.

Эре сказал шопотом Андрицкому:

— Думается мне, все-таки есть способ. Только я вот недостаточно хорошо знаю устройство этой самой печи и чертить не умею. Думается, если мы вместе все обмозгуем, должно выйти!

А Матшат, стоявший рядом с ним, просипел:

— Опять хвастаешь, всезнайку из себя разыгрываешь, хочешь показать, будто ты все можешь!

Андрицкий обернулся к Матшату и сердито ответил:

— Оставь его в покое! Если дело пойдет, я помогу ему.

— Так значит, не гася? — И Кербель, рассмеявшись, направился к Бакхансу, возившемуся с крышкой камеры.

Шадов, стоявший до сих пор позади столба, присоединился к группе рабочих.

— Это ты — Эре? Да? Ганс Эре?

Эре кивнул. Шадов посмотрел ему в глаза. Эре спросил:

— А что? Зачем я тебе понадобился?

Шадов прищурился. Воспаленные веки тяжело опустились, частая сеть морщин легла вокруг глаз. Он смотрел и удивлялся: в точности такой, каким его описывали! Резкий и несдержанный, полный бешеной энергии. В сорок восемь лет — как дикий жеребенок, никак не обуздаешь, а если уж запряжешь, то держи вожжи крепко.

Шадов сказал:

— Мне хочется взглянуть на твою крышку. Я читал о ней. Смелая работа!

Столпившиеся вокруг рабочие молча слушали и смотрели в камеру. В воздухе чувствовался приторный запах: из зияющих щелей вырывался газ. От лязга и грохота машин, доносившихся из шумного цеха, дрожал пол.

Шадов спросил:

— Ну, а где же крышка?

Эре побагровел. Он обернулся, увидел у печи Бакханса и Кербеля; они выкладывали кирпич за кирпичом. Он не сказал, а процедил сквозь зубы:

— Вон... Гляди хорошенько. Они делают в точности, как я учил их... а я... — он отвернулся и хотел уйти.

Шадов удержал его:

— А ты? Что ты теперь делаешь?

— Я? Вытягиваю двухлетний план.

Что?

Тут вмешался Матшат:

— А вы кто такой? — спросил он.

Эре накинулся на Шадова:

— Вот его спроси! Пусть он тебе скажет, что я теперь делаю!

И Эре вышел из цеха; своей торопливой, неуклюжей походкой он направился в заводоуправление.

А Матшат сказал с неуверенной улыбкой:

— Прямо чорт... настоящий чорт.

Шадов вопросительно посмотрел на него. Матшат продолжал:

— Да тут ведь такое дело! Кто только теперь не объявляет себя активистом! Просто не поверите! Вы же видели? И так всегда. Задаётся, чуть что, прямо на стену лезёт; покоя от него нет. Возьмите хотя бы эту дурацкую историю с крышкой. Все нервы он мне издергал. И вы думаете, он успокоился? Ничего подобного! Он решил еще больше удешевить процесс. Не только пилить кирпичи — вы когда-нибудь слышали, чтобы кирпичи пилили? Нет, он предложил сразу формовать такие кирпичи, какие ему требуются.

Вейтлер, пристально наблюдавший за Шадовым, крикнул Матшату:

— Ну, я лошел! — Матшат кивнул. Шадов обернулся и посмотрел ему вслед.

Люди постепенно включались в работу. Правда, все они двигались так, словно им неожиданно нанесли тяжёлый удар. Они переглядывались, казалось, они спрашивают друг друга — что это? Не приснился ли им страшный сон... Мотор мостового крана снова зажужжал, мощная рука начала опять вытаскивать керамические трубы из камеры; рабочие принялись опорожнять их; женщины очищали стальными щётками угольную пыль с обожженных силитовых брусьев, сложных штабелями.

Однако никто не говорил ни слова. Из камеры доносился не то смех, не то сердитое рычание. Зуза. Рик со своим насосом стояла теперь уже на полу камеры. Надежды не оставалось никакой. Чем ближе к основанию, тем более разрушенными оказывались стены.

Андрицкий сказал Матшату:

— Нужно в самом деле поискать способ восстановить печь, не гася ее. Нельзя же весь цех, всех четыреста человек выбросить на улицу!

— Да, да! — Матшат бросил на художника настороженный взгляд.

— Так вот, — продолжал Андрицкий, — я готов помочь Эре.

— А чего, собственно, Эре хочет? — спросил Шадов.

— Эре? — Матшат, казалось, совсем забыл о нем. Он вдруг спросил Шадова в упор:

— Да вы-то кто? Что вам здесь нужно?

— Кто? Я-то? Ах да! — Шадов добродушно рассмеялся. — Простите, я и забыл представиться. Моя фамилия Шадов; я инструктор земельного партийного правления.

Матшат вздрогнул. Андрицкий с любопытством наблюдал за ним. Но когда Матшат посмотрел Шадову в глаза, он увидел в них только пристальное внимание и, может быть, еще что-то, чего он, однако, никак не мог определить.

Мастер обратился к Андрицкому:

— Ну, идем. Нам нужно кое-что обсудить.

Они отошли. Матшат не заметил, что Шадов озабоченно и тревожно посмотрел ему вслед, и затем, словно Шадову пришла вдруг какая-то мысль, сердито покачал головой.

Придя в заводоуправление, Эре постучал в дверь партбюро. Ему никто не ответил, хотя оттуда доносилось стрекотанье пишущей машинки.

Насупившись, он постучал снова, громко, гневно; по-прежнему молчание; дверь не открывалась.

Тогда он начал стучать с таким ожесточением, что нельзя было не отозваться. Послышались шаги, дверь отворилась, Ирена Мальке, машинистка, сказала:

— Ах, это вы, товарищ Эре!

Его взгляд скользнул мимо нее, к письменному столу. Он увидел гладко зачесанные назад темные волосы Бока, его бледное, с тонкой кожей, недовольное лицо; Бок держал в руках газету.

Ирена Мальке насмешливо сощурилась и громко сказала:

— Товарищ Бок занят.

Эре прошел мимо нее в комнату. Бок поднял голову. Казалось, его глаза сделаны из мутного стекла.

— Ведь товарищ Мальке сказала тебе, что я занят.

Губы Эре дрогнули, но взгляд оставался строгим. Он пододвинул стул к письменному столу и сказал:

— Мне необходимо с тобой поговорить, товарищ Бок.

Бок отложил газету, словно в отчаянье воздел руки и раздраженно ответил:

— Ну, знаете, товарищ... товарищ...

— Эре. Это товарищ Эре,— подсказала Ирена Мальке.

— Нельзя же так,— продолжал Бок, и Эре удивился его возмущенному тону.— Врываться сюда безо всякого... Господи боже мой, у меня ведь тоже работа...

— Работа? — удивился Эре.

— Ну да, я же должен просмотреть сегодняшнюю газету до того как примусь за дела...— Его раздражение все

росло.— Вы воображаете, что можете ввалиться сюда когда вам угодно и заявить: «Мне с тобой необходимо поговорить». Так не делается...

— А тебе известно, товарищ секретарь,— сказал вполголоса Эре,— что печь, последняя печь обжигового, будет, вернее всего, остановлена?

— Остановлена?

— Ну да, печь развалилась. И я хотел посоветоваться с тобой, как бы нам отремонтировать ее, не гася.

— Да, но... при чем тут я? — Бок отвернулся. Он избегал встречаться глазами с печником.

— Она совсем развалилась, а без этой печи весь цех станет!

— Да, но... я-то тут при чем? Видишь ли, товарищ, на меня возложены определенные политические функции, так сказать, политическое руководство нашим предприятием. Что я понимаю в печах и во всех этих технических штуковинах? Политика — другое дело, тут я кое в чем разбираюсь, ну, а насчет всяких практических дел... — Он вдруг остановился, задумался, потом спросил тономнисходительного учителя: — Ты, товарищ... Эре, когда-нибудь слышал о том, что такое практицизм?

Опешивший Эре молча смотрел на него.

— Ты обратился не по адресу... Печи! А с Матшатом ты советовался? Нет? Вот видишь! Матшат — член СЕПГ и опытный мастер; тебе с ним нужно поговорить... Как же иначе?

Эре сказал уныло и запинаясь:

— Я думал, может быть, удастся переложить печь, не гася ее.

— Ничего не понимаю! Как можно перекладывать печь, пока она еще на газу?

— Ну, камеру за камерой...

— А как относится к этому Матшат?

Эре не ответил, и по его лицу нельзя было угадать, о чем он думает. Он поднялся и задумчиво сказал:

— Верно я и в самом деле не туда обратился. Не здесь надо говорить об этом!

Бок одобрительно кивнул и уткнулся в газету.

Когда Эре уже пошел к выходу, секретарь крикнул ему вслед:

— Потолкуй с Зептке или с Карлином. Но лучше всего посоветоваться с Матшатом.

— Уже в дверях Эре остановился. Опустив голову, он сказал:

— Знаешь, товарищ Бок, я бы на твоём месте поинтересовался колоннами и железными балками в Доме культуры.

— Что?

— Может, и это не твоё дело?

Эре притворился за собой дверь. Перед стенгазетой он задержался. Она была составлена из вырезок самых разнообразных газет. Эре что-то пробурчал себе под нос. Если бы рядом с ним кто-нибудь стоял, то услышал бы: «Ну и работка! Ах, болваны! Вот идиоты!»

Он вышел из заводууправления и отправился искать Андрицкого.

Камера была очищена от угольной пыли. Зуза Рик вышла наверх и, подняв глаза, увидела перед собой Шадова. Он приветливо улыбался ей. Зуза, вытирая руки о штаны, спросила:

— В чём дело?

Шадов протянул руку; девушка пожала её, предварительно ещё раз обтерев пальцы. Шадов сказал:

— Я инструктор земельного правления СЕПГ.

Лицо Зузы стало ледяным. Она спросила:

— И что же?

— Что? — Шадов рассмеялся. — Собственно, ничего!

— Да, но... — начала Зуза и оглянулась вокруг, словно ища помощи. Улыбка Шадова стала ещё шире. Зуза отошла и занялась железной тачкой.

— Только потому, что меня прислала партия? — крикнул ей вслед Шадов.

Зуза взялась за тачку, покатила её прямо на Шадова.

— По крайней мере, честно, — сказал Шадов.

Зуза посмотрела на его широкое открытое лицо, улыбнулась и бросила тачку.

— Что подделаешь! Вы, члены СЕПГ, такие сухари, такие... Ну, как бы это сказать...

— Что именно?

— Ах, не приставайте ко мне! Что вам от меня нужно?

Шадов, все ещё улыбаясь, смотрел на неё в ожидании.

— Оставьте меня в покое! Я свою работу делаю, а никакой политики знать не хочу!

Лицо Шадова вдруг стало серьезным. Он спросил:

— Печь развалилась?

Зуза кивнула. А Шадов продолжал:

— И то, что предлагает Эре и этот рыжий, этот...

— Андрицкий... — Зуза была рада, что лицо у нее черное от угольной пыли.

Шадов взглянул на нее:

— Я ничего не понимаю в кольцевых печах, а ты-то уж наверняка разбираешься! Чего, собственно, этот Эре хочет?

Зуза пожала плечами. Она спросила:

— И вы говорите, Андрицкий с ним заодно?

— Насколько я понял...

— Вот как!..

Шадов рассмеялся, а сам подумал: «Что это с ней?» — и продолжал: — Как, по-вашему, на Эре можно положиться?

— На Эре? — Она задумалась. — Можно. У него голова крепкая. Надо сказать, уж если он что задумает, у него всегда выходит.

Лицо Шадова стало ласковым и дружелюбным:

— Не сердись и скажи мне еще вот что: ты знаешь секретаря здешней партийной организации?

— Такой гладкий, прилизанный, с рыбьими глазами?

— Я ведь тоже его не знаю, — смеясь отозвался Шадов. Затем продолжал уже без улыбки: — А что ты скажешь насчет вашей партийной организации?

Лицо Зузы вновь стало ледяным:

— Это меня не касается. Это уж ваше дело. Я свое делаю и очень рада, если вечером удастся сходить в кино и отдохнуть.

— Ну, понятно... понятно, — попытался Шадов успокоить Зузу, но его глаза настороженно сузились, когда он задал ей следующий вопрос: — А Матшат, ваш мастер?

Однако Зуза, видимо, решила больше не отвечать. Недоверчиво покосившись на инструктора, она схватила свою лопату и тачку и сказала:

— Мне работать надо!.. Надо дело делать! А языком трепать — толку не будет.

Шадов посмотрел ей вслед. Расправив сильные плечи и крепко налегая на тачку, она покатила ее мимо кольцевой печи. Так в чем же здесь дело, товарищ Бок? Вахтеры называли его Бёкхен!.. А эта девушка сказала про

него «гладкий, прилизанный, с рыбьими глазами». Его здесь почти и не знают. Пренебрежение хуже враждебности. Для работы парторганизации обстановка неблагоприятная. Потом эти двое — Эре и Матшат. Эре, конечно, симпатичнее. Но суть не в этом. Эре — активист, а производит впечатление задержанного, даже измученного человека, он несдержан, порывист, задирист и порой, вероятно, теряет всякое равновесие; горяч и скор в решениях, поэтому легко делает ошибки. Должно быть, не любит особенно много размышлять, но у него есть уверенность, что мы, рабочие, — тот класс, который даст человечеству окончательное освобождение! И эта простая уверенность всегда будет для него неиссякаемым источником энергии.

Однако какова фактическая сторона дела? Где границы задач, стоящих перед ним? Что такое инструктор? Контролер или помощник? Протянутая сюда рука командного пункта? Что ему сказали, отправляя на завод? «Посмотри, что там делается! Тебе даны все полномочия...» И он направился в партийное бюро.

Матшат зол. Он стискивает зубы, размахивает руками перед лицом Андрицкого.

— Нет? Так в чем же дело? — Он кричит, он багровеет, но Андрицкий невозмутим, и вдобавок в его взгляде появилось что-то, заставившее Матшата насто-рожиться.

И мастер сбавляет тон. Он продолжает уже вполголоса уговаривать молодого человека:

— А тебе-то что не сидится? Ты воображаешь, что этот хвостун, этот Эре, может выполнить такую штуку? И ты думаешь, ему доверят подобную работу? До чего мы тогда докатимся? Где это слыхано? Ремонтировать печь, не гася ее?

Они в будке Матшата. Отсюда виден цех, а через окна — и весь двор. Молча смотрит Андрицкий сквозь одно из них и видит, как Эре выходит из заводоуправления, нерешительно останавливается, озирается и затем повертывается в сторону Дома культуры.

Андрицкий все еще не произносит ни слова.

— Так как же? — спрашивает Матшат.

Андрицкий не отвечает. Он видит перед собой коль-

цевую печь, систему газопроводов, каналы, ведущие от газовых труб в камеру, и затем дальше, под сводом, — в соседнюю камеру. Проблема в следующем: выключить камеры, которые ремонтируются, но не гасить остальные. Это главное! Наладить все прочее — пустяки.

Матшат сказал со злобой:

— Этот Эре забудет, как нам очки втирать да хватать. Мы с него спесь собьем! Послушай меня, Андрицкий, я дам тебе добрый совет: не связывайся с ним, плюнь!

А Андрицкий мысленно говорит себе: «Если бы одну камеру можно было так отделить от другой, чтобы во время работы выключать подачу тепла, тогда бы вышло».

— Не вмешивайся! Слышишь?

Андрицкий, наконец, поднимает голову, испытующе смотрит на Матшата, затем спрашивает:

— Не понимаю, чего ты кипятишься! Если нам действительно удастся отремонтировать печь на ходу, от этого же выиграют все. Почему ты против?

— Потому, что с точки зрения специалиста — это чушь.

— Не нахожу!

— И все-таки чушь!

— Можно же попробовать!

— У нас здесь не экспериментальная мастерская.

Андрицкий берется за ручку двери, открывает ее. В будку врывается шум цеха; уже шагнув за порог, молодой человек заявляет:

— Так я помогу Эре. Да, помогу. Ему, наверно, трудно справиться с чертежами, но я помогу ему. Нельзя же останавливать весь цех!

Он прикрывает за собой дверь. Но Матшат одним прыжком нагоняет его и вталкивает обратно.

— Ты что же, чертежи ему собираешься делать?

Андрицкий кивает. Глаза Матшата поблескивают из-под жирных век и кажутся узкими щелками. Он, задышавшись, шепчет:

— Тебе пора бы смыться отсюда.

— Что пора? — спрашивает Андрицкий, растерявшись.

— Смыться. На Запад. Подальше от русского сектора.

— Почему?

Матшат берет Андрицкого за пуговицу и тянет к себе, Андрицкий отшвыривает его тяжелую волосатую руку.

— Ты это брось, слышишь?..

Но Матшат настойчиво шепчет:

— Тебе определенно надо смыться. Как ты думаешь, для кого был тот чертеж, который ты сделал? Для кого бы, а? Не знаешь? — он свистнул сквозь зубы. — Для за- границы, вот что! Для старой фирмы, которая теперь строит завод в Западной Германии! Только не повезло мне! Он попал не в те руки! В руки НКВД! Слышал когда-нибудь? Ну так вот, план уже у них, и они, наверняка, ломают себе голову, кто его чертил.

Андрицкий растерянно улыбается, то краснеет, то бледнеет. Матшат продолжает:

— Вот видишь! А ты из Западной зоны. К людям от-туда они особенно приглядываются. Если дело дойдет до расследования, — так ведь твой почерк все знают.

Лицо Андрицкого сразу осунулось, он хрипло бормочет:

— Значит ты... ну... для тех работаешь? Так...

Матшат смеется.

— А ты думал! Для кого же еще? Какое мое положение здесь?.. Ты что же, воображаешь, я там не найду себе место? Ведь это мои старые хозяева, я на эту фирму двадцать лет работаю. Почему же я торчу здесь? Соображаешь?

— Негодяй! — Андрицкий поднимает руку. Матшат выдерживает его взгляд.

Андрицкий круто поворачивается, но не успевает дойти до двери, как слышит шопот:

— Можешь идти доносить. Иди же! Я двадцать лет на заводе, у меня самая лучшая репутация, я член СЕПГ. А вот надписи на чертеже... это мой или твой почерк?

Руки у Андрицкого дрожат.

Матшат обнимает его за плечи, добродушно смеется.

— Видишь, — замечает он, — надо всегда сначала поразмыслить, а не кипятиться. Мозгами шевелить надо, верно?

— А что же теперь? — беспомощно спрашивает Андрицкий.

— Сначала скажешься больным, — поясняет Матшат, — потом пойдешь домой, соберешь свое барахло, сядешь на трамвай и поедешь в тот сектор. У них уж для тебя и место припасено. Нет, пожалуй, лучше сделаем так: я сегодня вечером приеду к тебе, и мы вместе подумаем, что предпринять. Ладно?

Андрицкий стряхивает руку Матшата, бормочет: «Негодяй! Негодяй!» — и уходит тяжелым, усталым шагом.

Шадов беседовал с Боком в течение двух долгих часов, но так ни до чего и не договорился. Все то, что инструктор успел уже узнать об этом заводе, и то мнение, которое у него уже сложилось, Боку удалось как-то невероятно запутать. Секретарь ускользал, точно угорь, уклонялся от всяких конкретных ответов, и Шадов, чувствуя, как в нем разгорается гнев, потребовал, чтобы было созвано совещание.

— В рабочее время? — удивился Бок.

— В исключительных случаях это разрешается, — ответил Шадов.

И вот они сидели перед ним все — актив заводской парторганизации. Лица у них были хмурые, равнодушные, у иных даже сонные. Шадов внимательно разглядывал их одного за другим, рассеянно прислушиваясь к глуховатому голосу оратора.

Выступал Фале, мастер шамотного цеха и секретарь цеховой партийной группы. Богатырская фигура, крупная голова и худое лицо с выразительными чертами. Он сказал:

— Мы оставили Эре без всякой поддержки. Это так. Сколько раз я упрекал себя за это, но по существу ничего не сделал, чтобы изменить положение вещей.

— Почему? — спросил Шадов.

— Почему я его не поддержал? — Фале задумался. — Я задаю себе вопрос, правильно ли мы к нему относились? Я имею в виду нас, членов партии. Нет! Неправильно.

— Ну, не совсем так, — вставил Бок назидательно. — Я лично всегда о нем заботился.

Фале иронически улыбнулся. Но лица остальных почти не изменили своего выражения. Рядом с Фале сидел Зальбуш; он ловко скручивал папиросу, бросая по сторонам быстрые насмешливые взгляды, а подле него — бригадир угольщиков: черный, грязный и такой же замкнутый и молчаливый, как и большинство присутствующих. «И все-таки, все они, — думал Шадов, — веселые и угрюмые, открытые и замкнутые — все они — золотой фонд нашей партии...» И он спросил вполголоса:

— А Эре? Как он? Как его партийная активность? На гладком лице Бока с вялыми, бескровными губами выразилось смущение:

— Ну... он неплохой член партии.

А Фале подумал: «Вот собака... насквозь фальшивый». Он многозначительно кашлянул. Шадов пристально посмотрел на секретаря. Бок поджал губы, его глаза забежали. Зальбуш усмехнулся с такой откровенной иронией, что Шадов решил: «За этого парня я должен взяться!»

— Так какую же вы — я разумею партийную организацию — занимаете позицию в этом деле? — спросил он.

Бок пожал плечами; Фале, казалось, что-то обдумывал. Тогда Зальбуш сказал, так же насмешливо улыбаясь:

— Что ж, если печь развалится, в самом деле развалится... это — страшная вещь.

— А вы как? — обратился Шадов к остальным.

Они отвели глаза. Фале, казалось, хотел что-то сказать, однако не решился.

— Следовало бы спросить специалистов, — раздался опять голос Бока. — Откуда нам знать, стоящее ли это предложение или нет. Надо спросить специалистов. Наши активисты любят придумывать всякие новшества и вносить предложения, которые еще незрелы и не могут быть проведены в жизнь. А одни мы ничего сделать не можем... Пусть Эре изложит свой проект на бумаге, и тогда выскажутся специалисты.

— Специалисты! Специалисты!.. — Фале наконец решился выступить. — Помните, как они хотели от него отделаться? А кто тогда о нем позаботился? Не мы.. нет, не мы, — продолжал он, когда Бок попытался прервать его. — Мы, представители партии, вообще не знаем, что делается на заводе, а о завкоме уж и говорить нечего. Всегда в хвосте плетемся!

— Но позволь... у товарища инструктора может сложиться совсем неверное представление...

— Неверное представление? — Смех Фале действовал, как холодный душ. Шадов в тревоге посмотрел на Зальбуша, но тот только ослабился, и нельзя было понять, что он думает. — А шесть заявлений за последние два месяца? Ведь шестеро рабочих ушли из партии! — Фале уже нельзя было удержать, хотя Бок испуганно поднял руку. — Один был даже активистом... а из двес-

надцати беспартийных активистов мы не привлекли в партию ни одного...

— Товарищ Фале! — заверещал Бок, причем лицо у него было такое, точно ему надавали пощечин. Лишь с большим трудом ему удалось овладеть собой. — Но товарищ Фале... так же нельзя обсуждать вопрос... Предлагаю держаться ближе к делу.

— Еще ближе?

— Все это верно? — резко спросил Шадов.

Бок опустил голову.

— Ты что же, думаешь, я вру? — Фале был, видимо, возмущен, хотя и старался сдерживать себя. Он так стиснул руки, что хрустнули суставы.

Шадов взглянул на Бока и спросил:

— Товарищ секретарь, в нашем разговоре ты даже не упомянул об этом; или забыл?

— Ну да, как-то так вышло... но... — Бок тут же приосанился, даже его вялый рот принял более энергичное выражение. — Надо же понимать причины. Разве мы мало дискутировали по этому поводу? Мы уже добились в этом смысле кое-каких успехов. Так, за последние месяцы продажа газет увеличилась на двадцать процентов. Кроме того, мы добились, что девяносто семь процентов всего рабочего коллектива стало членами профсоюза.

— Ну и что же? — Взгляд Фале несколько не смягчился. Шадов смотрел то на одного, то на другого и думал: «К чорту... очки втирает... просто очки втирает! Но разве я не обязан растолковать ему, что он не имеет права успокаиваться на воображаемых или действительно достигнутых успехах? Удастся ли мне внушить ему это? Удастся ли мне растолковать остальным, что они тоже несут за все ответственность? У каждой группы такой секретарь, какого она заслуживает. Это ясно!» Он ободряюще посмотрел на Фале. Тот молчал. Шадов спросил:

— А ты что скажешь, товарищ Фале?

— Ну, что ж... ну, что ж, — запинаясь, пробормотал Фале после некоторого раздумья. — Добились успехов? Допустим! Но что это за успехи? Да разве дело только в том, что кто-то организуется, что мы кого-то организуем, чтобы потом заявить — вот какой процент организованных? У нас прямо страсть какая-то развилась этими самыми цифрами да процентами жонглировать. Но ведь это же только начало и никакие это не успехи! Взять,

к примеру, наши профсоюзные собрания... Все молчат, как воды в рот набрали... Никто ничего не обсуждает... А наши партсобрания? Лучше, что ли, они проходят?

— Почему же не бывает споров и обсуждений?

Все посмотрели на Бока, но никто не ответил. Молчал и Бок, видимо, разозленный. «Какие-то они все необщительные»,— подумал Шадов. И словно в подтверждение его мыслей Зальбуш сказал:

— Сидят, слушают, ушами хлопают,— говори не говори, с них, что с гуся вода,— и до смерти рады, когда можно удрать.

— А разве наши слова — вода?

— Товарищ Шадов,— вмешался Бок, с трудом сдерживая негодование.— Мне кажется, обсуждение идет мимо основного вопроса. Так нельзя дискутировать. Это не по-марксистски.

Лица людей еще больше замкнулись, точно им в глаза ударил слишком резкий свет. Улыбка Фале стала до того презрительной, что Шадову сделалось не по себе. Он подумал: «Это называется толочь воду в ступе!» — и сказал вполголоса:

— Ну хорошо, так обсуждайте по-марксистски! — Однако он не смог скрыть своей иронии. «Очковтиратель! — думал он о Боке. — Морочит мне голову... замазывает правду!»

— Нужно учитывать объективные причины,— падающим тоном заговорил Бок. Шадову почудилось, будто Бок держит в руке моток шерсти и нитка начинает сама собой разматываться,— а объективные причины состоят просто-напросто в том, что требуем мы от людей слишком многого. Прежде всего мы требуем, чтобы они покупали газеты и три-четыре раза в неделю посещали собрания. Потом, чтобы они работали и непрерывно повышали свои нормы. Скажите, можем ли мы этим увлечь массы?

От возмущения Шадова даже в жар бросило. Но чтобы дослушать все до конца, приходилось молчать. Он закурил. Фале вытащил из кармана свой кнастер и набил обгрызенную трубку. Зальбуш снова быстрыми ловкими движениями свернул папиросу, продолжая вызывающе усмехаться даже после того, как поймал гневный взгляд Шадова. Они начали курить, и синеватый дым обрисовал их головы, словно клочья ткани.

— Значит, и вы такого же мнения? — обратился Шадов к остальным.

Бок вспыхнул; его лицо с тонкой кожей порозовело. Зальбуш усмехнулся.

— Какого мы мнения? — угрюмо отозвался Фале. — Нет, не такого же! Я лично другого мнения.

— А остальные как? — спросил Шадов.

Но присутствующие молчали. Эти люди сидели, опустив глаза, стиснув руки, и их огрубевшие лица, черные от угольной пыли, были неподвижны, точно маски. Рабочих словно холодной водой облили.

— Значит, вы одного мнения с Боксом? — спросил Шадов.

— Нет! — Фале с вызовом поглядел на всех. Когда он встретился со злобным взглядом Бокса, он засмеялся, и смех его был похож на рычание. Бокс воздел руки и заявил:

— Но мы должны, друзья, ко всему, значит и к этому вопросу, подходить по-марксистски...

Шадов спросил Фале:

— А почему ты не согласен с Боксом насчет объективных причин?

— Потому, что это совершенно явная чушь.

— Товарищ Фале...

— Извини, но таково мое мнение... Возьмем, к примеру, случай с Эре. Можно тут говорить о неблагоприятных объективных условиях? Я имею в виду не условия работы на производстве, они, конечно, тяжелые, а нашу партийную работу. Мы имеем все основания считать, что предложение Эре может быть успешно осуществлено. Но ведь мы... Мы или глупим или задаемся, а иной раз совершенно не понимаем, ну, ни черта не понимаем, в чем наши первейшие задачи... А с людьми мы говорить умеем? Нет, мы просто командуем! Во многих из нас еще сидят пережитки прошлого.

Молодой парень — Шадов не знал, из какого он цеха, — сердито прервал Фале:

— Ну, это ты уж слишком!

Шадов сидел, тяжело навалившись на стол и закрыв глаза, но теперь он почувствовал некоторое облегчение.

— И что же? — спросил Бокс. Он с трудом сдерживался.

— Что? — Фале с удивлением посмотрел на него. — Если вы меня спрашиваете, почему у нас так выходит, я отвечаю: нет у нас хорошей партийной организации, а если вы хотите знать, почему ее нет, — так потому, что у нас плохое руководство, а плохое оно опять-таки из-за того, что парторганизация ничего не стоит. И так как я...

— Значит, я плохо работаю? — спросил Бок.

— Ты? — Фале внимательно посмотрел на него. — Да ведь и мы тоже!..

Бок вскочил. Зальбуш, явно насмехаясь над секретарем, толкнул локтем соседа, другие заерзали на своих стульях. Пожилой рабочий с черными усами и вздернутым носом добродушно сказал, взглянув на Бока:

— Ну-ну. Зачем уж так мрачно все это расписывать...

Кто-то поддержал его:

— Правильно!

Но большинство было, видимо, невысокого мнения о Боке. А Шадов подумал: «Многое узнал я за какой-нибудь час, очень многое! Как же быть с Боком? Его следовало бы отправить рабочим куда-нибудь на завод, но только... Можем ли мы себе это позволить? Что же делать? Просто поставить крест над человеком? Или помочь ему? Не будь он еще таким гладким да скользким! А то и ухватиться не за что — ни рыба ни мясо! И все-таки помочь ему нужно».

Он спросил, стараясь перекричать шум голосов:

— А как построено ваше руководство?

Молчание. Бок с трудом проговорил:

— Маленькое бюро из трех человек, я стою во главе. И потом...

Шадов кивнул головой, подумал про себя: «А потом, потом — ничего! Вероятно, даже не маленькое бюро, а только Я, Я — секретарь».

Андрицкий идет, держа подмышкой сверток со спецовой, и вдруг останавливается как вкопанный. Сверток падает в отверстие одной из керамических труб. В луче прожектора взлетает облако угольной пыли, похожей на рой мошкеры, и из него выходит Зуза Рик. Упираясь в ручки двухколесной тачки, она толкает ее перед собой; пружиня сильными ногами, приближается к Андрицкому,

и когда на нее падает резкий косо́й луч прожектора, кажется, что она движется позади прозрачного серебряного занавеса.

А он все еще стоит неподвижно. Поровнявшись с ним, Зуза останавливает тачку. Его руки висят вдоль тела, словно деревянные; ему чудится, что вместо языка у него во рту комок глины — тугой и вязкий; он принужденно улыбается и растеряннó смотрит на ее потное лицо.

Где-то рядом рабочие многозначительно фыркают. Зуза снова берется за тачку, толкает ее, а он шагает рядом с ней и понемногу его оцепенение проходит. «Как школьник... — думает он... — прямо как школьник на первом свидании!» И желая сказать хоть что-нибудь, он спрашивает:

— Выспалась? — Он вынимает из кармана платок и вытирает лицо. Но ему все так же жарко, и липкий пот холодными струйками течет по спине.

— Вот жарища! — говорит она. Ее глаза блестят, как кусочки светлосинего шифера.

— Господи... Прямо сдохнуть можно. — Он растеряннó улыбается.

— А пыль! — Ее голос вот-вот сорвется.

Он думает: «Только бы прочь отсюда... Этот Берлин... Только бы прочь!» Ему чудится, что он уже на самом краю трясины, уже одна нога вязнет в черном иле и ил засасывает... засасывает... Надо скорее вытащить ногу, как можно скорее. Эти люди с их политикой, с их партией — не хочет он вариться в этом котле. Но только бы не этот завод, там, за границей! И почему начинать нужно именно с него?

Он старается говорить как можно пренебрежительнее:

— И как это тут нет вентиляции?

— Нет вентиляции? — Они как раз дошли до конца коридора. Зуза сворачивает в цех, а он все еще шагает рядом.

— Ну да, ведь дышать нечем! — И торопливо добавляет: — Я хочу сказать, что нужна целая система вентиляции.

И тут она раздражается звонким, каким-то фарфоровым смехом.

— Да, вентиляция — полезная штука, определенно!

Они идут мимо группы женщин, очищающих проводочными щетками си́литовые стержни, и вслед им доно-

сится хихиканье. Зуза смотрит на него, и ему кажется, что ее взгляд проникает под кожу, в самую кровь. Он задыхается. Одна-единственная ночь! В комнату тогда лился беловатый свет луны, бежавшей по небу среди разорванных облаков. И вот уже конец! Никаких ночей больше не будет. С Зузой — больше ни одной!

Проход разветвляется. Зуза сворачивает налево, он же продолжает идти прямо вперед, и если он так обойдет весь цех, то опять вернется к трубе, в которой исчез узелок со спецовкой.

Андрицкий слышит все привычные шумы: жужжит кран, перекликаются рабочие, постукивают молоты и скребут лопаты, сопит всасыватель; слышит он и лихорадочный, неумолчный стук своего сердца. Он еще раз озирается и шепчет: «Так вот, Зуза... я...»

Все сливается у него перед глазами, она уходит от него, крепко держа тачку, вокруг снуют рабочие в черных, измазанных углем спецовках, с равнодушными, точно незрячими лицами, они даже не замечают его, а ему нужно уезжать!.. Как это больно! Да, теперь он знает, что это больно, и все-таки изменить ничего нельзя.

Андрицкий вытаскивает из трубы свой узелок и уходит домой. Придя к себе, он быстро укладывает вещи, портрет Зузы он завертывает в бумагу и отправляет ей с посыльным на завод без единой строчки, а через несколько часов он уже сидит на скамье пассажирского поезда, идущего в Стендаль. Оттуда он надеется перебраться через зональную границу.

Задумчиво глядя перед собой, Карлин сказал, заканчивая разговор по телефону:

— Я предлагаю вот что, фрау Глюлинг, приведите его сейчас с собой. У меня как раз есть четверть часа, и мы потолкуем.

Когда секретарша доложила о приходе фрау Глюлинг и доктора Лаутера, Карлин поднялся и пошел им навстречу. Он увидел костлявое лицо, тихие умные глаза за очками в стальной оправе и подумал: «Исследователь! Таким я всегда представлял себе исследователя!» Он пригласил обоих сесть.

Марта Глюлинг, заведующая лабораторией, видная полногрудая дама лет пятидесяти, с глазами строгой

губернантки, почти мужским жестом взяла папиросу, улыбнулась и сказала:

— И что только у нас творится, господин директор! Поверить трудно! Отличный, опытный химик работал сначала подсобным рабочим в цехе обжига, а теперь простым уборщиком в лаборатории. Ну и времена! Невероятно!

Потом заговорил Лаутер. Пока он рассказывал, Карлин, опершись раздвинутыми руками о письменный стол, спокойно смотрел куда-то вдаль. Он думал: огромный завод, на нем работают три тысячи человек, и у каждого своя судьба. Каждый пытается как-то наладить свою жизнь, стать на ноги.

Лаутер, встревоженный тем, что Карлин как будто занят собственными мыслями, вдруг прервал свои объяснения:

— Если вам неинтересно, господин директор...

Карлин улыбнулся. А Лаутер подумал: «Божэ, этот человек умеет улыбаться! Эти серые глаза, строгие губы, это исхудавшее лицо может стать простым и ясным, как лицо ребенка. Это же совершенно не вяжется с тем, что о нем рассказывают, особенно среди интеллигенции».

— Пожалуйста, продолжайте!

Но когда гость снова заговорил, он словно вдруг потерял основную нить, как будто все это вовсе не так уж важно, как казалось вчера, как казалось еще час тому назад. Запинаясь, Лаутер продолжал:

— Не подумайте, господин директор, что я хочу что-либо скрыть. Может быть, мне, уже как правительственному чиновнику государственного управления по выдаче патентов, следовало вступить в национал-социалистскую партию; вероятно, да. Но я скажу вам прямо: я пошел в эту партию потому, что верил во все; то есть верил, что она имеет право на существование, что она действительно призвана выполнить некую миссию... Исторический опыт, истолкованный ошибочно, не меня одного заставил поверить, что ей дано это право...

— Исторический опыт?

— Вот уж не думала, что мне придется сегодня еще слушать философские рассуждения! — засмеялась Марта Глюлинг, но в ее низком голосе чувствовалась неуверенность. Карлин, незаметно наблюдавший за ней, подумал: «И чего она волнуется?»

— Да,— продолжал развивать свою мысль Лаутер,— и исторические события последних десятилетий подтверждают, что великие перемены в истории человечества всегда покупаются ценою крови.

Карлин видел костлявое загорелое лицо, упрямо сжатые губы, лысую голову. Он прочел искренность в его оживившихся глазах.

— Понимаю, очень хорошо понимаю! — сказал он и повторил про себя: «Исследователь, типичный немецкий исследователь!» Он спросил: — Вы доктор химических наук?

— Да, хотя в лаборатории почти не работал.

— А у нас кем? — улыбнулся Карлин.

— Уборщиком при лаборатории...— строго сжатые губы Лаутера улыбнулись, а глаза засияли мягким блеском.

— И это вам пошло на пользу? — спросил Карлин, и почувствовал, насколько им обоим мешает присутствие этой грудастой властной женщины.— Сударыня,— обратился он к ней,— я не хотел бы отнимать у вас время. Мы с вами еще потолкуем относительно дальнейшей деятельности доктора Лаутера.

Марта Глюлинг поняла. Она встала, простилась и вышла. Когда дверь за ней захлопнулась, Карлин, не глядя на Лаутера, повторил свой вопрос:

— Так пошло вам это на пользу?

Лаутер взглянул на письменный стол, точно сам еще не знал, что ответить. Помолчав, он проговорил:

— Думаю, что да! Определенно пошло на пользу! — и с некоторым усилием продолжал: — Хотя меньше в смысле профессиональном, чем в чисто человеческом. Я, наконец, понял, что мы, представители науки,— тоже часть нашего народа, причем небольшая часть, и что у нас нет никакого основания считать себя привилегированными. Только мы несем еще большую ответственность, да...

Зазвонил телефон. Карлин взял трубку.

— Попросите фрау Эре еще минутку подождать,— сказал он,— а Боку скажите, что я через четверть часа буду в партбюро.

Лаутер хотел подняться, но Карлин удержал его:

— Пожалуйста, доктор, продолжайте!

И Лаутер, запинаясь и словно через силу, начал рассказывать о наиболее важных событиях своей жизни, но так, как будто он говорил не о себе, а о своем хорошем знакомом. Во время войны он был исполнительным офицером. Под конец командовал подразделением вермахта, защищавшим рейхстаг. Но когда при штурме рейхстага советскими войсками он увидел, что эсэсовские офицеры все куда-то незаметно скрылись и бросили своих солдат на произвол судьбы, он взял на себя командование; и ему оставалось одно — сдаться, что, впрочем, не стоило ему особых усилий. Только в самом конце войны — и за это он будет винить себя до самой смерти — он понял всю ее преступную бессмысленность. В лагере военнопленных он чувствовал себя как удалившийся от мира отшельник в своей пещере, но когда он смотрел на растерянные лица своих сотоварищей и всматривался в самого себя, ему становилось ясно, что этим пребыванием в лагере еще ничто не искуплено, ничто не исправлено. Потом он вернулся в Берлин, начал работать в команде по разборке развалин. Но однажды, когда ему стало особенно тяжело, он решил, что с него хватит; тогда он явился в контору завода и попросил работы, но так как он ничего не сообщил о своей специальности, его поставили подсобным рабочим у печи. Прокопченный, потный, задыхаясь от угольной пыли, работал он вместе со всеми месяц за месяцем, пока, неожиданно для него, его не перевели в лабораторию.

Когда он кончил, Карлин долго молчал. «Следовало ли рассказывать ему все... решительно все? — спрашивал себя Лаутер. — И поймет ли он меня?» Как и все на заводе, он знал, что Карлин был раньше электромехаником, что это волевой, несгибаемый человек, который к каждому предъявляет большие требования.

Карлин, прикрыв рукой глаза, спросил:

— У вас есть опыт в области практических исследований?

— Почти нет, — ответил Лаутер. — Только кое-какие теоретические познания!

Карлин встал. Наклонившись вперед, озабоченный, все еще заслоняя глаза рукой, он медленно проговорил:

— Не думайте, что я хочу как-то повлиять на вас. Я только хочу описать вам наше положение. У нас

большие трудности с выполнением программы по производству меднографитовых щеток, так как Запад больше не снабжает нас медным порошком. Я не буду вдаваться сейчас в причины позиции, занятой властями Западной зоны; наши мнения на этот счет могли бы разойтись. Факт тот, что мы принуждены сами искать выход. Нам нужен медный порошок собственного производства, понимаете, доктор?

Лаутер сказал с усилием:

— У меня нет опыта по части практических изысканий.

— Ни у кого из нас не было опыта.

— Но я же не могу брать на себя ответственность...

— Ответственность? — Карлин так сжал губы, что они казались прямой серой чертой. — Ответственность я уж как-нибудь возьму на себя. Специалисты, с которыми я об этом говорил, или не желают брать ответственность, или не верят, что мы сами можем производить медный порошок. Смелости нехватает? Так, что ли? Да мне раньше и во сне не снилось, что я могу взять на себя такую ответственность, какую приходится нести сейчас!

— Но я, право же, не имею достаточного опыта, — неуверенно повторил Лаутер, вставая.

И вот они стояли друг против друга, с виду непринужденные и спокойные. Однако когда Карлин снова заговорил, Лаутер почувствовал, что тот волнуется.

— Доктор, — медленно, точно с трудом подбирая слова, говорил опять Карлин. — Вы должны понять... Нет, я вот другое скажу вам. Видите ли, еще совсем недавно я был простым техником, и никто, а тем более я сам не поверил бы, что я смогу руководить таким предприятием. Но моя партия... вам, может быть, это и не вполне понятно, но моя партия сказала мне: «Ты должен!» И я... как бы вам объяснить... Если моя партия еще при Гитлере говорила мне, что нужно отпечатать и распространить такие-то листовки, или если она говорила: «На твоём предприятии следовало бы организовать группу», — такие поручения для меня... Ну, вы же были солдатом, доктор, и знаете, что такое приказ... Но у нас другое, нет, у нас это не приказ. Видите ли, когда партия тебе скажет «Сделай!» — значит, сделать нужно. Понимаете? Конечно, для вас указания партии не то...

Вы не почувствуете внутренней потребности непременно их выполнить. И все-таки я вас прошу подумать: не следует ли нам заняться изготовлением медного порошка. Нужно ли мне объяснять вам — почему? Если вам кажется, что никакие наши начинания не заслуживают того, чтобы их поддерживать, то скажите прямо! А если вы считаете, что в этой части Германии растет что-то новое и этому новому стоит оказать поддержку, ну, тогда, доктор...

Карлин умолк. Они посмотрели друг другу в глаза. Затем Карлин уже спокойно продолжал:

— Так вот, обдумайте, можете ли вы и хотите ли разработать технические условия для изготовления нашего собственного медного порошка. Когда вы решите, я прошу вас меня известить.

— Да, но... боже мой, и вы тоже обдумайте хорошенько, на кого вы возлагаете такую ответственность!

— На кого? Да на вас же! — Карлин рассмеялся, и его серые глаза засветились теплым и мягким блеском. Он все еще посмеивался, когда Лаутер уже вышел и вместо него появилась Катрин Эрс. Увидев теплый блеск его глаз, она тут же прониклась доверием к нему и, улыбнувшись, подошла ближе.

Пишущая машинка Ирены Мальке стрекотала. По улице прошел трамвай. Шадов, внимательно разглядывая как-то вдруг увядшее лицо Бока, с тревогой подумал: «Действительно ли я окажу заводу помощь, если буду добиваться того, чтобы этот человек стал другим, стал лучше и работал так, как он должен работать?»

Он строго спросил:

— Ты понял, в чем основная разница между нынешним руководством и тем, как руководили заводом раньше?..

Бок кивнул и судорожно затянулся папиросой. Его веки вздрагивали, лицо напоминало сморщенное яблоко, пролежавшее зиму в подвале.

— А как ты намерен перестроить работу?

— Я создам новое руководство.

— Это нужно сделать как можно скорее!

— Да, да, завтра же,— пробормотал Бок; и сейчас, когда он сидел вот так перед Шадовым, скривив рот, с лихорадочно блестящими глазами, он казался несчастным, издерганным, измотанным.

Тревога Шадова росла, он думал: «Не совершил ли я все-таки ошибки?» Все товарищи, с которыми он здесь беседовал — а они, собственно, и составляют партийный актив завода, — были одного мнения: Бок не признает коллегиального руководства. Партийная работа оценивалась по чисто формальным признакам, главное — продажа газет; человек не был поставлен в центре всей работы, не велось серьезной борьбы против вредных пережитков прошлого, которые еще есть даже у партийных товарищей. И все единодушно считают, что Бока следует снять. Однако он, Шадов, воспротивился этому. Ведь человек не окурок: выбросил — и дело с концом! И все-таки Шадов чувствовал неуверенность.

Желая ободрить Бока, он наконец сказал:

— По-моему, ты справишься, товарищ Бок! Наверняка. У тебя ведь в основном народ здесь неплохой, наоборот! Только всегда нужно помнить, что ты имеешь дело с живыми людьми. А живой человек — штука весьма сложная.

Бок кивнул, глядя перед собой и все еще кривя губы. Но морщины на его лице разгладились, и он сказал едва слышно:

— Если вы мне поможете и если ты будешь заходить почаще, то дело пойдет на лад. Ведь как было до сих пор? Заглянет раз в два-три месяца товарищ из районного или центрального правления, просидим мы с ним несколько часов подряд, все обсудим, а потом я опять остаюсь один.

Возникшее у Шадова неприятное ощущение, что он совершил какую-то ошибку, усилилось. Стоявший перед ним человек с неестественно тонкой кожей так и не понял, о чем идет речь. И Шадов сказал неожиданно резко:

— Один? Почему один? Опирайся на всю партийную организацию, обсуждай с новым партийным бюро все вопросы без исключения. Направь свое внимание на то, чтобы как можно больше людей втянуть в движение наших активистов за рационализацию производства, говори с людьми живым, человеческим языком, а не так, как до сих пор.

— Да, конечно, так и будем делать. — Голос Бока уже звучал уверенно, точно он действительно наконец почувствовал почву под ногами. Шадов облегченно вздохнул.

В дверь постучали, вошел Карлин. Бок познакомил его с Шадовым, и инструктор, хорошо знавший жизненный путь этого художавого серьезного человека, крепко пожал ему руку. Глаза Карлина еще сияли мягким блеском после разговора с Лаутером и Катрин. И он сказал с добродушной грубоватостью:

— Вот и к нам наконец пришли люди из центрального правления... Пора, давно пора.

— А вы? Почему вы к нам не приходите?

Оба весело засмеялись. Бок тоже натянуто улыбнулся. Но не успел он и рта раскрыть, как директор неожиданно заявил:

— Очень хорошо, что ты здесь, товарищ инструктор. Есть тут у нас кое-какие дела... нелегкие дела...

— А мне что же — за вас их улаживать? — возразил Шадов.

— Да ты подожди, чего ты сразу взъелся? — остановил его Карлин. Однако лицо директора стало серьезным и озабоченным. Он продолжал: — Главное, пожалуй, то, что нам из Западной Германии больше не доставляют медного порошка. Причины ты, конечно, понимаешь. наших запасов хватит всего месяца на два. И вопрос стоит так: следует ли поручать организацию выпуска нашей собственной продукции человеку, у которого нет с нами ничего общего и который может в любую минуту переметнуться на Запад?

— Ну, так, с ходу, этот вопрос не решишь.

— А тебе и не надо решать. Я уже решил. Я дам ему в помощницы одну женщину — очень крепкого товарища, он подготовит из нее ассистентку. Но есть другая проблема: нам придется остановить еще одну кольцевую печь, чтобы отремонтировать ее заново. Потом было бы неплохо...

Шадов вздохнул:

— Постой, постой, не наваливайся так сразу. Значит, насчет медного порошка вопрос решен. Тут тебе помощь, видимо, уже не нужна. Относительно печи я слышал сегодня утром на заводе... Что с ней там стряслось?

Не успел, однако, Карлин ответить, как открылась дверь и вошел Эре. Он торопливо поздоровался и направился было к Боку, но тот сейчас же предостерегающе поднял руку. А Шадов сказал:

— Присядь пока. Подожди минутку.

Эре сел на стул рядом с полкой, где лежали газеты, достал из кармана табак и начал скручивать папиросу. Прислушиваясь к словам Карлина, он испытующе поглядывал то на одного, то на другого.

— Положение в обжиговом цехе очень неважное, — продолжал Карлин. — Первая и вторая кольцевые печи разбиты бомбежкой, третья уже настолько изношена, что едва ли выдержит два обжига. Цела только печь номер шесть, третью загружать уже нельзя: специалисты говорят, что ее нужно разгрузить, остудить и перекладывать заново. Значит — шестимесячный простой. Недавно наш специалист по строительству обжиговых печей сбежал на Запад. Что касается Матшата... то... мне кажется, он все-таки довольно консервативен. Я имею в виду его методы работы... Короче говоря, мы стоим перед угрозой срыва всего производства силитовых стержней.

Шадов нахмурился. Он посмотрел не на Карлина, а на Эре и перехватил его загоревшийся взгляд.

— И что же? — вмешался Бок. — Товарищ инструктор может подумать... — Но заметив презрение в глазах у Карлина, прикусил язык. Затем он продолжал:

— Специалисты уверяют...

— Да, что ей нужно сначала остыть, — подтвердил Карлин.

— А что говорят рабочие? — спросил Шадов.

Карлин пожал плечами. Бок засуетился:

— Я дам соответствующее распоряжение...

Но тут же испуганно смолк: Шадов вполголоса выругался и обернулся к Эре:

— Ты ведь печник! Что же ты молчишь?

Эре, судорожно сцепив пальцы, заерзал на стуле.

— Ты что-нибудь понимаешь в кольцевых печах?

— Откуда? — буркнул Эре. — Меня к ним и не подпускают.

— Кто не подпускает?

— Да все!

— Почему это? — спросил Шадов, сердито покосившись на Бока.

— А я знаю, почему,— взволнованно продолжал Эре. — Я вот превысил норму по выкладке камерных крышек, и не тем, что жилы себе выматывал: я нашел новый способ обработки кирпича. Я стал активистом, а они все, как воронье, на меня накнулись. А чего они добились? Я норму повысил, так меня перевели на другую работу! Потом я внес еще одно рационализаторское предложение, уже полтора месяца прошло и — ничего...

— Рационализаторское предложение? — оживился Карлин.

— Для крышки нужно сто обтесанных кирпичей, ими выкладывают стальную раму. Вместо того чтобы тесать, я стал их распиливать. А ведь можно сразу же при обжиге делать их фасонными, такой формы, какая нам нужна? Почему мы этого не делаем? Ведь это просто саботаж!

Бок возмутился:

— Ну ты, полегче!

Карлин что-то записал себе. Шадов спросил:

— А дальше что?

— Что дальше? — Эре горько усмехнулся. — Да вот в Доме культуры разные дырки заделываю!

— А почему ты ко мне не пришел? — спросил Бок.

Улыбка Эре была насмешлива до оскорбительности.

— К тебе? — протянул он. — Да разве я на днях не был у тебя? Скажи, не был? Разве ты не сидел на этом вот самом месте, и когда я вошел, еще руку поднял и сказал: «Бог мой, никогда не дадут спокойно поработать, приходи попозже!» — Скажешь, не так было дело?

— А почему ты ко мне не пришел? — спокойно спросил, в свою очередь, Карлин.

— К... к... вам... к тебе? — Эре растерянно посмотрел на Карлина. — Вы же директор. Нельзя же из-за всякой ерунды бегать к директору!

— Ерунда? Это ерунда? — Карлин раскатисто засмеялся; улыбнулся и Шадов скупой и тревожной улыбкой. Эре, который покраснел до самых корней уже седеющих волос, подумал: «Надо мной, что ли? Они надо мной смеются?» — и в бешенстве продолжал:

— Ну и смейтесь, говорить я не умею. Смейтесь надо мной. Я ведь простой рабочий, но я вам заявляю... — он

встал, подошел к своим трем собеседникам и остановился, возмущенный, перед ними.

— Ну-ка сядь, чего вскочил, — спокойно сказал Шадов, который все еще не в силах был подавить своей странной усмешки.

Эре снова присел на стул и язвительно продолжал:

— Да, смейтесь! А что делается на заводе? Ничего вы не знаете! Торчите себе здесь, в конторе, а что там происходит саботаж и прочее...

— Как, саботаж? — переспросил Карлин.

— Ну да, а что вы думали?..

Тут Шадов вынул из кармана папиросу, протянул ее Эре и сказал:

— На, покури сначала! А тогда поговорим серьезно, ладно?



III

— Пятьдесят с человека!

— Пятьдесят марок? — Люди испуганно переглянулись. В сумерках, под деревьями, они не могли рассмотреть друг друга.

— Ну да, — подтвердил проводник. — А не хотите... Что вы, в самом деле, воображаете? Это вам простая прогулочка, да? Прошлись через лес и все? А мне это может дорого обойтись... Я жизнью могу поплатиться...

— Да ведь пятьдесят марок!

А одна из женщин добавила:

— Деньги-то у нас не ворованные!

Проводник, еще молодой парень, с плутоватым лицом, в куртке с молнией, стоял перед группой

перебежчиков и самоуверенно поглядывал на них. Старик с седыми усами проворчал:

— Нас пятеро, значит, двести пятьдесят марок. За какие-нибудь полчаса такие деньги!

— Ну не идите, кто ж вас тянет? — невозмутимо отозвался проводник.

Старик с усами отделился от группы и исчез в темноте; Андрицкий почувствовал, что проводник своего решения уже не изменит. Он хотел было двинуться вслед за усатым, но прозвучавший из толпы женский голос остановил его.

— А вы наверняка нас переправите?

Андрицкий подумал: «Должно быть, она из Ксантена или откуда-нибудь из тех мест». Он остался стоять, ожидая, что будет дальше. Проводник рассмеялся.

— В этакую-то темень! Да вам будет со мной спокойно, как у Христа за пазухой.

Однако никто не чувствовал себя в безопасности, Андрицкий также. Люди с тревогой всматривались в загадочный мрак между стволами дубов. Теплый ветер чуть шевелил вершины деревьев, смутные очертания которых едва выступали на тусклом ночном небе. Воздух становился все более влажным, это предвещало к утру туман.

Усач остановился между деревьями и крикнул остальным:

— Не связывайтесь с ним! Кто он? Разве вы его знаете?

Проводник засмеялся блеющим смехом; но люди почувствовали, что в нем закипает злость.

— А ты заткнись! — угрожающе крикнул он усатому.

Тот пробурчал что-то невнятное. Остальные испуганно насторожились. Проводник неслышным, кошачьим шагом двинулся на усача. Андрицкий увидел, как они стали друг перед другом — какие-то неясные, расплывчатые тени без отчетливых очертаний. Он услышал, как усатый старик буркнул: «Ну? В чем дело?»

Андрицкий подошел к ним. Вдруг проводник расхохотался:

— Что, или в штаны наклепал? Боишься — я вас засыплю?

— А что ж? Тебе, небось, не впервой, — с насмешливой злобой сказал усатый

Проводник поднял руку и замахнулся. Андрицкий перехватил ее, отвел назад и спокойно сказал:

— Это ты брось.

— Уж я знаю. Поверь, — продолжал усач. — И я тебе говорю, со мной это дело не пройдет, нет!

Проводник опять расхохотался, злобно, нагло, презрительно; его глаза блеснули, лицо казалось смутным серым пятном. Он был уверен, что в лесу, в эту ночную темень, старик обязательно к ним присоединится.

Все сели на свои вещи, так как земля была сырая. В группе перебежчиков был также плечистый, довольно молодой человек, до сих пор не проронивший ни слова, затем две женщины — их лиц Андрицкий так и не запомнил — и старик в очках, куривший вонючий самосад.

Андрицкий спросил старика:

— Вы понимаете что-нибудь? В чем тут дело? Что это за тип?

— Шакалы... Все сплошь шакалы! Только попадись им — и поминай, как звали.

Андрицкий достал папиросы, угостил его, закурил сам. Старик пустил клубы дыма и закашлялся глухим кашлем. Задыхаясь, он сказал:

— Они вот какой фокус устраивали: заполучат такую вот группу, один изображает проводника, а двое-трое напялят военную форму и стерегут в кустах. Когда группа проходит мимо них, они кричат «Стой!», и либо люди сами все побросают и этим бандитам остается только подбирать, либо они обчистят людей до нитки.

— И те не сопротивляются? — При вспышке папиросы Андрицкий увидел, что старик с горечью улыбнулся.

— Что ж, военная форма, — пожал он плечами, — а может быть, еще и пистолет...

До них донесся голос проводника: «Если вы думаете...» Андрицкий взял старика под руку и потащил к остальным. Проводник стоял среди перебежчиков, он тоже курил, и когда оба подошли к нему почти вплотную, они услышали, как он сказал:

— Это тоже работа и не хуже всякой другой!

Опять прозвенел голос женщины, говорившей с нижнерейнским акцентом:

— Но все-таки пятьдесят марок!

— И достанутся даром,— насмешливо заметил старик из-за плеча Андрицкого. По сдавленному дыханию людей чувствовалось, что они взволнованы, напуганы.

Проводник язвительно ответил:

— Вы что же, воображаете, я ради собственного удовольствия буду колесить ночью по лесу? Я же не член Союза христианской молодежи.

Женский голос снова жалобно затянул:

— Да ведь пятьдесят марок! Откуда их взять-то?

— Тише... тсс! — вдруг зашипел проводник, и так как он бросился наземь, лег и Андрицкий, увлекая за собой старика. Невдалеке захрустел валежник, послышались шаги, кто-то с шумом пробирался через лес. Андрицкий увидел, как проводник беззвучно прополз почти рядом и скрылся в кустах. Он пополз за ним следом, схватил за шиворот, прижал к земле:

— Ни с места, а то плохо будет!

Проводник замер. Андрицкий прижался лицом к земле; остальные сделали то же и затаили дыхание. От мокрой земли в лесу пахло дождем и гнилью. Шаги были уже слышны совершенно явственно, потом они начали удаляться и наконец затихли.

Андрицкий отпустил парня:

— Ну, катись, живо!

Проводник, не поднимаясь с земли, ползком скрылся в лесу. Где-то рядом послышались рыдания одной из женщин. Старик, который, видимо, уже не мог сдерживаться, весь сотрясаясь от глухого, отрывистого кашля.

До сих пор Андрицкий почти не обращал внимания на своих спутников. Он сошел с поезда неподалеку от зональной границы, людская волна подхватила его и понесла, и лишь спустя некоторое время, когда он услышал рядом в темноте человеческие голоса, дрожащие от страха, он заметил, что к нему присоединились две женщины, а когда они прошли двести-триста метров — еще двое мужчин.

Женщина все еще продолжала всхлипывать, а так как шагов больше не было слышно, то она вдруг заныла:

— Надо было удержать этого человека!

Старик шепнул Андрицкому:

— Он удрал.

— Нам что-нибудь угрожает? — спросил Андрицкий.

Старик покачал головой:

— Не думаю... Но пока мы не перешли границу...

Женщина все еще тихонько хныкала. Оба мужчины — молодой и очкастый, — видимо, успокоились. Ветер усилился, он с шумом проносился между голых ветвей. Хныканье женщины, напоминавшее щенячье повизгивание, начинало действовать на нервы.

Наконец кто-то, должно быть широкоплечий молодой человек, прошептал:

— Тсс! Надо все-таки потише!.. Они ведь могут быть недалеко!

— Мы должны незаметно смыться отсюда. Если проводник — обманщик... — сказал старик.

Андрицкий вдруг почувствовал нестерпимый голод. Он раскрыл сумку, в которую запихал все, что нужно для подобного путешествия — рубашку, пару носков и еще несколько необходимых предметов, — вытащил ломоть хлеба, намазанный тонким слоем ливерной колбасы, и начал есть. Перебежчики стали снова собираться в путь. Женщина опять заныла.

— Вот ужас... и зачем только я пошла!

— Помолчите! — сердито зашипел старик.

Однако женщина не унималась:

— Да если бы мне кто раньше сказал...

— Замолчите вы наконец! — оборвал ее плечистый; было непонятно — бесит ли его напускная беспомощность женщины или он просто боится, что своим нытьем она может навлечь на всех опасность.

— Она уже в поезде вела себя, как сумасшедшая, — заявил старый ворчун в очках, вероятно, счетовод, а может быть, владелец небольшой книжной или табачной лавки или чего-нибудь в этом роде.

— Надо было ее отшить, — сказал раздраженно плечистый. — Отвязаться от нее и бросить. Мы ведь пока еще не там, вся эта мерзкая история не кончена. Если они нас перехватят — тут или по ту сторону... — Он вдруг снова накинулся на женщину:

— Если вы сейчас же не замолчите, мы вас бросим здесь!

Женщина смолкла. Было неясно — связаны ли они как-то между собой, или она просто пристроилась к нему, чтобы вместе перейти зональную границу. Андрицкий, все еще жевавший булку, взгляделся в нее и увидел, что плечи ее вздрагивают от рыданий.

Старик, которого мучил кашель, взвѣлил на плечи свой чемодан, остальные последовали его примеру. Андрицкий, шагавший позади него, спросил:

— А где же она, эта самая граница?

— Где граница? — переспросил старик не оборачиваясь. Вместе с хрипами из его больной груди вырвалось насмешливое хихиканье.

— Где-нибудь же ее можно увидеть?

— Увидеть? Чего захотели! Вот вам лес, а посредине, может, через дерево, и проходит эта самая граница. Или луг какого-нибудь крестьянина, а посреди него — черта. Вот тебе и граница! Но за ней, говорят, уже не та страна.

Они двинулись на запад, через луга и рощи, осторожно нащупывая путь в темноте, но они так и не смогли бы сказать, когда именно перешли границу. Над лугами уже лежала зимняя мгла, а в лесу с деревьев падали капли дождя, падали то тут, то там: но люди не смогли бы сказать, где *тут*, а где *там*. Вдалеке залаяла собака, прогремел поезд; небо над ними было, как темная плотная оболочка.

Накинув на плечи пальто, чтобы не зябнуть, Эре и Катрин опять просидели всю ночь над записями. На этот раз они настолько ясно все изложили, что уже можно было приблизительно себе представить, чего хотел Эре. Он пришел утром на завод невыспавшийся, с воспаленными глазами. В кармане у него лежал блокнот. Когда он переодевался перед тем, как идти в цех, он вдруг почувствовал вокруг себя пустоту, хотя Бакханс и Кербель переодевались рядом с ним. Оба хмурились, их лица были холодны; среди гомона многих голосов Эре не мог разобрать, о чем они говорят.

Эре спросил Бакханса:

— А ты партийного инструктора видел?

Бакханс что-то пробормотал; его широкое массивное лицо оставалось замкнутым. Он вынул из кармана свою трубку и сказал Кербелю:

— Ну что — пошли?

Эре стиснул зубы.

— Вчера было еще одно совещание партторгов, — сказал он. — На нем обсуждалась новая линия партийной работы. Говорят, партбюро будет переизбрано.

— Что ж,— буркнул Бакханс.— Ну и пускай!

— Что — ну и пускай?

— Пусть выбирают! — все так же ворчливо повторил Бакханс. Он набил трубку и направился к двери.

— Я потом с ним еще говорил, — продолжал Эре, хотя у него было такое ощущение, словно он стоит в стеклянной клетке и ни одно его слово до Бакханса не доходит.— Знаешь, насчет печи! И с Карлином говорил. Он считает, что я должен свое предложение подать в дирекцию в письменной форме.

— Кто же тебе мешает? — Кербель насмешливо скривил истощенное, худое лицо и добавил: — Валяй! Возьми себе еще рыжего на подмогу. Получится неплохая упряжка. Может, вы печку и за месяц сложите.

— Ты же у нас изобретатель! — подхватил Бакханс.

Оба захохотали и ушли, неуклюже ступая в тяжелых деревянных башмаках; а Эре подумал: «Без них не стоит и начинать. Без них ничего не выйдет. А они привыкли делать все не спеша, по старинке, привыкли выполнять одну и ту же работу и, кроме кладки кирпичей, ни о чем больше думать не хотят. Увести их с этой проторенной дорожки труднее, чем сложить печь».

Он заодно крикнул вслед Бакхансу:

— А печь мы с тобой все-таки поставим!

И Бакханс, уже в дверях, огрызнулся:

— Со мной? Ну уж нет, только не со мной!

Эре любил этого рослого молчаливого печника. Такими же тяжелыми и неповоротливыми, как его руки, были его думы, его слова. После крушения нацистского режима он явился однажды в партийное бюро, неуклюжий, оробевший, и попросил, чтобы его приняли в партию. О своем прошлом ему, по сути дела, нечего было сказать. Этому сорокалетнему человеку, который только и знал, что изо дня в день ходить на работу — ведь есть-то что-нибудь надо,— на все было наплевать, хотя он и состоял в профсоюзе, а потом в ДАФ¹. В бюро КПГ на него посмотрели и спросили:

— В партию хочешь? Почему?

— Да вот... гм... — проговорил он, запинаясь, и затем с трудом выдавил из себя: — ...чтобы больше никогда не было нацистов.

¹ ДАФ — фашистская профсоюзная организация.— *Прим. ред.*

И из него никакими силами нельзя было вытянуть, ни почему он хочет вступить именно в компартию, ни почему не вступил раньше. В ответ на все вопросы он бормотал только что-то бессвязное и непонятное, и чувствовалось, что он в крайнем замешательстве.

Эре увидел, что в цех вошел Матшат. Глаза у него, как всегда, окружены синевой, углы рта сварливо опущены, руки чуть не до локтей засунуты в карманы.

Он подошел к Эре, остановился перед ним. Его одутловатое лицо расплзлось в улыбку:

— Выспался?

— А почему бы мне не выспаться? — отозвался Эре.

Поблизости никого не было. Глаза Матшата забежали.

— Скажи-ка мне, Эре, — прошептал он, — почему ты против меня? Мы же члены одной партии, в одной упряжке идем, но кажется мне — ты против меня!

Эре хотел усмехнуться, но губы точно смерзлись. Ведь все было еще настолько неясно, что он не мог пока раскрыть махинации этого типа и показать людям: вот! Смотрите, каков Матшат! Что, собственно, у него, у Эре, сейчас есть в руках? Ничего! Все равно что ничего! Хорошо, допустим, балки слишком слабы; допустим, Матшат постоянно пьянствует с Вейтлером... но ведь это так принято, чтобы подрядчик угощал старшего мастера заказчика...

— Ты в самом деле хочешь отремонтировать печь? — спросил Матшат.

Эре пожал плечами. Лучше молчать, пока все не выяснится.

— А с кем? — Осторожное молчание Эре беспокоило его. Таким он его раньше не знал. Одному чорту известно, что за этим кроется! Вчера здесь был инструктор из земельного партийного правления, они долго беседовали, слишком долго... А у Матшата хорошее чутье, он всегда чувствует приближение грозы. — Ведь никто же тебе помогать не захочет! Ни Кербель, ни Бакханс!.. Никто!

— Никто? — Эре наконец усмехнулся, но губы его не оттаяли. Не проронив больше ни слова, Матшат ушел. Эре отлично знал, что рабочие не на его стороне, но они и не так враждебно настроены, как в те дни, когда он выложил первую крышку.

...В тот день Матшата не было в цехе, а Бакханс и Кербель занимались своей обычной работой; увидев их угрюмые лица, Эре подошел к ним. Их глаза поблескивали и были холодны, как лед.

— А ведь оказалось совсем не трудно, — сказал Эре Бакхансу. — Посмотри-ка сюда!

Он склонился над печью и показал им крышку, где были видны все аккуратно выложенные кирпичи, тонкие швы, и продолжал: — Сначала я велел принести мне все кирпичи и разложить их кругом на скамьях, чтобы мне не бегать за каждым кирпичом. Они лежали на такой высоте, что мне не приходилось нагибаться. Потом я подготовил себе сто кирпичей для рамы, а потом...

— Брось трепаться... брось! — прервал его Бакханс и посмотрел на Эре так, словно ему хотелось плюнуть ему в лицо. Кербель с негодованием заявил:

— А еще рабочий!

Кто-то крикнул:

— Гадина! Рабочих продаешь!

Эре даже побелел весь, а лица Кербеля и Бакханса точно окаменели в своей враждебности...

Но теперь? Теперь они уже не стали бы ругаться. Нет, лишь от него зависит теперь привлечь их на свою сторону, и они будут помогать ему!

Матшат думал: главное — не лезть на рожон. Не открывать карты ни в каком случае. Рядом с ним стоял молодой нескладный парень: рот у него был толстогубый, подбородок бесформенный, глаза по-дурацки вытаращены. Парень внимательно слушал Матшата. А Матшат думал: «Ни в чем не давать спуска, хватать за горло... преследовать, пока не загонишь в угол». И сказал, заканчивая свои наставления: — Значит, понял, Кунцель? Когда он войдет в цех, тут же в дверях подставишь ему ногу, скорчи при этом глупую рожу, а если он грохнется, все равно сделай глупую рожу и скажи: «Всем ты поперек дороги стал!» — а коли он замахнется, чтобы тебя ударить, а он наверняка замахнется, — ну, тогда... Понятно?

Кунцель ослабил, кивнул. Покачиваясь взад и вперед неуклюжим торсом, он спросил:

— Ну замахнется... а если нет?

Матшат раздраженно ответил:

— Я его знаю, непременно замахнется!

— Ну, тогда... — закончил Кунцель, довольный, и, тяжело ступая, направился со двора в цех, к той двери, через которую должен был войти Эре.

Эре кончил пересодеваться, взял лопатку и ватерпас и, рассеянно глядя перед собой воспаленными от бессонной ночи глазами, пошел через двор. Над заводом низко нависло серое небо. Во всех зданиях еще горел свет. Эре распахнул дверь цеха и тут же налетел на что-то подкатившееся ему под ноги, споткнулся и упал со всего маху. Звякнули о цементный пол лопатка и ватерпас, молоток, который он держал в руке, ударил его по виску. Чей-то голос над ним сказал:

— Ослеп, что ли? Под ноги смотреть надо!

— Кунцель! — Эре поднялся. Широкое лицо Кунцеля злорадно осклабилось:

— Берегись! Ты нам всем поперек дороги стал!

Эре спросил вполголоса:

— Сколько тебе заплатили?

— Ушибся? — по глазам Кунцеля Эре увидел, что тот следит за каждым его движением и подстерегает его.

— Дурак ты, Кунцель, — сказал Эре. Он наклонился, чтобы поднять лопатку и ватерпас. Когда он выпрямился, то увидел над собой тяжелый, крепкий кулак Кунцеля. Но Эре не испугался. Он поднял руку. Кунцель прищурился, а Эре продолжал вполголоса: — Нет, Кунцель, этого удовольствия я тебе не доставлю... Скажи людям... впрочем, все равно... — вдруг прервал он себя и, не прибавив больше ни слова, отошел от Кунцеля, который смотрел ему вслед с растерянным и глупым видом.

Сложив руки, Матшат сидел в помещении партийного бюро против Бока и говорил:

— Нет, ты, пожалуйста, не подумай... Я вовсе не собираюсь на кого-то доносить... но на меня возложена большая ответственность, и я считаю своим долгом кое-что сообщить тебе.

Ирена Мальке усердно стучала на машинке, однако не пропустила ни одного слова из этого разговора.

У Бока были усталые глаза, слишком тонкая кожа на лице казалась увядшей; он пробурчал:

— Ну ладно, давай! — и беспокойно зашевелил пальцами.

Матшат покосился на Ирену.

— Ну, давай же, — повторил Бок.

Матшат покорно опустил плечи и сказал:

— Так вот что... я нашел, — он положил перед Бокм кое-как набросанный чертеж печи.

— И что же? — равнодушным сонным голосом спросил Бок.

Матшат пояснил: — Подлинник плана всего обжигового цеха исчез.

— Исчез? — Бок словно очнулся. Он посмотрел на Матшата, отвел взгляд, забеспокоился. Его рука чертила какие-то узоры на полях газеты, на чертеж он даже не взглянул.

— Так как я знал, что нам придется ремонтировать эту печь, я и взял из дирекции чертежи всех печей цеха и запер у себя в столе. Сегодня утром, когда мне этот план понадобился, его не оказалось, а вместо него я нашел вот это.

— Кто за него отвечает? Ты?

— Я? Ну, знаешь ли... — Матшат смущенно улыбнулся. Мелкие капельки пота медленно выступали у него на лбу. — Так вот, слушай, — продолжал он. — Дело в том, что... ну ладно, пусть я несу ответственность за чертежи, но если их выкрали...

— Кто еще имеет доступ к твоим вещам?

— Кто еще? Собственно говоря, только Андрицкий...

— Кто это?

— Да новичок тут один, художник... впрочем, нет, он строительный техник и художник. Так как он давно не работал по специальности, его назначили мне в помощники.

— Приведи его.

— Его нет на заводе. Вчера он сообщил, что заболел. Бок взбеленился:

— И чего ты со всякой дрянью ко мне лезешь! — заорал он на Матшата. — Что я тебе, сыщик? Идите к чорту! У меня не мусорная яма!

— Да, но я полагал... что партия...

Бок вдруг покорно опустил голову, он потерял уверенность и сразу скис. Усталым голосом он проговорил:

— Что же дальше?

— Что дальше? Да я ведь тоже ничего не знаю. Я нахожу этот чертеж, а его мог сделать только Андрицкий, его почерк; мой подлинник исчез, а Андрицкий заболел... Нет его... Ну, что тут можно сказать?

Оба замолчали, был слышен только стук машинки. Вошел рабочий; Ирена Мальке дала ему пачку газет. Когда он ушел, Бок спросил:

— Что же теперь?

— Надо поставить в известность дирекцию.

— Кого?.. Кого?

Матшат спросил вполголоса:

— Ты что, нездоров?

— Почему нездоров? — удивился Бок.

— Ну да, кричишь на меня, а что я такого сделал, что ты кричишь?

Бок заворчал:

— Я же занят по горло, просто голова кругом идет. И каждый лезет ко мне со всякой дрянью, прямо как на помойку какую-то.

Матшат медленно, тяжело поднялся и встал перед письменным столом Бока. Придав своему лицу глубокомысленное выражение, он проговорил:

— Что ж, тогда в дирекцию пойду я. Придется мне самому расхлебывать.

— Право, все это не так страшно, — успокоил его Бок. — Ты-то тут совершенно ни при чем.

Матшат направился к выходу. Дойдя до двери, он обернулся, но не успел он рта открыть, как Бок спросил:

— А как там у вас насчет печи? Эре как будто собирается ремонтировать ее, не гася? Что ты думаешь на этот счет?

Матшат скептически покачал головой. Он вернулся к письменному столу и сказал:

— Ну и пусть его ремонтирует, то есть я думаю, все будет в порядке.

Бок испытующе посмотрел на него:

— Только говори откровенно... Это действительно твое мнение?

Матшат молчал. Он избегал смотреть Боку в глаза.

— Ну, говори, — повторил Бок.

— Откровенно.... — он как будто собрался с силами. — Не всегда можно высказать откровенно свое мнение.

Но как специалист... я... все-таки обязан... заявить: все это одно надувательство. Так, как предлагает Эре, никогда не делали, нет. И не будут делать.

— Почему не будут?

— Да ведь кто такой Эре? Самый рядовой печник, который, видимо, только и может, что бузить. Ведь как было там, где он раньше работал? У Ламперта? Он только кляузничал — до тех пор, пока его не вышвырнули из партии. Всех подозревал во взяточничестве, даже членов партии... вот и достукался! Его исключили!

— Сейчас-то он активист!

Матшат покачал головой и презрительно усмехнулся.

— Ну и пусть себе действует.

Бок больше ничего не сказал, и мастер ушел. Когда дверь за ним захлопнулась, Ирена Мальке сказала довольно сердито:

— Этот... Ну, как его! Этот Андрицкий все-таки дурак! Разве так делают? Если он действительно хотел нарисовать новый план и передать его за границу, ну, то есть в Западную... он поступил очень глупо; надо было просто унести план домой, сфотографировать, да и положить обратно.

Бок посмотрел на нее, вытаращив глаза, потом надулся:

— Пусть этими делами дирекция занимается или народная полиция!

Карлин крепко пожал руку Эре, лицо его было невозмутимо. Эре сел, он был смущен и нервничал. А Карлин подумал: «Производит впечатление обидчивого и вместе с тем мягкого человека». Но когда он заглянул в серые, как речные камешки, глаза Эре, он насторожился.

Карлин предложил ему папироску. Все еще молча изучая друг друга, оба закурили. Пальцы Эре дрожали.

Карлин спросил:

— Ты тут в первый раз?

Эре кивнул. Он подумал: «А мне тоже говорить ему «ты» или обращаться на «вы»? Э, да все равно!» Он затянулся папиросой, выпустил облако едкого дыма, потом спросил:

— Дирекция уже приняла решение распустить людей?

— Как распустить?

— Ведь рабочих должны уволить — последняя печь разрушена.

— Ты, видно, людям не доверяешь? — спросил Карлин.

— Почему? — спросил Эре, жуя папиросу.

— Да вот, ты приходишь с какой-то опаской... — Карлин, обычно спокойный, потянулся худыми, нервно вздрагивающими пальцами к карандашу.

Эре пробормотал себе под нос:

— Мне кажется, я все еще вижу перед собой эти барские рожи.

— Так-так... и у меня барская рожа?

Его пальцы перестали дрожать.

— У... у тебя нет, — сказал Эре. Он смущенно улыбнулся, а взгляд Карлина подобрел. Он сказал:

— Два года назад я ведь был просто рабочим.

— Гм... — Эре, казалось, не верил. Морщины на лбу стали глубже. Он сунул смятую папиросу в пепельницу.

— Я был электромехаником, — пояснил Карлин, но Эре, которого этот разговор уже начинал тяготить, спросил:

— Ну что же вы придумали? Как быть с печью?

— Нужно ее сложить заново. — В голосе Карлина слышалась неуверенность.

Эре не спеша извлек из кармана блокнот с вычислениями. Он спросил:

— А кто будет класть печь? — затем углубился в свои записи, как будто ему и дела нет до того, что ответит Карлин.

— Кто? — Карлин внимательно посмотрел на Эре. Эре увидел, что спокойные глаза этого рослого, всегда сдержанного человека засветились мягким блеском; казалось, глаза Карлина говорили: «Но у меня-то ведь не барская рожа?»

Эре продолжал просматривать свои вычисления, делая вид, что занят только ими, и опять ему показалось, что он в них сейчас запутается. Наконец он заявил:

— По моим расчетам печь можно сложить за десять тысяч рабочих часов. Само собой разумеется, к этому надо прибавить и материал, то есть стоимость материала. Во сколько обходилась до сих пор такая печь?

Карлин неторопливо обошел письменный стол, остановился перед Эре, посмотрел на него в упор и спросил вполголоса:

— А ты понимаешь, что это значит?

— Ну, что же? — Эре казался спокойнее, чем Карлин.

Директор наклонился над блокнотом, который Эре все еще держал обеими руками, и продолжал также негромко:

— Дело ведь будет жаркое!

Эре захохотал раскатисто и оглушительно:

— А нам при нашей работе всегда бывает жарко! К тому же теперь зима, хорошо немножко и погреться!

Лицо Карлина было попрежнему озабоченным. Но его резкие черты смягчились, морщины разгладились. Когда Эре, наконец, перестал сжимать в руках блокнот и положил его на стол, Карлин взял его и, листая, заговорил снова:

— Я говорю не о том, что от печи будет жарко! Я имею в виду то, что все будет против тебя, понимаешь — все! Никто не захочет тебе помочь, никто не захочет бороться вместе с тобой за то, чтобы осуществить твоё предложение; тебе здорово придется попотеть, Эре, так, как, наверное, не приходилось ни разу в жизни... Это тебе, надеюсь, понятно? Да?

Эре сидел, не поднимая глаз.

— Приходилось мне солоно, и не раз, — отрезал он, — а теперь... — он вдруг вскочил, спокойствия как не бывало. И когда он опять настойчиво заговорил, то невольно начал размахивать руками, и губы его задрожали: — Директор, я все понимаю... но мы с тобой должны добиться... Мы должны отремонтировать печь, не выключая ее. А насчет жару... так я этим господам задам такого жару... всем... всем...

Карлин весело рассмеялся:

— Мне ты уже задал жару! — Не глядя на Эре, он снова принялся листать его блокнот.

— Как так?

— Разве у меня барская рожа?

— Да ведь я говорил не про тебя, директор. — Смеясь, они снова закурили и стояли теперь друг перед другом, как двое мальчишек, задумавших хитрую проделку.

Вдруг Карлин опять нахмурился.

— А техническая сторона? Кто тебе тут поможет? Матшат?

— Матшат? Нет, мне с Андрицким хотелось бы работать, и думаю, он согласится!

Карлин испытующе посмотрел на Эре:

— Андрицкий смылся. Из стола Матшата пропал оригинал плана обжигового цеха, а вместо него Андрицкий подsunул чертеж печи номер шесть. Мы уже были у него на квартире. Ничего не нашли. А сам он удрал.

— Удрал... так... а у Матшата...— Эре прикусил язык.— Андрицкий сбежал! — Он отрицательно помотал головой.

Карлин спросил:

— Ты что?

— Ничего, — отозвался Эре, — ничего. Ну, тогда пусть мне поможет кто-нибудь другой.

— Матшат?

Эре опять помотал головой.

Карлин протянул ему блокнот.

— Подай сегодня, слышишь — сегодня же, письменное заявление в дирекцию! А завтра мы на совещании решим.

— Да, но... уж очень руки у меня грязные... — смущенно пробормотал Эре.

— Не беда.

— Нет, нет, такую пачкотню нельзя давать, я сегодня вечером дома перепишу.

— Положди, дай сюда... — сказал Карлин, отвернулся и стиснул зубы:— Я сам за тебя напишу.

Эре облегченно вздохнул. Карлин сел писать. Протягивая Эре заявление для подписи, он посмотрел на него в упор, потом отвернулся.

— Значит, завтра!

Эре кивнул. Сердце его неистово колотилось в груди. Когда он направился к двери, ступая тяжело и неловко, как ходят печники, Карлин долго смотрел ему вслед.

Он облегченно вздохнул. «Боже мой, какие люди! — думал он. — Я же сразу увидел... разве это почерк взрослого человека? А печь он все-таки хочет сложить, хочет ее отремонтировать, не гася, и стыдится того, что плохо пишет, ведь его никогда не учили писать. А если бы такие парни умели писать и считать!.. Да они бы весь мир перевернули!» — И, тепло поблескивая глазами,

продолжал свои размышления: «Разве они уже не перевертывают его! Конечно, перевертывают! И все-таки им нужно еще учиться писать. Этого миновать нельзя».

Перебежчики благополучно прошли через луга и рощи, перебрались через ручей, по которому проходила зональная граница, и вот они сидели в вонючем зале ожидания на маленькой станции в английской зоне и ждали поезда, который рано утром должен был увезти их в Ганновер.

Широкоплечий молодой человек держался теперь подальше от женщины, у которой был плаксивый голос, он сидел один в углу на своих вещах и курил. Старик в очках, похожий на бухгалтера, дымил вонючим самосалом; старик с усами не переставая кашлял и плевался, и так как было темно и не видно, куда он плюет, люди каждый раз испуганно вздрагивали, невольно вытирали лица и отодвигались подальше.

Папироса молодого человека красной точкой скользила от его колен к губам и обратно; когда он держал ее во рту, она освещала его глаза. Воздух был тяжелый и душный, в нем стоял запах потеющих от страха люлей, застоявшегося дыма, дешевой пудры, давно немытого тела. Селедочная вонь въелась в самые стены, в пол и потолок, это была вонь сотен центнеров сельдей, которые лежали здесь до того, как были контрабандой переправлены через границу.

Женщина с плаксивым голосом, повязанная серым рваным платком, сидела, сложив руки на коленях, и широко открытыми глазами смотрела в темноту. Она уже перестала всхлипывать и, видимо, наконец утомилась. Через некоторое время она пошарила в кармане, что-то извлекла оттуда, вероятно, хлеб, и все услышали, что она жует.

Не переставая чавкать, женщина спросила:

— А деньги здесь можно обменять?

Старик сквозь кашель буркнул:

— Да, у кого они есть.

— У меня только восточные... Наверно, можно будет обменять, — как бы успокаивая себя, продолжала женщина.

Сейчас, когда Андрицкий снова услышал ее голос, он решил: «Ну да, она с Нижнего Рейна, из Ксантена или из Везеля». Он попытался разглядеть ее лицо — не похоже ли оно хоть немного на те, которые жили в его воспоминаниях: резко очерченные, узкие, и кожа на них как шелк-сырец, а в глазах — ветер из Голландии и ветер с моря.

И он ответил ей:

— Ну да, наверное обменяете.

Андрицкий впервые обратился к ней непосредственно. Она прислушалась к его голосу и спросила:

— А поезд-то будет? — и, не ожидая ответа, продолжала чавкать.

Среди наступившей тишины раздался голос старика, которому никак не удавалось унять кашель:

— Когда же все-таки будет поезд?

Видимо, он спросил только от скуки, оттого, что так долго приходится ожидать рассвета. Завязался ленивый разговор о том, когда отходят поезда, будет или не будет еще проверка в вагонах и как обменять деньги. Потом все снова притихли; замолчал и Андрицкий, который все еще с интересом продолжал вглядываться в лицо женщины. Впереди была длинная декабрьская ночь, поэтому каждый старался устроиться поудобнее. Андрицкий садился то так, то этак, но доски пола от этого не становились мягче. Старик прошипел:

— Давайте потише. Если начальник станции услышит, он нас вышвырнет отсюда.

— Не может же он выгнать нас ночью на мороз! — возразил широкоплечий молодой человек.

Старик фыркнул:

— Не может... ха-ха-ха!

Женщина из Ксантена аккуратно сложила бумажку от бутербродов. Ее дыхание было ровным. Немного погодя она спросила:

— А в поезде наверняка больше не будет проверки?

— Я вот позову пограничную охрану и спрошу, --- иронически усмехнулся молодой человек. Он бросил папиросу в угол, и она продолжала там гореть красным огоньком. Все, словно замороженные, уставились на светящуюся точку.

Андрицкий спросил женщину:

Вы из Ксантена?

— Что? — удивилась она. Андрицкий почувствовал, как она в темноте повернулась к нему, видимо, стараясь по голосу представить себе его внешний облик. — Разве вы тоже? — с оживлением спросила она. — Нет... — Она точно прислушалась к чему-то и уверенно добавила: — Вы из Рурской области, из Ботроппа. Я там когда-то работала, давно уже. Вы туда едете?

Последний вопрос показался Андрицкому ловушкой; он чувствовал, что она закидывает удочку, и с горечью подумал: «А если бы даже... ведь и так все пропало, значит это не важно...» Женщина встала и выпрямилась; ее стройный силуэт смутно вырисовывался на сероватом прямоугольнике окна, ее взгляд словно искал Андрицкого; затем она села прямо на пол: в зале ожидания были только две деревянные табуретки. Держа в руках весь свой багаж, женщина придвинулась к Андрицкому и начала его разглядывать. Среди тишины раздался ее голос:

— Так, так... значит, в Рурскую область...

Андрицкий что-то пробурчал, но не отстранился, когда она придвинулась ближе. Она спросила:

— Вы едете через Ганновер или через Бравншвейг?

Андрицкий не ответил. Он нащупал в кармане папиросы, предложил и ей. При свете вспыхнувшей спички он увидел зеленоватые глаза, смотревшие на него в упор. От волнения он прикусил губу.

— Повидаться едете? — спросила она.

Андрицкий не ответил и продолжал курить. Примолкла и она. В голове его опять мелькнула та же мысль: «Почему бы и нет... если все равно все погибло...»

Время шло. Лес с переплетающимися кронами деревьев и кустами подступал к самому окну, сырость декабрьской ночи беспрепятственно проникала в зал ожидания.

Люди, ожидавшие поезда, тяжело вздыхали, клевали носом. Наконец все заснуло. Храпел и старик, то и дело сотрясаясь от приступов кашля. По дыханию сидящей рядом с ним женщины Андрицкий слышал, что она не спит. Она еще ближе придвинулась к нему, из-под юбки стала видна светлая полоска тела над чулком. Его рука потянулась к незнакомке, он спросил:

— Вам холодно?

Под утро, когда за окном уже начало светать и пошел мелкий дождь, женщина сказала:

— Если я теперь с ним встречусь... я просто не знаю как быть...

Андрицкий спросил:

— Так зачем же встречаться?

— Зачем? — она замолчала; она задала вопрос, который женщины задают так часто. Но потом с горечью продолжала: — Ведь дети! Должен же он подумать о детях!

— Сколько у тебя детей?

— Двое.

Когда Андрицкий посмотрел на нее, она спокойно встретила его взгляд. В ее голосе уже не было вчерашней томной и глуповатой мягкости, он звучал по-житейски трезво и рассудительно.

— Так дальше продолжаться не может, — снова заговорила она. — Но он не желает жить с нами в Восточной зоне.

— Почему? — спросил Андрицкий.

— Да вель там русские!

— Русские? А на что он им?

В светлеющих сумерках рождавшегося дня Андрицкий увидел, что лицо у нее именно такое, как он представлял себе: узкое и светлое, кожа — цвета мятого шелка-сырца, волосы негустые, белокурые.

— Он что-нибудь натворил? — спросил Андрицкий.

— Натворил? Не знаю!.. Он офицер, был призван, потом пришел с фронта; мы провели вместе одну ночь, а утром он бежал. Потом у меня родился второй ребенок, а знали мы друг друга три года, и за эти три года я с ним... — она покорно повела плечами. — Мы пробыли вместе в общем две недели, то есть четырнадцать ночей.

Андрицкий молча закурил последнюю папиросу. Ему было не по себе от этого разговора. Она сидела рядом с ним, охваченная томной грустью одинокой женщины.

Она спросила:

— А ты один?

Андрицкий кивнул. Она еще придвинулась к нему, хотя они и без того сидели так близко, что каждый ощущал тепло, исходявшее от другого. Андрицкий увидел ее руку — женщина хотела коснуться его, — а он, желая избежать этого, наклонился и стал затягивать ремешок на ботинке. Рука замерла. Тогда он поднял голову и заглянул в зеленые злые глаза женщины. Она спросила:

— Значит, уже хватит, да?

Он промолчал.

Старик проснулся. Он несколько раз откашлялся, словно желая предостеречь неосторожную пару, и Андрицкий заметил, что в его глазах блеснул лукавый смешок. Затем старик встал, одернул свой смятый костюм, протер башмаки суконным лоскутком.

— Покурить есть? — спросил он.

— Последняя, — ответил Андрицкий и дал ему почти докуренную папиросу. Старик взял ее, подошел к окну и выглянул наружу; там становилось все светлее, и был уже виден кустарник, росший на лесной опушке.

Старик спросил:

— О чем это вы всю ночь болтали?

Андрицкий смущенно засмеялся. Не получив ответа, старик продолжал:

— Будешь в Западной работу искать?

— Возможно, — уклончиво ответил Андрицкий.

— Так... — Старик помолчал. Потом заговорил снова: — Теперь, после денежной реформы, стало гораздо лучше. За деньги всегда что-нибудь да купишь... — И, устало усмехнувшись, добавил: — Господи! Ну что вы за люди!

— Мы? — с тревогой спросила женщина. Андрицкий догадался, что старик едва ли спал эту ночь. Тот посмотрел на него, и в его глазах Андрицкий увидел тусклые отблески рассвета. Он вдруг почувствовал себя усталым и опустошенным.

— Так ты, значит, мужа разыскиваешь? — обратился старик к женщине.

— Да...

— И ты знаешь, где он?

— Откуда же мне знать?

Андрицкий с удивлением заметил, что женщина сердито поджала губы.

— Господи, ну и люди! — повторил старик. — Ночью спать надо, а вы всю ночь болтали. На это день есть! Люди спят, а вы разговариваете... вам тоже поспать следовало бы. — И как будто без всякой задней мысли добавил, хотя Андрицкий уже понял, что старик только прикидывался спящим: — Даже если вам было приятно вместе посидеть.

— Что вы говорите! — возмутилась женщина.

Старик добродушно рассмеялся.

— Раньше... раньше и я бы времени терять не стал. Наверняка не стал бы!

— Как вам не стыдно! — Женщина закрыла лицо руками; но с каждой минутой становилось все светлее, свет лежал, как обруч, на ее белокурых волосах, и Андрицкий увидел, что она плачет.

Он ничего не сказал; молчал и старик. Его опять начал мучить кашель, который уже не прекращался, как будто нарождающийся день разбередил его легкие.

Широкоплечий молодой человек потянулся. Увидев, что женщина плачет, он сердито проворчал:

— А все-таки надо было ее отшить!

Около восьми они уже сидели в товарном вагоне.

Поезд шел сначала прямо на запад, и тусклое бледное солнце стояло у них за спиной; затем свернул на север и понесся по равнине, где росли темные сосновые рощи, и тогда солнце оказалось не за спиной, а сбоку и слегка согревало своим скудным теплом их лица.

В небе филигранным узором тянулись сосновые вершины; мимо проплывали серые зимние луга, затем поезд пробежал над широким каналом, полноводным, но пустынным. Несколько позднее рельсы пересекли русло другого, еще не достроенного канала.

Андрицкий и его спутница ушли от остальных, уселись в дверях пустого товарного вагона и, стараясь не встречаться глазами, стали смотреть на проплывавшие мимо пейзажи. Губы Андрицкого были шершавы, как сухая пакля. Он спросил:

— Как тебя зовут?

— Эльсбет, — в ее голосе прозвучали колющие нотки.

Андрицкий строго продолжал:

— Почему ты уехала из Восточной зоны?

Ответа не последовало; точно враждебная стена разделяло их мерное постукивание колес.

— А что у тебя за дело на Западе?

Она продолжала упорно молчать. Ему стало как-то не по себе. И эта женщина, и то, что он сидел рядом с ней в дверях вагона, обдуваемый ветром, и уклонялся от ее жестких глаз, было связано со всем, что он, как ему казалось, навсегда оставил позади: и неудавшийся портрет трактористки, и девушка, с которой он расстался перед тем, как поступить на завод, и... Нет,

Зуза сюда не относилась... С Зузой могло начаться что-то совсем другое.

А женщина обвила рукой его шею, и он вдруг возненавидел ее за это. Он сердито спросил:

— Откуда у тебя столько чулок?

— Подарили, — отрезала она и убрала руку.

— Даром?

— Слишком много знать хочешь!

Мимо пролетела крестьянская усадьба с двумя высокими дубами у крыльца и крытой соломой конюшней; хотя поезд шел очень быстро, они увидели, как мужчина ведет на веревке теленка через двор.

Андрицкий спросил:

— Ты часто едешь туда и сюда?

Она что-то процедила сквозь зубы, и взгляд ее стал упрямым, но все слова потонули в грохоте поезда.

— Что ты сказала?

Тогда она с ненавистью посмотрела на него и крикнула:

— Я... У меня никого нет! — Ее лицо словно застыло, на нем появилось странное жесткое выражение, и, казалось, ее губы не произнесли этих слов. Она смотрела на мелькавшие мимо них пейзажи; все чаще проплывали пастбища, пустынные и серые. Через некоторое время она вытащила из кармана папиросы; оба молча закурили, следя взглядом за уносившимися клочками табачного дыма.

Женщина равнодушно сказала:

— И никаких детей у меня нет.

— Так, так... — пробормотал Андрицкий.

— И мужа нет.

— И ты едешь туда и сюда и возишь чулки?

— А что? — насмешливо спросила она. — Почему мне не возить?

Местность постепенно менялась. Чаще стали попадаться деревни, большие населенные пункты. Справа и слева рельсы то и дело подбегали к главному пути, по которому поезд мчался к городу, и все пути вели в этот город, выраставший из дымки морозного горизонта.

Брауншвейг. Семафорные столбы надвинулись, как лес, и, войдя в предместье, поезд замедлил ход.

— Нам придется соскочить, не доезжая до вокзала, — сказал Андрицкий.

— Соскочить? — На ее лице он увидел то выражение трезвой деловитости, которое заметил еще утром. Она привела в порядок свой сверток, крепче завязала юбку, накинула на голову платок.

— Если нам не удастся соскочить раньше, — сказал Андрицкий, — я удеру первый, когда поезд остановится.

Она чуть разжала губы:

— Ты удерешь?

— Да, побегу прямо в здание вокзала, между поездами.

— Что ж, удирай, удирай на здоровье! — насмешливо сказала она, и он понял: она знает, что он намерен ехать дальше без нее.

Матшат встретил Эре в печном цехе, сжал его локоть и вполголоса спросил:

— Ты, что ж, хочешь выжить меня отсюда? — Лицо его злобно исказилось, он прошептал: — Двадцать лет я на этом заводе, двадцать лет!

Эре, не торопясь, высвободил локоть и спокойно сказал:

— Ты лучше меня не трогай... слышишь?

Подручные, работавшие поблизости, с интересом ждали, что будет; печники прервали работу, остановилась со своей тачкой и Зуза Рик.

Прищурившись, Матшат процедил сквозь зубы:

— Не суйся в мои дела. Предупреждаю!

Эре молчал. Кое-кто из рабочих прислушался; опорожнив тачку, подошла и Зуза. Вдали появился Фале, огромный, грузный, — настоящий медведь в своей белой, запыленной шамотом, спецодежде. Из угла, где при свете прожектора рабочие выкладывали крышки камер, вышел Кербель.

Матшат сказал уже громче:

— У тебя, видно, мания величия! Вообразил невесть что! Целая кольцевая печь в сорок камер — это тебе не крышка, которую тят-ляп да и сварганил! А ты вот лучше скажи, кто из механиков и инженеров согласится помогать тебе?

Эре все еще не проронил ни слова. Он ждал, когда Фале подойдет поближе. Ему нравился этот человек: он был такой спокойный и выдержанный.

— То-то и оно... — насмешливо продолжал Матшат. — Теперь ты сам видишь!

Стоя возле своей тачки, Зуза крикнула:

— Не волнуйся, помощник найдется!

— А ты не лезь! — злобно набросился на нее Матшат. — Катись дальше! Тебя это не касается.

— Не касается? Видали, какой ловкий? — и Зуза Рик, вдруг охваченная неопишным гневом, с яростью закричала на мастера: — Так не касается, говоришь? А вспомни-ка, кто ты сам? Член СЕПГ, да? Так это что — только лозунг такой, будто на производстве каждому должно быть дело до всего? Да? Я сама буду помогать Эре, определенно... а насчет техников... думаю, что когда Андрицкий поправится...

Матшат насмешливо расхохотался и крикнул так громко, что все вокруг услышали:

— Андрицкий? Твой дружок? Он уже не поправится! Он смылся... смылся в Западную! — Матшат шагнул к Зузе и, увидев, как побелело под угольной пылью ее лицо, заглянул ей в глаза. — Он ведь твой дружок? Так вот, он оказался агентом, выкрал у нас чертежи, переправил на Запад и удрал!

— Удрал?.. Не может быть... — Зуза с отчаянием посмотрела на Эре. Матшат продолжал смеяться. А Кербель, который все слышал, заявил:

— Все они такие, эти господа спецы... барское отродье.

— Не может быть... только не это... Он же болен... он... — бормотала Зуза.

— Болен? Как бы не так! — Матшат окинул взглядом весь цех и повторил: — Твой дружок! — Затем обратился к Эре и вкрадчиво спросил: — Наверно, ты уже вел с ним переговоры насчет того, чтобы он тебе помог? Тебя и самого-то, по-моему, не мешало бы хорошенько прощупать, какой ты есть на самом деле...

Побагровев, Эре прервал его:

— Матшат! Насчет того, кто стянул чертежи... — он вдруг смолк. Нет, еще не время. И почему все-таки Андрицкий удрал? Почему? Тут что-то не так!

— Гони ты этого Эре к чертовой матери! — крикнул кто-то из рабочих.

— Покая от него нет! — возмущенно подхватил другой. Какая-то женщина, скривив губы, вставила:

— Я даже во сне вижу этого Эре; он мне житья не даст. Пристал, прямо как банный лист.

— Листочек хоть куда, — засмеялся Кербель.

— Ну уж, спасибо. — Она презрительно передернула плечами.

— А чем плох?

Эре посмотрел на всех этих обступивших его людей: почти у всех хмурые, осунувшиеся лица, одно — широко-скулое с огрубевшей, точно дубленой кожей, другое — серое с маленькими, потускневшими глазками; у Кербеля от постоянного жара печей испортились зубы, губы стали шершавыми и потрескались; один из подручных был до того тощ, что напоминал ошипанного петуха. Зузу Рик известие об Андрицком, видимо, настолько потрясло, что ее лицо точно окаменело. Но все они — рабочие. Если б только они это поняли, если бы крепко запомнили, все было бы хорошо!

— А почему ты думаешь, мы не справимся? — обратился Эре к Кербелю.

Кербель только засмеялся. Женщина с помятым лицом сказала вызывающе и насмешливо:

— А ты начни. Попробуй начни!

Эре вспыхнул:

— Да тебе-то что надо, старая ведьма?

— Как ты сказал? — от негодования она даже взвизгнула.

— Ведьма и есть, — повторил Эре.

Не успела она ответить, как заорал Матшат:

— И ты воображаешь, тебе кто-нибудь из печников помогать будет? Да ни один не согласится!

Своим низким густым голосом Фале спросил:

— Что у вас тут стряслось?

Рабочие разошлись по своим местам. Остались только Матшат да Зуза Рик; она словно приросла к месту.

Матшат проворчал:

— Да вот, насчет печи, ты ведь знаешь? Он собирает-ся печь отремонтировать... Но я... я не могу взять такое дело на свою ответственность.

— И поэтому ты тут речи произносишь?

— А где же еще?

— А партия на что?

— Это, конечно, верно!.. — пробормотал Матшат и поспешил уйти.

Эре, глядя ему вслед, встретился глазами с Фале. Оба молча усмехнулись, они и без слов понимали друг друга. Зуза Рик опять взялась за тачку; проходя мимо Эре, она на мгновенье задержалась.

— Ты... тоже этому веришь?

— Чему? — спросил Фале.

— Нет, я не верю, — отозвался Эре. Затем обернулся к Фале: — Матшат уверяет, будто Андрицкий передал чертежи на Запад и бежал. Правда, Андрицкого что-то не видно, но удрать... нет, я не могу поверить!

— Это невозможно, — решительно заявила Зуза Рик. Мужчины посмотрели друг на друга.

— А почему бы ему и не удрать? — задумчиво прищурившись, заметил Фале.

— Я... не понимаю...

— Да ты его хорошо знаешь?

— Немного знаю, — с трудом проговорила Зуза. Даже губы ее побелели.

— У тебя есть адрес? — спросил Эре.

Она покачала головой.

— У него в Западной, должно быть, родители? Может быть, через них его можно разыскать?

— Может быть...—задумчиво согласилась Зуза и взялась за тачку. Но прежде чем уйти, она сказала Эре: — Если ты будешь делать печь... то есть будешь класть ее и тебе понадобится хороший подручный, я помогу. Хотя бы только, чтобы позлить Матшата!

И она зашагала прочь, крепко упираясь в ручки тачки, сильная и, как всегда, уверенная в себе.

Эре засмеялся сдавленным смехом; казалось, булькает вода в стоке. И у Фале голос был сдавленный, он с хрипом вырывался из его груди. Фале буркнул:

— Вот это женщина правильная! Одинокая, кусачая, а правильная. По-настоящему правильная!

— А ты? — спросил Эре.

— Ты это насчет чего? — Фале удивленно поднял голову. Они посмотрели друг другу в глаза.

— Как ты относишься...

— К чему?

— Да к моему плану отремонтировать печь, не гася ее.

— Как я отношусь? — Фале задумался, затем вдруг

хлопнул Эре по плечу и заявил: — Сделать это надо. И я тебе подсоблю, в чем могу. А вот как сделать-то?

— Да, вот как?

— Надо, чтобы этим делом занялась парторганизация.

— Говорил я с Боком. Он и слышать не хочет.

— Ага... — Фале так прищурился, что вместо глаз остались щелки. — Ну, это мы еще посмотрим! — и тут же пошел прочь торопливым и упругим шагом.

Все поспешили к своим рабочим местам. Эре увидел, что после ухода Фале перед одной из камер собралась группа людей. Подсобные рабочие, печники о чем-то шептались. Кербель, ехидно поглядывая по сторонам и оживленно жестикулируя, казалось, подзадоривал их. Эре подошел поближе. Тогда, точно по команде, все смолкли. Подсобные рабочие разошлись, Бакханс и Кербель взяли свои лопатки и принялись за работу — медленно, вяло. Их небритые лица казались серыми, как цемент. Рейхельт, молодой задорный печник, работавший над крышкой другой камеры, крикнул:

— Эй, Эре, что ты так важно по цеху разгуливаешь? Или тебя уже старшим назначили?

Но Эре не ответил; он присел на груды кирпича.

Через некоторое время Кербель проворчал, со злостью покосившись на Эре:

— Чего ты слоняешься здесь без дела? Может, ты и в самом деле стал старшим?

Эре спокойно и внимательно посмотрел на него. Слышался шорох осыпающихся кирпичных осколков, стук кирпичей. Эре сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. Он спросил:

— Сколько времени у вас теперь идет на крышу?

Бакханс ржавой ножовкой пилил шумный кирпич. Скривившись, словно лицо его свело судорогой, он раздраженно бросил Кербелю:

— Господи, хоть бы уж помолчал!

И Кербель, обернувшись к Эре, в бешенстве прошипел:

— А ну, катись отсюда!

Эре почувствовал, что кровь застучала у него в висках; он еще крепче стиснул пальцы и спросил:

— Вы думаете, между работой одного печника и другого — большая разница?

Бакханс отшвырнул ножовку. Кербель взял ватерпас, выразительно посмотрел на Эре и спросил:

— Вот это тебе знакомо?

Эре улыбнулся с горечью:

— Еще бы! — и тут же добавил: — Когда мне было восемнадцать лет, я один раз в Померании десятнику голову ватерпасом проломил. Он хотел мне в зубы дать...

Опешив, Кербель посмотрел на него.

— Не понимает! Ничего не желает понимать! — прохрипел он.

Бакханс зарычал:

— Ну, мы ему еще вправим мозги... дай срок!

— И чего ты, собственно, так кипятишься, товарищ Бакханс? — спокойно спросил Эре. — Или мы с тобой чего-нибудь не поделили? Вот вы теперь тоже пилите кирпичи ножовкой и зарабатываете лучше, чем раньше, верно? И денег у вас больше, и крышки скорее готовы. Что ж, легче или тяжелее стало?

Бакханс проворчал что-то себе под нос. Кербель, на впалых щеках которого выступили красные пятна, раздраженно ответил:

— Свою ученость можешь оставить при себе. — К нему подошли Бакханс и Рейхельт; обращаясь к ним, он продолжал: — У него наверняка не все дома. Изобретет что-нибудь и сейчас же выдает свой секрет. Мог бы уйму денег зарабатывать, а он всем объясняет, что и они тоже могут. У тебя что, — обратился он к Эре, — наследственность плохая? Трясучка или что?

Рейхельт взял кирку и начал тесать кирпич. Бакханс принялся мешать лопаткой в ящике цементный раствор.

Вдруг Кербель закричал:

— Да какого чорта мы с ним тут волимся?

А Эре улыбался упрямой улыбкой и ему казалось, что он зубной врач, наставляющий бормашину.

— А можно было бы даже и не пилить, — продолжал он.

Бакханс перестал возиться в ящике с раствором и поднял голову. Взглянув на его ширококостое лицо и воспаленные глаза, Эре подумал: «Прямо бык! Вот-вот бросится на тебя». Вслух же он пояснил:

— Кирпичи нужно делать фасонными сразу же, при обжиге, такими, какими мы их будем класть.

Бакханс уставился на него, вытаращив глаза, и дважды провел ладонью по широким губам, потом взглянул

на тяжелые мозолистые руки Эре и ответил, слегка запинаясь:

— Ну? Ну и что же? Почему же их так не обжигают?

— А ты вот внеси предложение! — насмешливо ввернул Кербель.

Кербель и Бакханс переглянулись; Рейхельт, все еще державший в руках молоток, тоже усмехнулся. Затем все молча взяли лопатки и смущенно принялись помешивать раствор.

Эре почувствовал, что даже рукам стало горячо:

— Да, почему вы не внесете такое предложение? В самом деле, почему кирпичи не делаются сразу такой формы, какая нужна для крышек?

Бакханс неуверенно хохотнул и пробормотал:

— Чтобы мы внесли предложение! Господи боже! Мы!

— А инженеры, почему они не внесут такое предложение? — спросил Рейхельт.

Кербель вытащил из кармана коробку папирос, смял одну, высыпал в рот табак, стал его жевать. Потом пустил коробку по кругу. Эре с удивлением посмотрел на него.

— Да бери же! — сердито прикрикнул на него Кербель. Они закурили от одной и той же спички. Бакханс сидел в стороне на своем ящике с раствором, стиснув зубы, глубоко задумавшись.

Все задымили папиросами. Эре спросил:

— Бакханс, ты кто? Рабочий?

Бакханс не поднял головы. Эре поставил локти на колени, подпер подбородок ладонями. Он спросил опять:

— Ты ведь не инженер?

— Послушай, мы здесь не в школе, — сказал Кербель.

Бакханс поднял голову:

— Чего ты, собственно, хочешь от нас? Ну скажи — чего? — Его зубы обнажились, они были желтые от курения.

Эре вдруг почувствовал себя словно опустошенным.

— И только потому, что ты рабочий, ты не желаешь пошевелить мозгами? — спокойно спросил он.

Рабочие курили, не глядя друг на друга. Они затаивались, глотали слюну, руки их стали тяжелыми, точно молотки. Наконец Бакханс угрюмо проговорил:

— Так, еще что?

Эре устало улыбнулся; его губы точно одеревенели.

— Шевелить мозгами... говорю я... думать маленько

надо, а вот этого ты не хочешь... Воображаешь — одними руками можно много сделать? Да?

Он видел перепачканные шамотом колпаки на склоненных головах. Бакханс поднял руки — такие руки бывают у печников — изъеденные известью, покрытые мозолями, а там, где нет мозолей, — ссадинами от шамота; ногти — точно шершавая роговая чешуя. Другие рабочие тоже посмотрели на свои руки.

— Оно конечно... да ведь мы... — неуверенно начал Рейхельт. Кербель что-то невнятно пробурчал, а Бакханс закрыл лицо узловатыми пальцами, как будто хотел его спрятать, и глухо проговорил:

— Мы... да что мы можем!

Эре грубо прервал его и, словно швырнув в них камнем, заявил:

— Четыреста человек выбросят на улицу!

Все молчали. Кербель плюнул. Эре опять заговорил:

— Если мы не сложим печь, пропадет полугодовая продукция. Поэтому мы должны отремонтировать ее, не гася!

— Мы?

Эре увидел в их изумленных глазах все то, что видел в них и раньше: недоверие, несогласие. Но было и кое-что новое — глубокая тревога.

А Бакханс растерянно спросил:

— Мы?.. Мы сами? Без мастера, без инженера, без подрядчика? Господи! Да ведь мы простые рабочие!

Эре встал, потянулся, будто после долгого сна, и ответил:

— Да, мы рабочие, товарищ Бакханс. Рабочие! Если даже при нас находится инженер, либо мастер, либо подрядчик — все-таки *мы* строим печь, *мы*! И если нам не желают помогать ни мастер, ни инженер, мы ее построим одни... наверняка... Мы должны справиться с ней сами!

Они все еще молчали, опустив головы. Эре зашагал к двери, и их взгляды следовали за ним, когда он, тяжело ступая, шел по цеху. И хотя он был сутуловат, чувствовалось, что его нельзя ни согнуть, ни придавить.

Кербель с яростью отшвырнул лопатку, засмеялся резко и отрывисто:

— Никогда!.. Ни разу такой штуки не бывало!

Бакханс не ответил. Рейхельт сказал:

— Возьмусь-ка я опять за кирпичики. Языком трепать, много не зарабатываешь.

Бакханс тоже начал класть кирпичи, только Кербель продолжал стоять, выпрямившись и глядя перед собой злыми глазами. Когда Рейхельт ушел, он вполголоса сказал Бакхансу:

— Эре воображает, что это так легко. Нельзя же просто заявить: будет сделано — и все. И прежде так не полагалось, и теперь...

Бакханс сердито прервал его:

— Да что ты все киваешь на прежнее? Нынче — это нынче, а прежде — прежде, тут огромная разница.

Зуза Рик подкатила тачку шамотных кирпичей. Она спросила грустно и рассеянно:

— Нужны вам кирпичи-то?

— Вали сюда! — сказал Бакханс. Зуза принялась складывать кирпичи возле ящика с раствором. Кербель и Бакханс работали дозольно долго в молчании, торопясь, словно их кто-то подгонял, словно они хотели наверстать упущенное время. Наконец Бакханс сказал: — Если бы кирпичи обжигались сразу, как нам нужно, куда лучше было бы.

Но Кербель, нагнувшись над крышкой камеры, молчал. Зуза Рик спросила:

— Шамотный порошок вам тоже дать?

Бакханс кивнул: «Давай, мол, давай!»

Кербель, кладя кирпич к кирпичу, сказал:

— И все будут против Эре! Затея-то совсем новая! Нет уж, я в это дело соваться не желаю.

— Кто — все-то?

— Ну, дирекция, инженеры, да каждый, кто хоть что-нибудь смыслит.

— Смыслит... смыслит... — раздраженно повторил Бакханс, — разве мы-то уж так ничего и не смыслим?

— Оно конечно... — Кербель старался расколоть кирпич. И в такт ударам кирки он бормотал: — Конечно... Конечно... — потом добавил: — Ну только уж соваться... знаешь ли...

Зуза Рик сказала вполголоса:

— Если никто не захочет подсобить Эре, я пойду к нему в подручные.

— Ого! — удивился Бакханс; опешив, на нее уставился и Кербель:

— Рикхен... Рикхен... ты?

— А почему бы и нет? — Зуза сердито посмотрела на обоих. — А вы тоже хороши! Пускай Эре провалится, а Матшат получит удовольствие, да? А завод пускай станет? Нет уж, на меня тут не надейтесь! Если Эре согласится, я непременно буду помогать ему!

Она схватила несколько кирпичей и так решительно швырнула их под ноги Кербелю, что тот испуганно отскочил. Из-за его плеча ухмылялся Бакханс; ему показалось, что он впервые видит сегодня Зузу Рик, ее смелое суровое лицо и выразительные губы.

— Вот проклятая баба! — выругался Кербель. — Ты что, хочешь мне ноги перебить? Да?

— Уж, конечно, не твой длинный нос, — язвительно отозвалась Зуза.

— Это у меня длинный нос? — возмутился Кербель, но так как Зуза не ответила, он снова взялся за работу. Они работали вдвоем и избегали лишних движений; размеренно и спокойно клали кирпичи, штука за штукой, с ловкостью, в которой не было и тени торопливости; их тела и сильные руки двигались, как будто следуя музыкальному ритму. Когда Зуза Рик сложила весь кирпич, Кербель как бы мимоходом заметил:

— Только я тебе одно скажу... Впрочем, нет, — вдруг остановился он, — вмешиваться в это дело я не желаю. Этот рыжий, ну, Андрицкий, он тоже сначала хотел было помогать Эре, да потом... говорят, стянул чертежи и удрал в Западную.

— А мы тут при чем? — отозвался Бакханс.

Говоря все это, они не обращали никакого внимания на Зузу Рик, пока не почували по вдруг наступившей тишине, что она больше не кладет кирпичей; потом раздались негромкие всхлипывания.

— Ну... что случилось? — спросил Бакханс.

— Неправда! — рыдала Зуза Рик, вытирая глаза.

— Что неправда-то?

— Да вот... про Андрицкого... Не может этого быть!

Кербель выронил лопатку и свистнул. Бакханс хлопал ее по плечу своей лапишей. Зуза Рик закрыла лицо руками; светлые слезинки струились между пальцев.

— Да брось ты, Зуза... Ну перестань. — Бакханс растерянно посмотрел на Кербеля, а тот, прищурившись, беспомощно развел руками.

— Может быть, все это еще и не так страшно...

— А насчет мужиков,— попытался пошутить Кербель,— тут расстраиваться нечего... мужиками хоть пруд пруди... взять хотя бы меня!

Он встал рядом с ней, расправил плечи и выпятил грудь, как петух. Бакханс все так же ласково похлопывал ее по плечу.

— Да еще этакий рыжий чорт? На что он тебе сдался? — продолжал Кербель.

Но Зуза Рик вдруг быстро отерла глаза кончиком платка, отвернулась от обоих мужчин и пошла прочь.

— И зачем ты сказал...— сердито буркнул Бакханс.

— Чего сказал? — удивился Кербель. Обозленные смотрели они друг на друга.

— И он еще спрашивает! — Бакханс покачал головой и направился к камере. Взялся за работу и Кербель. Вдруг Бакханс выпрямился.

— Но я тебе скажу одно...— Он сел на край ящика с раствором и в нерешительности задумался.

— Что случилось? — спросил Кербель.— В его глазах еще была растерянность.

Бакханс мотнул головой и уставился на крышку камеры. Через минуту он заговорил снова:

— Я хотел сказать тебе... Знаешь, эта история с ремонтом печи и с Эре — все это не так просто. И вся эта собачья работа ведь в самом деле нашими руками делается! Да, нашими руками! — воскликнул он. — И вдруг в трудную минуту бросить Эре... Нет уж, знаете ли, ребятки, надо все-таки головой соображать... Да, брат, мозгами шевелить...

И как будто почувствовав боль в висках, Бакханс поднял огромные рабочие руки и сжал свою крупную лобастую голову.

Зептке, ведущий инженер обжигового цеха, уехал на неделю, и Матшат вздохнул свободно. Без Зептке нельзя было принять никакого решения относительно проекта Эре, и обсуждение этого дела отложили.

Матшат просил доктора фон Вассермана принять его.

Старик сидел за своим письменным столом — сухонький и хрупкий, а перед ним высилась груда бумаг. Не поднимая головы, он кивком предложил Матшату сесть, пододвинул ему коробку папирос и продолжал изучать лежавшие перед ним документы.

Но так как Матшат сидел, не говоря ни слова, то Вассерман наконец взглянул на него из-под прищуренных, воспаленных век. Однако Матшат все еще молчал. Он примостился на самом краешке кресла, грузный, настороженный, и его водянистые свиные глазки бегали по комнате.

Вассерман отодвинул от себя бумаги и бросил на мастера вдруг оживившийся испытующий взгляд.

— В чем дело? — спросил он.

Матшат слегка наклонился вперед и нерешительно проговорил:

— Да вот, господин фон Вассерман... Эта история с Эре насчет печи...

Он умолк, пожал плечами, поднял руку, словно хотел все объяснить этим жестом, и улыбнулся.

— Так что же?

Глаза Вассермана были почти закрыты; он казался опять усталым и измотанным. Что этому человеку от него нужно? Всякий раз, когда Вассерман с ним встречался, ему хотелось обойти Матшата стороной, чтобы не запачкаться.

Матшат сидел неподвижно, в неловкой позе и смотрел в пол, нервно затягиваясь папиросой. Наконец он прохрипел:

— Мы ведь знаем друг друга годов двадцать? Верно?

— Двадцать два, — подтвердил старик. Он вдруг словно ожил; его увядшее лицо окрасилось слабым румянцем.

— Ну да, вот уже скоро пятьдесят, как вы на заводе работаете, а я тут двадцать два года. Всекие виды видели!

Сжав губы, Вассерман ждал, и Матшат, ощущавший его неприязнь, осторожно продолжал:

— Эта история... ну, вот с Эре, у меня прямо в печенках сидит. Кажется мне, тут хотят... по причинам, не имеющим отношения к производству... протащить кое-что совсем другое. Ну, только я, как специалист, допустить этого не могу.

Казалось, его голос шелестит в разбросанных кругом бумагах. Свет, проникая сквозь занавеси, становился желтоватым. Как будто издалека доносился заводской шум. Веки Вассермана все еще были опущены, но когда воцарилось молчание, он поднял на мастера свои близорукие глаза, и тот почувствовал на себе его пристальный взгляд.

Все более теряя уверенность, Матшат продолжал:

— Видите ли, господин доктор, в конце концов я же отвечаю за правильное проведение работ. И мне кажется, предложение Эре — дурацкое предложение.

— Разве он внес какое-нибудь предложение? — Старик встал и засеменил по комнате; его шаги были беззвучны; так бегают старая мудрая мышь.

— Говорят, — отозвался Матшат.

Вассерман усмехнулся не без ехидства:

— Выражайтесь определеннее, Матшат. Ни о каком предложении я не слыхал. Ко мне ничего не поступало. Судить можно только о том, что известно.

А Матшат подумал: «Ах, старая лиса... старая лиса»... усмехнулся и провел жирной рукой по лицу:

— Ну, коли так... Говоря по правде, и мне ведь ничего точно не известно. Но люди болтают, будто Эре собирается ремонтировать печь номер три, не прекращая процесса обжига.

— Да? — Вассерман, видимо, в самом деле ничего не знал. Он покачал головой: — Интересно, очень интересно. Я хочу сказать — с точки зрения специалиста. — Он снова забегал по комнате: от окна к двери, а оттуда снова к окну, затем к шкафам, полным документов. Матшат сидел съездившись; его папироса погасла, и он смял ее между пальцами.

— К этому надо добавить, — озабоченно продолжал он, — что если Эре поручить печь, то Вейтлер будет для нашей фирмы потерян. А это единственная берлинская фирма по установке печей. Мы не должны забывать, что до известной степени обязаны руководствоваться ее опытом.

Вассерман, казалось, не слышал ни одного слова. Погруженный в свои мысли, он спросил:

— А этот... как его?

— Эре?

— Разве он не был активистом?

— Он и сейчас активист.

— Так вот... этот Эре предлагает... что же он предлагает?

— Как я уже говорил, он желает отремонтировать печь во время процесса обжига.

— Интересно... очень интересно...— Старик покачал головой: — Чего только на свете не бывает!

Растирая табак между пальцами, Матшат поднялся. Ссутулясь, выставив вперед одно плечо, он неуклюже стоял перед Вассерманом и покусывал губы:

— Ну что же, в таком случае, господин доктор...— он простился и нерешительно направился к двери.

— Послушайте, Матшат! — крикнул ему вслед Вассерман. — Послушайте, мы имеем право руководствоваться только профессиональной точкой зрения!

Когда Матшат вышел, Вассерман опустил на свое место, его глаза потухли. Он беспомощно пробормотал:

— Что этому человеку от меня нужно? Чего он хочет? — Он подошел к двери, запер ее на ключ, снова сел в кресло — сгорбленный, беспомощный, усталый старик, и уставился перед собой неподвижным взглядом.

— Что ему нужно? — повторил он. И решил быть крайне осторожным.

Лицо Бока уже не было ни холеным, ни гладким, и казалось еще более надутым. Он молчал, только рот его обиженно кривился.

В заключение Эре сказал спокойно и веско:

— Вот как я понимаю эту историю с Матшатом.

Бок как будто погрузился в размышления, затем с пренебрежительной улыбкой возразил:

— Значит, ты вот что подозреваешь, товарищ Эре? Но да будет тебе известно, что саботаж — дело гораздо более тонкое и требует более тщательной подготовки!

Однако Эре, пристально глядя Боку в глаза, повторил:

— И все-таки это саботаж. Пускай обмерят подпорки железных балок, обрати внимание, что они местами почему-то измазаны. А потом эти пропавшие чертежи... Стараются нам очки ьгереть, будто Андрицкий переправил их в ту зону.

— Да ведь он же улрал!

— Конечно... но,— начал было Эре.

— И потом Матшат! Старый партиец! Человек вступил в партию еще до тридцать третьего года! Нет. Все это тебе просто померещилось!

Безапелляционный тон Бока, затаенная, едва уловимая ирония в его словах, явная неприязнь лишили Эре уверенности. Он сказал:

— Конечно, голову дать на отсечение я не могу...

А Бок продолжал, уже не скрывая насмешки:

— А я могу! Есть люди, которым всегда кажется, что их кто-то преследует. Страх саботажа стал у некоторых товарищей какой-то манией.

— Манией? — Эре не понял и с удивлением уставился на Бока.

— Да, если человеку мерещится, везде мерещится то, чего не существует, что является только плодом его воображения, — это называется манией.

— Значит и у меня мания?

Не желая ответить прямо и словно защищаясь от удара, Бок поднял руку:

— Постой, постой... — А сам подумал: «Ну и глаза, точно у взбесившегося пса. Чорт бы его побрал! Только и знает, что скандалит, покоя не дает!» — Он похлопал Эре по плечу: — Я этого не говорил. Но надо же подумать, прежде чем утверждать такие вещи. Есть у тебя доказательства? Никаких! Предположения да подозрения, только и всего! Матшат — старый член партии, один из лучших членов нашей организации! Вот видишь, как обстоит дело!

Эре опустил голову:

— Но ведь он пьянствует вместе с Вейтлером, развратничает, это же стоит денег! А теперь он не хочет, чтобы мы ремонтировали печь!

Бок, словно в отчаянии, воздел руки. Потом вскочил, в ярости забегал по комнате:

— Ты воображаешь, товарищ Эре, что партия — это союз добродетельных старых дев?

Однако Эре упрямо продолжал:

— А если член партии пьянствует, да в пятьдесят лет с девицами с Александрплац гуляет...

— Господи! — завопил Бок. — До чего же мы докажемся, если будем рыться в личной жизни каждого товарища, точно в навозной куче!

— А может она и есть навозная куча?

— Ну, знаешь... мы же не монахи...

Эре взял шапку, надел:

— В таком случае... извини, что отнял у тебя время.— Он сделал несколько шагов и остановился.— Еще один вопрос: как ты смотришь на мой проект? Я говорю про ремонт печи.

Бок принялся разбирать бумаги на письменном столе и складывать их аккуратными стопками; Эре решил было, что секретарь считает их разговор оконченным. Но Бок продолжал:

— Твой проект? — секретарь задумался.— Чего ты хочешь? Чтобы я непременно занял по отношению к этому вопросу определенную позицию? Напрасно! Не удастся! И причем тут я? Разве это не дело дирекции?

— В таком случае... извини! — и Эре в своей залатанной грязной спецовке и съехавшей набок шапке, ссутулясь, направился к двери. Когда он уже отворял ее, до него донесся голос Бока:

— Минутку, Эре! Ты же знаешь, я ведь здесь сравнительно недавно; почему, собственно, тебя исключили тогда, у Ламперта? И потом у нас опять приняли?

Эре медленно затворил дверь и повернулся к Боку. Он опешил. Под слоем серой пыли лицо его побелело.

Бывает, что разуму необходимо вдруг найти достойный ответ на неожиданный коварный и оскорбительный вопрос; и тогда человек, точно надев семимильные сапоги, в один краткий миг окидывает внутренним взором весь свой прошлый жизненный путь.

И в ту минуту, когда Эре стоял в дверях партбюро, в его памяти пронеслись картины прошлого. Вот он, держась за руку деда, стоит на помещичьем дворе в едва греющих лучах предвесеннего февральского солнца. Голова деда смиренно опущена, но Ганс чувствует, как его руку сжимает рука старика и какая она мозолистая и заскорузлая.

А помещик кричит:

— Учиться? Учиться? Это еще зачем?

Мальчик съежился, а дед, хотя его в жизни уже много раз били, поднял голову и твердо заявил:

— Да, мальчику хочется учиться.

Помещик смотрел на деда, и голубые глаза старика, ослепленные первым блеском весеннего солнца, смело встретили этот взгляд.

Капитан, точно он был во дворе казармы, рывкнул: — Тогда пусть убирается вон! Нечего ему здесь делать, а ты изволь найти другого батрака!

Хлыст взлетел, жестко шелкнул о сверкающие сапоги, раз, два. Затем капитан сделал крутой поворот и направился к дому.

И вот четырнадцатилетний Эре пустился в путь. Вихры падали ему на лоб, подмышкой он держал узелок, в котором была запасная рубашка и пара носков.

Он прошел одну деревню, другую, потом небольшой городок, потом еще деревню... Вечером в деревнях и поместьях выли собаки.

В каком-то маленьком местечке он нашел работу. И начался ежедневный неизбывный и тяжкий труд; мальчик лазит с утра до ночи по лестнице вверх и вниз, сгибаясь под тяжестью кирпичей, и это совершенно выматывает его силы. Чернорабочий!

Вечером он забивается в какую-то нору, один, мальчуган, у которого нет никого на свете. И даже ночью ему кажется, что он лазит по лестнице, придавленный тяжелой ношей.

Далеко-далеко шумят морские волны, набегая на померанское побережье. Берлин, этот город, блистающий огнями под тусклым бранденбургским небом, озаряет его ночи, хотя остается навеки недостижимым.

А с утра опять приходится лазить по лестнице — вверх и вниз, согнувшись под непосильной ношей. Иной раз вечером он останавливается под окнами деревенского трактира, до него доносится музыка и пьяный бессмысленный смех молодых людей. Оконное стекло, к которому он прижимается лицом, словно сделано из льда. Но еще холоднее те лица, которые изо дня в день мелькают перед ним.

Однажды, когда ему уже минуло шестнадцать и он уже стал горбиться от постоянного тасканья кирпичей, до него дошла весть, что в имении капитана вспыхнула забастовка. И вот он снова идет день и ночь. Груды кирпичей забыты: перед ним неотступно стоит хлыст капитана. И обратный путь он проходит втрое быстрее.

Имение оцеплено солдатами, все они с подкрученными кверху усами, у всех в руках винтовки. Спрятавшись в кустах, Эре видит, как уводят арестованных. Он узнает поденщиков Ленацкого, Гоммеля; арестованные

идут непрерывной вереницей: молодежь и взрослые, мужчины и старики. Притаившись в кустах, он видит и своего дедушку — у старика скованы руки, и два жандарма ведут его по дороге в ближайший окружной центр.

Наступает 1945 год и с ним конец войны. Эре работает на фабрике кондитерских изделий в Гогеншенгаузене. Но ни одна из картин прошлого не изгладилась из его памяти. Попрежнему видит он перед собой и хлыст капитана, и дедушку в оковах, которого угоняют в город... Когда старик наконец вышел из тюрьмы, он весь согнулся, взгляд стал безжизненным, но он сказал:

— Знамя видеть нужно, видеть и высоко держать его.

И Эре видел его перед собой — красное знамя, — видел и тогда, когда работал у Ламперта на фабрике кондитерских изделий. Владелец фабрики был в Западном секторе Берлина; вместо него остались жена и сын, выложенный балбес с бородкой клинышком. Они отправляли Ламперту старшему в Западную зону все, что могло ему пригодиться: сахар — центнерами, муку — целыми грузовиками. И если у кого-нибудь открывались на это глаза, их быстро засыпали мукой и белоснежной сахарной пудрой.

Но Эре видел красное знамя, опять развевавшееся над Берлином. Вокруг него, на улицах и в домах, опять чувствовалось присутствие партии, и после этих страшных лет оцепенения он снова нашел самого себя. Эре отправился в фабричный комитет, но и там у людей глаза были засыпаны сахаром и мукой. Эре спросил:

— Как же так? Теперь мы знаем, что у нас. Но если на предприятии будут распоряжаться хозяйские холоуи, что тогда?

Эре обратился в парторганизацию. На него недовверчиво посмотрели и заявили:

— Этого недостаточно. Надо представить более убедительные материалы.

Эре представил: во время войны Ламперт пользовался трудом так называемых «иностранных рабочих» и не только морил их голодом, но и Ламперт старший, и его сын-балбес охотно давали волю рукам... а в этих руках чаще всего оказывался хлыст или здоровенная палка.

Однако секретарь фабричной парторганизации все еще качал головой:

— Недостаточно, товарищ Эре.

Недостаточными оказались и выкопанные им на территории фабрики боеприпасы и огнестрельное оружие, которые он выложил на стол:

— Ну что, и этого вам недостаточно? — И так как он настаивал, его исключили за «антипартийное поведение».

Тогда Эре перешел на этот завод, но от борьбы отнюдь не отказался. Он продолжал обращаться и в районный комитет профсоюза, и к областному партийному руководству, а молодой балбес Ламперт с мамашей тем временем все-таки переселились в Западный Берлин.

Товарищи, жившие с Эре на одной улице, знали его лучше, чем парторганизация кондитерской фабрики; они подняли шум, заявили протест против его исключения из партии и добились того, что он был восстановлен.

Бледный, моргая засыпанными пылью глазами, Эре спросил Бока:

— Ты протоколы не читал?

Бок вылез из-за письменного стола; стараясь скрыть иронию, со снисходительной усмешкой на вялых губах, он сказал:

— Я же не упрекаю тебя... но ты вот о чем подумай: нельзя смотреть на вещи только со своей личной точки зрения. Надо ко всему иметь политический подход, между прочим и к вопросу о ремонте печи.

Эре мял в руках шапку. Он снова спросил:

— А протокол о моем исключении из партии и о приеме обратно ты читал?

— Еще не успел.

— Не успел?

— Ты понятия не имеешь, до чего я занял! — простонал Бок. — Вы, наверное, воображаете, сидит себе секретарь бюро за столом... почитывает газеты... а кто, скажи пожалуйста, возглавляет все политическое руководство заводом?

Дверь распахнулась и ударила Эре. Увидев Фале, он выбежал из комнаты не простившись.

Фале опешил и вопросительно посмотрел на Бока.

— Видел? Хорош гусь?.. — Бок засмеялся, подошел к Фале, пожал ему руку и продолжал: — Одни башмаки

чего стоят! Говорю тебе, товарищ Фале, прежде всего смотри по башмаки. По ним все сразу видно. Какова обувь — таков и человек. Возьми хотя бы этого Эре: у него и башмаки остроносые, упрямые, и я по ним тут же понял, какая муха его укусила. Он упрям, воображает о себе невесть что, занят только своими глупыми идеями. Словом... несостоящий человек!

Фале растерялся, взял было со стола газету, но сейчас же положил ее обратно и, чувствуя, как в нем закипает негодование, стал набивать трубку. Он спросил вполголоса:

— Скажи, товарищ Бок, а собрание секретарей цеховых партгрупп ты уже подготовил?

Бок вздрогнул.

— Пока еще нет... — небрежно ответил он, — мне, однако, пора... Давай лучше поговорим об этом, когда я вернусь. Хорошо? Мне давно уж следовало там быть, да вот притащился этот Эре. Господи, и сколько же времени у нас люди отнимают!

Не успел Фале опомниться, как Бок схватил пальто, шляпу и был таков. Фале в изнеможении опустился на стул, запыхтел трубкой и вдруг расхохотался:

— Нет, с ума сойти можно! Башмаки... Оказывается, все дело в башмаках! — Он подошел к телефону, набрал номер, подождал, затем крикнул в трубку: — Шадов? Да... Хорошо. Так тебе следует побывать у нас. Ну да... чорт тебя побери, да!.. Завтра? Но припаси заранее нового секретаря для нашей заводской парторганизации! — Затем положил трубку; все еще усмехаясь, Фале пробормотал: — Башмаки?.. Здорово!.. Вот скотина!

Мать Андрицкого встретила его так, как обычно все матери встречают сыновей, возвратившихся из большого города. Когда он в тот вечер вошел в кухню, она бросилась к нему, прижалась, обняла за плечи, положила голову на грудь и вдруг неудержимо зарыдала. А Андрицкий думал: «Бот уж не ожидал! Прошло всего три года, а как она постарела!» И действительно: лицо матери покрылось морщинами, глаза потускнели, даже упрямый рот стал каким-то старческим и вялым.

— Господи, Андреас... — всхлипывала она, не выпуская его из своих объятий и заглядывая ему в лицо.

в глаза; слезы бежали у нее по щекам, она не переставала судорожно всхлипывать.

Но Андреас, словно застыв, смотрел на отца, который сидел на диване и пытался шутить над волнением жены, хотя сам был готов заплакать. Его костлявые руки с потрескавшейся кожей были сложены на коленях, зрачки серых глаз, окруженных черной каймой, расширились и словно остановились. Он прохрипел:

— Смотри, не проглоти его живьем!

— Молчи уж,— оборвала его мать сквозь слезы, потом отерла передником глаза и наконец выпустила из объятий своего мальчика. Она подошла к плите, низко наклонилась над горшками. Андреас пожал отцу руку, но тот потянул его к себе, прижал щетинистые усы к щеке сына и пробормотал:

— Вот и ты, мой мальчик... Ах, черт!.. — Он громко высморкался и, подмигнув в сторону старухи, продолжал: — Все такая же! Чем старше, тем хуже!

Мать взялась за сковороду, и в кухне запахло так, как в ней пахло обычно: жареной картошкой. У Андреаса даже слюнки потекли. Он сел рядом с отцом на диван, вытянул ноги. Мать засыпала его вопросами:

— Как ты живешь? Неужели до сих пор не женился? Работал? Хорошо зарабатывал?

Однако старик, на хитром лице которого появилась насмешливая улыбка, прервал ее:

— А ты вывори ему карманы да пошарь хорошенько, хоть один-то завалящий пфеннинг там найдется?

— Замолчи! Вот болтун! — сердито накинулась она на старика.

Андреас еще не успел ответить ни на один вопрос; он про себя улыбнулся, и ему стало так приятно, что можно вытянуть под столом ноги и спокойно посидеть дома, посмеиваясь над спором своих стариков, — сколько Андрицкий себя помнил, они всегда так спорили.

— Конечно, — язвительно продолжал отец, — чуть он в дверь, а ты уж вешаешься ему на шею и стараешься все из него вытянуть.

Но мать обернулась к Андреасу и, словно ища у него поддержки, сказала:

— Вот видишь! Ты же его знаешь. Он у меня уж вот где сидит! И сейчас... в точности как в тридцать

втором. Целый день диван протирает, ни на что не годен, только злит меня... Ах ты, господи!

Она вдруг рассмеялась, несмотря на раздражение, и они засмеялись все трое оттого, что были опять вместе и что старики бранились просто по привычке и каждый мог думать про другого что ему угодно.

Затем мать вынула из шкафчика тарелки, накрыла на стол; она торопливо ходила по комнате, и от движений ее грузного, расплывшегося тела на полках звенела посуда.

Поставив на стол сковороду с жареной картошкой, она вдруг села, поднесла фартук к глазам и опять беззвучно заплакала; губы ее вздрагивали; она глотала слезы, но они лились неудержимо и крупными прозрачными каплями стекали на грудь.

Андреас и отец сидели неподвижно, не решаясь взглянуть друг на друга. Не смотрели они и на мать.

То и дело отирая слезы передником, она, всхлипывая, спросила:

— Ты все еще любишь жареную картошку?

— Да, все еще, — отозвался Андреас.

Старик захихикал.

— Ну так ешь, — угощала она сына. — Ешь досыта. Хорошо, что я нажарила картошки.

И когда Андрицкий и старик, наконец, принялись за еду, мать так и осталась сидеть на стуле, не прикасаясь к пище. А Андрицкий думал: «Да, я все еще люблю жареную картошку!» Раньше, когда он жил в рабочем поселке и проходил по дороге, обсаженной цветами, а затем сворачивал в Розеналлее, вдоль которой бесконечной вереницей тянулись домики рабочих, то до самого цеха его провожало благоуханье жареной картошки. И все это — и запах картошки, и тяжелый запах угля, и мерцающая в воздухе угольная пыль, которая оседала на домах, белье, деревьях, губах, бровях, — все это делало родину незабываемой.

Мать успокоилась и, вытерев глаза, устремила на сына испытующий строгий взор. Положив наконец картошки и себе, она сказала:

— А выглядишь ты плохо.

— Да ну? Разве? — Андрицкий смутился.

— Особенно под глазами у тебя черно, — продолжала мать и улыбнулась слегка насмешливо.

Старик сердито проворчал, не переставая жевать:

— Оставь его! Чего ты опять допытываешься! Парень войти не успел, а ты уже к нему прилипла, как банный лист!

— Перестань молоть вздор! — сердито оборвала она его.

Андреас, опасаясь, что они опять начнут ссориться, рассмеялся:

— Ах вы старые петухи!

— Петухи! Послушай-ка, — старуха опять повеселела, — ведь вкусно? — Потом, не дожидаясь ответа, обернулась к мужу: — Нет, правда, у него плохой вид. — Ее глаза светились теплым блеском, и теперь, когда сын мог спокойно разглядывать ее, он заметил, насколько она постарела и как много новых морщин легло вокруг губ и глаз.

Чтобы как-то отвлечь его внимание, она снова заговорила.

— Да ты ради жареной картошки все готов был бросить. Помнишь, тебе только пошел девятнадцатый, и ты иной раз являлся домой поздней ночью, а я еще, бывало, не сплю, и ты кричал: «Давай сюда жареную картошку! Целую сковородку! Давай сюда!»

И она засмеялась счастливым, клохчущим смехом, так что расплылось все ее широкое скуластое лицо и затряслось грузное тело.

— Впрочем, ты не только картошку мог поедать целыми сковородами... — и она снова рассмеялась; ее смех подхватили и сын и отец; все трое вспомнили, какой хороший был аппетит у мальчика.

Наконец старик заявил:

— Ну ладно, давайте теперь спокойно поужинаем.

Однако старуху это не остановило:

— А котлеты, а сосиски! Сколько же ты мог слопать сосисок! — Она добавила, смеясь еще громче: — Когда у нас они были... да, когда были!

Они еще не кончили ужинать, как послышались шаги, зашкрипели по песку садовой дорожки, загромыхали в сенях, и в комнату вошел Карл. Братья посмотрели друг на друга — оба рыжие, оба с такими же, как у матери, решительными, резко очерченными лицами; они пожали друг другу руки и сразу почувствовали, что будут и теперь дружить, как дружили всегда.

Мать поставила перед Карлом тарелку. Лицо ее стало озабоченным, плаксивым; старик, уже покончивший с ужином, казался уставшим; его черты заострились, словно остекленевшие глаза помрачнели, он то и дело разглаживал обвисшие, растрепанные усы.

Мать спросила:

— Ну, как дела?

Карл продолжал есть, глядя в тарелку. Он ел с какой-то молчаливой злостью и голодной жадностью. Когда старуха снова обратилась к старшему сыну, в лице ее уже не было плаксивости; твердый крутой лоб бороздили глубокие морщины, в глазах горела ярость. Она словно выдавила из себя:

— Говорят, сталелитейный завод демонтируется. Англичане будто бы требуют. И ты подумай — наши рабочие должны своими руками его демонтировать, а кто откажется, того выгонят на улицу. Вот мы до чего дожили. А что такое поселок без завода?

— Они предусмотрительно всех уволили, — сказал Карл.

— Всех? — Старуха вздрогнула. Ее взгляд был похож на взгляд побитой собаки; рот судорожно сжался.

— Всех. Очень предусмотрительно. А кто захочет помогать при демонтаже, должен заявить.

— И что же? Что вы решили делать? — спросил старик. Он уже не сутулился, а сидел прямой, как палка, рядом с Андреасом и сжимал руками колени.

— Что делать?

— Но ведь вы должны же что-нибудь предпринять? — настаивал старик.

— С завтрашнего дня мы уже не работаем.

— Значит, стачка? — отец вздохнул с облегчением.

— Да, мы бастуем, весь завод. Но профсоюз...

— Знаю я их! Знаю, — с горькой насмешкой отозвался старик. — Сколько раз я на этом попадался: «Не принимать слишком поспешно радикальные и нелепые решения. Лучше договориться, так мы скорее своего добьемся». И мы еще рады были! Рады, что нам не нужно бастовать, мы же верили им!

Резкий тон старика невольно заставил остальных умолкнуть. Мать поставила на стол табак, и когда Карл положил вилку, все принялись скручивать папиросы.

Мужчины закурили, сунула себе в рот папиросу, быстро скрутив ее, и старуха; ее широкое морщинистое лицо скрылось в облаках дыма.

Карл спросил брата:

— Ты легко перебрался через границу?

— Да.

— Нелегально?

— А как же иначе? — смущенно засмеялся Андреас, глядя в сторону.

Старуха спросила:

— Хотите по чашке кофе? Только это не настоящий.

Никто не отказался. Она принесла чашки и кофейник, налила всем, потом взяла бумажку и карандаш и уселась рядом с Карлом.

— Ты заполнил листок? — осведомилась она.

— Успеется, — пробурчал Карл.

— Нужно заранее позаботиться, — настойчиво продолжала она. — Сегодня среда. Я уж все газеты просмотрела, искала каких-нибудь намеков. И, по-моему, у Шальке больше шансов выиграть, чем у Дуисбурга. Определенно, вот увидишь.

— На этой неделе у меня все равно денег нет, — с усилием сказал Карл, и Андреас, который чуть не рассмеялся, почувствовал на себе суровый и испытующий взгляд брата.

— Но как же ты будешь ставить?

Старик звучно захохотал; однако в его взгляде Андреас безошибочно подметил затаенную надежду. Он сказал Андреасу:

— Теперь будет до понедельника морочить нам голову. Господи, ну и баба!.. Воображает, что непременно выиграет пятьдесят тысяч.

— Пятьдесят? Боже милостивый! — Старуха усмехнулась горько и безнадежно. — Да будь у меня хоть одна тысяча... одна сотня!.. За пятьдесят-то марок я бы и то бога благодарила!

Все рассмеялись, даже Карл, который был, казалось, погружен в свои мысли. Он спросил:

— А что бы ты тогда купила?

— Что? Сначала их получить надо... Ну, так как же ты будешь ставить, скажи? — Она обернулась к Андреасу и продолжала: — Знаешь, у меня есть свой секрет. Когда

я заполняю листок, то я себе представляю, совершенно определенно и отчетливо, как в воскресенье будет выглядеть официальный листок тототки,— совершенно отчетливо!

— И что же, ты хоть раз угадала?

— Когда-нибудь непременно угадаю. — Но ее лицо с широким и жадным, теперь уже запавшим ртом, с большими светлыми глазами без блеска говорило о том, что надежды у нее нет никакой.

Некоторое время все молчали. Мать заполняла листок, следуя каким-то своим соображениям, а старик раскуривал новую папироску. Затем Карл спросил брата:

— Ты останешься здесь?

Тот пожал плечами.

— Там видно будет! Пока еще не знаю!

— Разве ты больше не мог там работать?

— Да не трогай ты его, — остановила Карла старуха. — Он через порог переступить не успел, а ты уже пристаешь к нему!

Старик захихикал:

— Слыхал? А сама его чуть с ног не сбила!

Карл смял окурок. Он сказал:

— У меня нынче еще заседание. — Он вдруг словно проснулся и ожил.

— Не ввязывайся ты, — накинулась на него старуха, — не ввязывайся. И чего ты с этими коммунистами путаешься!

— Знаем! Знаем! — хихикал старик. — Она и мне это твердила! А я слушался ее, болван!

— Ты в партии? — спросил Андреас Карла.

Тот внимательно на него посмотрел.

— Нет... пока нет, но я не знаю...

— Он в стачечном комитете, — с гордостью заявил старик и продолжал: — Меня они тоже туда один раз выбрали, тогда, в двадцать восьмом. Я пришел домой и говорю старухе, а она на меня как накинется... Пришлось пойти и заявить, что я не могу, нельзя, мол, мне из-за моих легких, я, мол, больной... А ты ее не слушай!

Карл ушел, Андреас остался сидеть за столом с родителями. Мать заполняла лотерейный листок, отец, насытившийся и утомленный, дремал. Андрицкий, охваченный блаженной усталостью и вместе с тем какой-то тревогой, смотрел на них; но, как ни странно, он видел

не их, а лицо своего брата: озабоченное и вместе с тем решительное, взгляд настороженный и испытующий.

Старик захрапел. Мать подняла голову, улыбнулась, и лицо ее осветилось невыразимой нежностью.

— Он устал, — прошептала она. — Теперь, когда он уже не работает, он от всего устает, — и добавила все с той же доброй нежной улыбкой: — Ну да, времени у него теперь сколько хочешь. Кабы вот пенсия была побольше! А то восемьдесят марок! Разве на них проживешь!

Фале почему-то говорил запинаясь, точно с трудом находил слова, хотя Шадов то и дело ободряюще ему подмигивал. Крупное суровое лицо Фале подергивалось, губы слегка дрожали, он и сам чувствовал, что недостаточно глубоко вскрывает суть дела.

Вдруг Шадов прервал его:

— Ты меня извини, товарищ Фале, но мне кажется, если мы будем говорить общими словами, мы далеко не уйдем.

Эре, сидевший рядом с Бакхансом, проворчал так громко, что все услышали:

— Пусть он скажет прямо, прямо и открыто, а нет — так я сам скажу.

— Что ты имеешь в виду, товарищ Эре? — спросил Шадов, взявший на себя ведение собрания партийного актива.

— Что я имею в виду? — Эре с горечью усмехнулся. — Ну, как же... ведь мы собрались здесь, чтобы потолковать о работе нашего секретаря Бока и принять определенные решения. Так давайте говорить по существу!

Некоторые из рабочих в знак согласия кивнули, другие продолжали держаться так, как они обычно держались на партийных собраниях, — спокойно выжидая; однако каждый чувствовал, что сегодняшнее собрание не такое, как обычно, хотя едва ли смог бы сказать, почему. Матшат пристроился в уголке и шнырял глазами по лицам присутствующих; рядом с ним сидел Карлин, спокойно вытрямившись, но, видимо, чем-то озабоченный. Временами он украдкой поглядывал на дверь.

— Почему мы канителимся и не решаем сразу, без долгих разговоров? — вставил Зальбуш, как всегда с вызывающей усмешкой и не выпуская изо рта окурков.

— И потом это вообще непорядок — собрание в рабочее время! — раздался другой голос.

— А когда же? Может, вечером? — огрызнулся третий.

Шадов поднял руку; шум стих, и инструктор вкратце разъяснил все значение этого неожиданно созванного необычного собрания; затем он согласился, что, действительно, партийные мероприятия не следует проводить в рабочее время, и было вынесено решение созывать такие собрания по вечерам. После этого Шадов опять дал слово Фале. Фале продолжал серьезным и уже решительным тоном:

— Хорошо, будем говорить прямо. Я еще ни с одним товарищем этого не обсуждал, но считаю, что работал товарищ Бок плохо и что секретарем ему больше оставаться нельзя. Товарищ Шадов должен был уже на предыдущем собрании учесть наше мнение. Но и сейчас еще не поздно!

Лицо Бока покрылось пятнами. До сих пор он молчал, видимо, пораженный, хотя при одном появлении Шадова ему все стало ясно. Он поднял руку, по всей вероятности, желая что-то сказать.

— Сейчас я говорю,— оборвал его Фале, и все почувствовали, что он зол именно оттого, что вынужден говорить, но что он решил все выложить начистоту.— Я держусь вот какого мнения: Бок со своей задачей не справился ни с какой стороны. Он не опирался на коллектив, и тот факт, что у нас до сих пор нет работоспособного партийного руководства, и является причиной всех наших несчастий. Три дня тому назад у нас было заседание, на котором мы с ним обо всем договорились, и ему было поручено в два дня перестроить работу руководства на основе коллегиальности. Выполнил он это? Нет! Я не хочу повторять все то, что мы уже столько раз обсуждали. Каждый знает, о чем идет речь. Напомню только одно: когда к нему придешь, то всегда чувствуешь себя так, точно ты ничтожество, комок грязи, червяк, паршивый червяк, который ползает и ждет, что на него вот-вот наступят.

— Верно... так и есть! В точности!

— Чего ты тянешь, давай выносить решение! Сейчас же — и делу конец!

Бок улыбнулся кривой улыбкой, его губы насмешливо подергивались. Он сунул ноги под стул, и Эре слышал, как он прошипел:

— Ладно! Мы еще посмотрим...

Фале метнул в него короткий взгляд и гневно продолжал:

— Главное тут вот что: его отношение к нашим активистам и к вопросам выпуска продукции. Возьмем хотя бы случай с Эре. Мы все здесь присутствующие знаем, какую Бок занял позицию в этом деле, какую он продолжает занимать и до сих пор. Но — так он мне говорил еще вчера — он судит о человеке по его башмакам! По башмакам! Вы слышите? И оттого, что башмаки у товарища Эре с острыми носами и довольно-таки поношенные, Бок считает Эре упрямым, самонадеянным и к тому же неряхой!

Раздался оглушительный хохот.

— А они у него чищенные? — крикнул Зальбуш.

Эре стиснул кулаки, Шадов предостерегающе посмотрел на него, не в силах, однако, подавить улыбки. Матшат сидел, опустив голову, его глаза попрежнему подстерегающе перебегали от одного к другому. Карлин все озабоченнее поглядывал на дверь. Эре засунул руки в карманы и, стиснув зубы, то и дело бросал на Бока разъяренные взгляды.

Фале заговорил снова:

— Спросите-ка Бока, знает ли он наших заводских активистов и уделял ли он каждому из них хоть сколько-нибудь внимания. Спросите-ка его...

В эту минуту отворилась дверь; все повернули головы. Вошла рослая сильная женщина с энергичным крестьянским лицом. Когда она увидела, что все обернулись к ней, она испуганно остановилась возле двери и смущенно стала теревить пуговицы на пальто. Встретившись глазами с мужем, она выпрямилась.

Эре, пораженный, пробурчал:

— Ах, чорт!..

Катрин улыбнулась ему.

— В чем дело? — спросил Бакханс.

— Сам чорт не разберет, — пробормотал Эре. Он смущенно взглянул на Шадова, который встал и пригласил:

— Входите, товарищ Эре, — и затем, обратившись к другим, продолжал: — Я хочу представить вам товарища Эре, которая с этого дня будет работать у вас на производстве; но об этом скажет товарищ Карлин.

Катрин, продолжая улыбаться, села, но не рядом с мужем, а в последнем ряду.

Бакханс шопотом спросил:

— Твоя жена у нас работает?

— Вот женщина! И мне хоть бы слово! — прошептал Эре; по нахмуренному лбу, по беспомощным и растерянными взглядам, которые он бросал вокруг, было видно, как он потрясен.

Карлин встал. Он заговорил деловито и спокойно, но очень мягко:

— Кроме тех трудностей, о которых вы знаете, на нашем заводе есть еще гораздо более серьезные трудности. Мы больше не получаем медного порошка и, вероятно, не будем получать. У нас есть на производстве химик, доктор Лаутер, который работал сначала чернорабочим, потом уборщиком в лаборатории, а теперь получил от меня задание разработать технические условия для того, чтобы мы могли сами изготавливать медный порошок. Он согласился. Он бывший нацист, но эту задачу выполнит, хотя в политических вопросах разбирается очень слабо и идет на это дело со всеми оговорками, какие только можно себе вообразить. Мы должны дать ему кого-нибудь, кто поможет ему разобраться в политике и поддержит, когда против него начнутся враждебные выпады, а они несомненно будут. Товарищ Шадов, с которым я советовался, согласился со мной, что товарищ Эре вполне подойдет для этой роли. Она женщина дельная, способная, она помогла мужу разработать план ремонта кольцевой печи так, что этот план теперь заслуживает всяческого внимания. Ну вот! Теперь вам решать.

Присутствующие наконец опомнились от удивления. Несколько человек заговорили наперебой; послышался возмущенный шопот Эре, а Зальбуш крикнул:

— Все согласны!

Эре вскочил, лицо его побагровело, глаза сверкали; беспорядочно размахивая руками, он заявил:

— А я не согласен. Ни за что! У нас же хозяйство, ребенок! Кто будет обо всем этом заботиться?

Зальбуш рассмеялся, его поддержали другие; Зальбуш крикнул:

— Дыры на носках будешь замазывать шамотом!

— Бросьте ерунду молоты!.. — крикнул Эре. — Катрин... слышишь... Я не согласен, ни за что! Только попробуй...

— А белье мы тебе высушим, в печи сушить будем, в камере, — продолжал насмешничать Зальбуш. Смеялся

и Карлин и даже сама Катрин, хотя в глазах ее появилось озабоченное выражение.

Эре сел, и когда Шадов предложил собравшимся проголосовать предложение директора, он был единственным воздержавшимся. После краткого обсуждения и после того как Бок, которому предложили высказаться по поводу его деятельности, промолчал и остался сидеть на своем месте с упрямым и замкнутым видом, было постановлено возбудить ходатайство перед секретариатом окружного партийного правления о том, чтобы снять Бока и рекомендовать другого секретаря. Затем выбрали временное бюро, в которое наряду с руководителями отдельных цеховых групп вошел и Эре. Фале выбрали председателем организации.

Фале закрыл собрание. Эре встал, посмотрел на доску объявлений и хотел подойти к жене, но она вместе с директором вышла из комнаты. Они, смеясь, по-приятельски о чем-то разговаривали, и он услышал в голосе Катрин новые для него, независимые нотки. Эре словно увял; засунув руки в карманы, он стиснул кулаки и, ни на кого не глядя, пошел обратно в цех на свое рабочее место.

На следующий день около полудня совершенно неожиданно вернулся Зептке, и Карлин назначил на вечер заседание правления.

Эре, который узнал об этом перед самым окончанием работы, умылся, пригладил волосы и до того, как идти в дирекцию, успел еще поговорить с Бакхансом и Кербелем.

Он спросил Бакханса:

— Ну как — от своего слова не отступитесь?

— Ежели бы ты меня спросил, я бы отказался! — вмешался в разговор Кербель. — Но он взялся с тобой работать, а раз он, значит и я.

— Правильно, — обрадовался Эре, вздохнув с облегчением.

— Но чтоб всем платили одинаково, и подручным тоже, — сказал Бакханс.

— Ясно! Всем одинаково, — подтвердил Эре и бодрым шагом пошел в корпус, где помещалось заводоуправление.

И вот они собрались вокруг большого стола в дирекции. Доктор фон Вассерман смотрел своими близорукими

глазами сквозь очки без оправы и перелистывал бумаги. Рядом с ним, положив на стол костлявые руки, сидел Карлин, спокойный, сосредоточенный; казалось, он один из всех владеет собой, хотя он и чувствовал на себе сердитый взгляд Эре, примостившегося в сторонке. Эре был бледен, руки у него дрожали. Инженерно-технический персонал держался несколько поодаль; все с любопытством поглядывали на Эре и посмеивались втихомолку, когда думали, что он на них не смотрит.

Матшат сел около Вассермана, он вертел в пальцах погасший окуроч сигары и время от времени посасывал его. Иногда он чуть слышно что-то шептал старику Вассерману. Тот каждый раз вздрагивал, растерянно вскидывал на него свои близорукие глаза и спрашивал: «Извините, как вы сказали?»

Эре был небрит, сумрачен, под воспаленными глазами легли темные тени, он несколько смущенно рассматривал лица окружающих, как ему казалось, враждебные. Он обратился непосредственно к Карлину:

— Из партийного руководства кого-нибудь позвали? — спросил он сдавленным голосом.

— Да, позвали Фале как председателя организации, — сказал Карлин и больше уже не обращал на него внимания.

«Странный он сегодня, сдержанный, скрытный, словно его это вовсе и не касается» — думал Эре. Воротничок сразу стал ему тесен; он даже вспотел.

Вошел Зептке, он так раскраснелся, словно бегом бежал. Он поздоровался со всеми за руку. «Господи боже мой, заседание на заседании!.. Три дня подряд заседаю!» — вздохнул он.

Около Эре он на минутку задержался, внимательно посмотрел на него, наклонился и шепнул:

— Заварил кашу, теперь расхлебывай. Вожжа тебе, что ли, под хвост попала?

Эре беспомощно, растерянно улыбнулся. Спина его покрылась холодной испариной.

— Не бойся! Сам заварил, сам и расхлебаю! Если придется, так и один! — буркнул он.

Зептке сел, а Эре подумал: «Ну, а кто расхлебает ту кашу, что Катрин заварила?» Карлин легонько постучал карандашом по столу. Стало слышно, как шелестел бумагами Вассерман, а затем наступила такая тишина, что

Эре показалось, будто он слышит биение собственного сердца. Он скрутил папироску, пальцы дрожали; он почувствовал, как у него дергается веко. От сухого делового тона, которым начал Карлин, по спине у него пробежал холодок; он не совсем понимал, о чем говорят. Вдруг он увидел, что все смотрят на него.

— Да... да... — пролепетал он, не сознавая, что твердит одно слово: «Да... да...» Пальцы мяти папироску. Как сквозь туман, видел он кривую, чуть заметную ухмылку Матшата.

— Ну, так как же? — ободряюще спросил Карлин.

Эре глянул в его замкнутое, сухое лицо. В глазах Карлина он прочел готовность к бою. Это его немного успокоило, он достал из кармана блокнот с вычислениями — почерк жены расплывался у него перед глазами — и, заикаясь от смущения, начал:

— Говорить... говорить-то я не горазд, да ладно уж, попробую...

Он остановился. Цифры и буквы запрыгали перед ним. «А эту кашу кто мне поможет расхлебать? Никто, и не сам я ее даже заварил. Ах, этот Карлин!» — подумал он.

— Я хочу, значит, печь отремонтировать! — с трудом, даже с каким-то озлоблением выдавил он.

Все будто удивились, хотя отлично знали, для чего было назначено заседание; сидели молча, ждали, лица были напряженные. Зептке кашлянул; один из техников, похожий на удивленного моржа, смущенно потирал переносицу. Другой сказал:

— Печь?.. Вот как!

Кто-то насмешливо фыркнул. Вассерман снял очки, озадаченно посмотрел на Эре, потом, по очереди, на всех остальных; для него это было неожиданностью. Дрожащим старческим голосом он переспросил:

— Извините, как вы сказали?

С трудом сдерживая злобную язвительную усмешку, от которой кривилось его одутловатое лицо с заплывшими глазами, Матшат крикнул:

— Печь отремонтировать хочешь?.. Ну, что ж, посмотрим! Да только одного хотения мало, тут еще и умение нужно!

Он наклонился к Вассерману и что-то шепнул ему.

Насмешка Матшата, как заноза, вонзилась в сердце Эре. Волнуясь, разбирал он свои заметки; цифры и буквы

все еще прыгали у него перед глазами. Карлин сказал с невозмутимым, почти ледяным спокойствием:

— Ну так объясни нам свой план!

Эре совсем растерялся.

— А где же Фале, разве он не придет? — спросил он.

— Придет, придет... — ободряюще кивнул ему Карлин.

Заикаясь, Эре начал:

— Ну, так вот... Я, значит, рассчитал... — Все завертелось у него перед глазами — комната, сидящие в ней люди, холодные лица, шкафы вдоль стен, большой стол. Одна мысль мелькала в голове: «К чему, к чему все это?.. Без нее... без ее помощи...» Он с трудом продолжал: — Я рассчитал... Так вот, если, значит, мы вшестером отремонтируем печь... не охлаждая ее... Самое главное, чтобы печь не охлаждать.

Матшат злорадно хихикнул:

— Не охлаждая... Н-да. Когда при мне, при специалисте, говорят такие вещи...

Зептке растерянно обводил всех взглядом, словно ничего не понимал; затем его лицо стало серьезным, задумчивым, в эту минуту он был похож на Карлина. Он спросил:

— А по-твоему, это можно?

Матшат злобно загоготал:

— Он рукой огонь зажмет, а другие пока будут печь складывать.

Вассерман отодвинулся немного от Матшата, осторожно кашлянул. Карлин пристально посмотрел на мастера, тот смутился, вобрал голову в плечи, прикусил язык. Вассерман нервно перебирал свои бумаги, не имевшие никакого отношения к печам, перебирал худыми, старческими пальцами. Наконец он сказал:

— Нет, это неслыханное дело. Я здесь на заводе пятьдесят лет работаю. Все печи, что за это время сложены, делались при мне, но выкладывать неостывшую печь... до сих пор это считалось невозможным.

Среди присутствующих инженеров послышался одобрительный говор. Матшат, уже не скрывая своего недоброжелательства, сказал с явной издевкой:

— Я ж говорю, он огонь рукой зажмет!

Но Эре, не обращая внимания на слова Матшата, спросил Вассермана, глядя ему прямо в лицо:

— Кому принадлежал завод эти пятьдесят лет?

— Кому? Какое это имеет значение? — Вассерман оглянулся на инженеров, ища у них поддержки. Но их лица были непроницаемы; с невозмутимым видом сидели они на своих местах.

В дверь постучали, и, тяжело ступая, вошел Фале, грузный, с потным, покрытым копотью лицом. Он смущенно извинился за опоздание.

— Мы разгрузили новую камеру в печи номер три. Она в еще худшем состоянии, чем первая, — сказал он.

Эре, осмелев, вызывающе смотрел то на одного, то на другого. Вассерман избегал его взгляда. С лица Матшата исчезла самодовольная ухмылка, остались только насмешливые морщинки в уголках глаз. Фале сел на стул. Он сидел грузный, мешковатый, и таким он казался медлительным, таким неповоротливым.

Эре обратился к нему:

— Ты ведь знаешь, я внес в дирекцию предложение — с бригадой в шесть человек отремонтировать печь, не охлаждая ее.

— Ну и что же? — Фале оглядел всех, но как до этого они избегали смотреть на Эре, так и теперь смущенно отвели взгляд.

Фале сердито повторил:

— Ну, и что же тебе сказали?

Он держал себя так, будто в комнате никого, кроме них с Эре, не было. Кое-кто из сидевших за столом поморщился, словно от боли. В глазах Карлина Эре заметил веселый, теплый огонек.

— Да пока... Ну, пока еще никто против моего проекта не выступил, — сказал Эре.

Вассерман с удивлением посмотрел на него, затем робко заявил:

— Трудное, очень трудное дело. — Он повернулся к Фале: — Господин... да, господин Фале, — продолжал он после того, как Фале напомнил ему свою фамилию, — я не знаю, достаточно ли ясно вы себе представляете, что здесь ставится на карту. Дело идет о сумме в четыреста тысяч марок. Не очень-то это легко — взять на себя такую ответственность. Нельзя же так просто сказать: ладно, действуй! А если потом не выйдет... — он задумался, пожевал тонкими иссохшими губами. — По-вашему, приятно сесть в тюрьму за саботаж? Мне уже семь-

десять... семьдесят. На старости лет — и в тюрьму... — Он вынул платок, обтер морщинистый лоб.

— Ну, зачем же сразу и в тюрьму, — успокоительно улыбнулся Карлин. — В тюрьму так, здорово жавешь, не сажают.

— Если ты свой долг исполняешь, никто тебя в тюрьму не посадит, — ворчливо заметил Фале. — Вы не волнуйтесь, выскажите спокойно ваши соображения. Мы здесь для того, чтобы все обсудить, а не для того, чтобы взвалить на кого-то ответственность. Если вы не считаете возможным взять ее на себя — не берите.

А Эре сказал сочувственно:

— Доктор, я вас понимаю, но и вы должны понять, в каком мы сейчас положении. Вы говорите, что мы рискуем суммой в четыреста тысяч марок. А я говорю, что мы рискуем полугодовой продукцией.

Обычно спокойный Фале нетерпеливо спросил:

— А вы, господин Зептке, как думаете?

Зептке встал, усмехнулся и, слегка наклонившись над столом, заявил:

— Не знаю... Но Эре до сих пор... Что я могу сказать? Как Эре работает, всем известно. Он работает с толком, кроме того, он активист. Я бы считал, что ему это дело доверить можно.

— Отремонтируют печь, а через три дня ее придется снова чинить, — заявил Матшат.

— А печь, которую твой подрядчик Вейтлер сложил, после первых же пятисот градусов чинить пришлось, и теперь мы ее что ни день чиним, — запальчиво крикнул Эре.

Матшат вскипел:

— Мой Вейтлер? Это что еще за разговор?

Карлин успокаивающе поднял руку. Вассерман сказал задумчиво:

— Отрешимся на минуту от того факта, что работа будет тяжелая и трудная, не будем даже говорить о том, что печь может завалиться; подумаем только об одном: что получится, когда загрузят не просушенную еще камеру, когда она нагреется, и как будет выглядеть готовая продукция. Через непросохшую кладку проникнет влага, газы, пары, они могут повлиять на качество силитовых стержней.

Эре сидел как пришибленный. Карлин избегал его

взгляда. Матшат вздохнул с облегчением. Присутствующие инженеры слушали со скучающим видом, и при виде их физиономий Эре стало не по себе.

Он слышал, как Фале возразил:

— А кто сказал, что мы сразу же загрузим печь силикатовыми стержнями? Мы сначала будем обжигать те кирпичи, которые Эре предложил формовать для крышек камер.

Карлин улыбнулся. Вассерман задумчиво покачал головой. Эре очень хотелось дать Фале хорошего тумака в бок, по-приятельски, от всей души.

Зептке все еще стоял, слегка наклонившись над столом; он опять заговорил:

— Надо бы доверить Эре это дело. Мы живем в новое время, господин доктор, а новое время требует и новых дерзаний. Вы считаете, что это рискованно? Может быть. Эре предлагает на наше рассмотрение свой проект, и, думаю, проект неплохой. Мы спасем полугодовую продукцию. Наша продукция необходима как воздух не только нам. Вы все знаете, какую важную статью экспорта составляет наш завод.

Матшат пустил в ход последний козырь.

— А кто возьмет на себя ответственность? — спросил он.

— Правильно. Кто возьмет на себя ответственность?

— Я как технический директор... — в наступившей тишине слова Вассермана звучали веско и тяжело, — взять на себя ответственность не могу.

— А кто будет работать с Эре? — вставил Матшат. — Никто. Ни один печник, ни один подручный не захочет.

— Не захочет? — Эре рассмеялся. — Бакханс, Кербель и Рейхельт уже согласились и Зуза Рик тоже.

— Зуза Рик? — Матшат расхохотался, хотя слова Эре его и озадачили. — Зуза была, да вся вышла — смылась вслед за своим дружкой-приятелем, за Андрицким.

Фале успокоительно мигнул Эре. Затем обратился к Зептке:

— А вы? Можете взять на себя ответственность?

Зептке молчал, смущенно пожимал плечами. Наконец, как бы нехотя, сказал:

— Н-да, взять на себя ответственность... Дело в том... Я ведь не вхожу в состав дирекции... Я не имею права взять на себя официальную ответственность!

Остальные молчали.

Эре чувствовал себя мячом, который перебрасывают от одного к другому. По спине у него сбегали струйки холодного пота. Вдруг он ударил кулаком по столу. Все с удивлением взглянули на него и увидели его злые прищуренные глаза, упрямый рот, побледневшие, сжатые губы. Он крикнул:

— Кто возьмет на себя ответственность?.. Ну, если все боятся, так я возьму! Я сам, раз больше никому!

Один из инженеров с неприятным, желчным выражением лица сказал:

— Ну... ну... нечего так сразу на стену лезть. Вы, может быть, не уясняете себе всю важность решения, которое предстоит принять.

— Еще как уясняю! — запальчиво крикнул Эре.

— Много ты понимаешь, — возразил Матшат. — Специалист никогда не предложит такого проекта. Восстановить печь в процессе работы!..

Эре поднялся и серьезно сказал:

— Господа, вот мой проект в письменном виде. Я прошу, чтобы мне с бригадой печников разрешили восстановить печь. Если мое предложение не будет принято... Ну, что же, свет на вас клином не сошелся, есть еще места, куда можно обратиться.

Он положил на стол свои расчеты, словно не хотел больше со всем этим возиться; устало, тяжело ступая, как после целых суток работы, он отошел к окну.

Никто не сказал ни слова. Вассерман встал. Он сложил бумаги в портфель, улыбнулся несколько натянутой улыбкой и заявил тусклым голосом:

— Я, господа, понимаю, время сейчас иное... Иногда я просто удивляюсь, как я могу жить в такое время. Многое так необычно, так для меня неприемлемо... Простите, пожалуйста, я говорю о себе, лично о себе. Позвольте вам сказать, что я старый человек, а молодежь теперь... — улыбка перешла в жалобную гримасу — ...мне пора на покой... да, я, собственно, уже имею право отдохнуть.

Он стоял у стола, согнувшись под тяжестью лет, шуря свои тусклые близорукие глаза, его худые руки бесильно повисли, сухие тонкие пальцы судорожно вцепились в портфель.

Карлин, усмехнувшись, сказал:

— Доктор, мы не хотели бы вас принуждать... А насчет молодежи... Ну, какая же мы молодежь?

Все рассмеялись, только Матшат глядел волком. Вассерман, с трудом выдавливая слова, будто они причиняли ему боль, ответил:

— Я не вас имел в виду, а Эре... Он ведь как семнадцатилетний. Понять не могу! Человеку под пятьдесят, а он как семнадцатилетний! Что такое творится с людьми? — и словно нехотя, подчеркнуто официальным тоном, прибавил: — Я очень сожалею, но как технический директор завода ни в коем случае не могу взять на себя ответственность за осуществление этого проекта.

По-старчески семеня ногами, он вышел из комнаты. Только Карлин посмотрел ему вслед. Подождав немного, Карлин откашлялся и сказал:

— Мы должны прийти к какому-нибудь решению. Я полагаю, что поручить Эре ремонт печи можно. Больше того, в качестве директора завода я требую, чтобы он, не откладывая, приступил к работе. Я не могу взять на себя ответственность за простой на производстве.

Высокий, худой Карлин даже весь подался вперед, словно ожидал возражений. Но никто ничего не сказал, и Карлин закрыл заседание. Оставшись вдвоем с Эре, он подошел к окну, где тот стоял. Из окна видны были дымящиеся трубы завода, люди, деловито снующие по двору. Прожекторы над обжиговым цехом бросали яркие пучки света в ранние зимние сумерки.

Карлин положил руку на плечо Эре.

— Ну, как, Ганс, доволен? — спросил он.

Эре не взглянул на него.

— Доволен? — он горько рассмеялся.

— В чем дело?

— В чем дело? — Эре обернулся и со злостью посмотрел в лицо Карлину. — И втравил же ты меня в историю... Я о жене говорю. Но так и знай, я еще не сказал своего слова.

Карлин хотел примирительно похлопать его по плечу, но Эре оттолкнул его руку и, не простившись, вышел из комнаты.

— Ну и ну... — растерянно пробормотал Карлин, когда тот хлопнул дверью, но затем рассмеялся хорошим

добрым смехом, не приняв близко к сердцу запальчивых слов Ганса Эре.

Вечером, когда Эре воротился домой, кухня была нетоплена. На столе после завтрака осталась немытая посуда, около плиты не было ни угля, ни дров, чтоб развести огонь. Эре бросил шапку в угол, взял ведро, сходил за углем, растопил плиту, а затем, достав из шкафа хлеб и масло, сел к медленно разгоравшейся печке. Мрачно уставившись в пространство, жевал он хлеб и запивал холодной водой, но еда не шла ему в горло; тогда он взялся за газету, но он не понимал, что читает, даже букв не мог разобрать.

Прошло довольно много времени, наконец он услышал шаги жены и дочки, полнившихся по лестнице, потом — сдержанное всхлипывание. Девочка сразу бросилась к нему на шею, ее круглое личико, залитое слезами, подергивалось от рыданий, она не могла выговорить ни слова.

Катрин поздоровалась, подошла к мужу, обняла, но он молча оттолкнул ее руку и крепко прижал к себе девочку. Жена отвернулась, села к столу, ее лицо стало замкнутым, словно окаменело.

Миле, всхлипывая, прошептала:

— Не хочу в детский сад... хочу домой... к мамуле.

Эре погладил ее по волосам, мягким, как шелк. Принялся утешать:

— Не пойдешь, не пойдешь... не пойдешь больше.

Катрин встала, накрыла на стол, взяла уже очищенную картошку и принялась ее резать на сковороду. Эре сел к столу с девочкой на руках; он избегал смотреть на жену.

Девочка весело болтала:

— Правда не пойду?.. Ни за что не пойду в детский сад?

— Ни за что не пойдешь!

— А если мама велит...

— Ни за что не пойдешь, — повторил Эрс, сердито взглянув на Катрин. Она перестала резать картошку, задумчиво уставилась в одну точку; затем, словно придя к какому-то решению, молча взялась опять за работу.

— Дети там все такие нехорошие, — рассказывала Миле, и Гансу Эре, ощущавшему у себя на коленях теплое, мягкое детское тельце, вдруг стало холодно. Он подумал: «К чему, к чему все? Неужели конец? К чему работать, спину гнуть, раз ничего не осталось, раз не для чего трудиться? Неприятности, борьба, иногда до отчаяния доходишь, а вспомнишь свою кухню, жену, ребенка, и опять кажется — все перенесешь, словно новые силы для новой борьбы в тебя волеются».

И под болтовню дочурки он устало опустил голову, положив тяжелую руку на хрупкие детские плечики.

В кухне стало теплее. Запахло салом и жареной картошкой. Жена ходила взад и вперед, и от ее твердых крепких шагов звенели на столе тарелки. Девочка опять спросила:

— Папуля, я правда больше не пойду в детский сад?

Эре подтвердил:

— Нет, не пойдешь!

Но Катрин, вдруг рассердившись, резко сказала:

— Не говори ей глупостей! Знаешь ведь, что иначе нельзя.

Эре вспыхнул:

— Чего пристала? Замолчи! Неужели нельзя хоть дома иметь покой и мир!

— Папа... что такое... мир? — спросила девочка.

Катрин с удивлением на нее посмотрела. Эре молчал. Глаза Катрин засветились теплом. Она выжидательно глядела на мужа.

— Мир — это когда... — промямлил Эре. Он подумал: «Фу ты, чорт, как ей растолковать?» — Ну, мир, это когда нет войны, — беспомощно объяснил он.

— Ага, — сказала девочка и посмотрела на него испонимающими глазами, большими и светлыми. — А война что такое? — спросила она.

— Ну, война... война... это... — Эре покраснел. Жена, улыбаясь, глядела на него. — И чему только учат детей! — рассердился он. — Зачем им о войне рассказывать? Ну, зачем?

— Нам в детском саду тетя говорила... — девчурка призадумалась, наморщила лобик.

Катрин сказала:

— Ну-ка, товарищ Эре, объясни своей дочери...

— Да ну, замолчи... замолчи,— раздраженно огрызнулся Эре.— Что это за «товарищ Эре»?.. Товарищ Эре!

— А разве мы не товарищи, не члены партии? — спросила жена. Она говорила спокойно, уверенно; не спеша подала еду, села за стол и начала есть.

— Тетя говорила, — продолжала девочка, — война — это когда злые люди не хотят... не хотят...

— Боже мой, боже мой,— грустно пробормотал Эре,— чем только не забивают тебе голову! — Смеющийся взгляд жены был невыносим; Эре встал и ушел в спальню, громко хлопнув дверью. С отсыревшего потолка посыпалась штукатурка. Девочка испуганно вздрогнула.

— Что с папулей? — робко спросила она.

— Ничего, просто устал, вот и все, — успокоила мать.

Андрицкий мучительно думал: «Чего она мне все это рассказывает?» Он смотрел на лежащий перед ним лист бумаги, но не мог рисовать: слова матери, как гири, тяжело ложились ему на руку. А мать, на лице которой жизнь провела горькие морщины, продолжала:

— Что они думают? Когда же этому конец? Мало мы горя видели? Да где тебе знать! Вот раз поехала я в Верхнюю Баварию, еще в самом начале, сразу после сорок пятого года. Села в Эссене на поезд с углем... — она горько усмехнулась. — Села! Это так только говорится! Места на платформе с бою брались, да и усилеть там было нелегко. Шел дождь, у меня с собой зонт был; от Эссена до Нюрнберга я просидела на угле, а в Нюрнберге пришли ами и сигнали нас. Я потом на другой поезд села, и кого только там не было! Всякий сброд, что по свету шатается... женщины, которые работали вольнонаемными и после войны остались не у дел... Точно все люди с места снялись. Господи боже мой, как я только выдержала! — Лицо у матери было старое, морщинистое; горечь и жесткость в глазах исчезли; она думала вслух. — Один подошел ко мне, вечером, уже плохо видать было, а потом нагнулся, я глянула ему в лицо... Ох ты, господи! А он спрашивает, да с насмешкой: «Ну-ка, мамаша, показывай, что у тебя в рюкзаке...», а ведь я там не одна была, да только все отвернулись; все, видно, боялись, а я как закричу, потому что он мой рюкзак схватил, а в нем лампочки были, да зонтом его;

зонтом по голове, еще, еще раз. А другие увидели, что я не испугалась и тоже на него накинулись и с поезда на всем ходу и сбросили, я видела, как он на откосе лежал. Лежал и не шевелился. А мы дальше поехали. Так я и не знаю, встал он или нет. — Она робко взяла сына за руку. — Как ты думаешь... отцу я так и не сказала... Как ты думаешь, он насмерть убится?

Андрицкий болезненно поежился. Он держал ее за руку, в голове была одна мысль: зачем она мне все это рассказывает? Именно мне? И хотя портрет не был еще окончен, он видел, что отлично уловил сходство; горестно сжатые губы когда-то такого властного рта, печальные глаза и широкий красивый лоб, на котором горе и заботы проложили морщины.

— Ну же, ну, мать... — Уже темнело. Андрицкий оглядел кухню, посмотрел на сосновый шкаф, начищенную до блеска плиту, на освещенный лампой рисунок. Он устало сказал: — Ступай спать, мама. Не убивайся! Сегодня я не кончу. Завтра будем продолжать.

— Хорошо тебе говорить: ступай спать! — Она рассмеялась надтреснутым, унылым смехом. — Да разве я засну! Скажи... Скажи...

Она не выпускала его руку.

— Да ну же, мать, глупости все это, — успокаивал он ее.

— Глупости... глупости... — она сложила руки, как для молитвы.

— Ну, что толку мучиться, — уговаривал Андрицкий.

— Я не покаялась, — зашептала она, — не покаялась я в этом грехе. Да и кому какое дело? Никому. Только господу богу, а ему я на том свете во всем покаюсь... Сама покаюсь.

— У тебя чашка кофе еще найдется? — с трудом спросил Андрицкий. Во рту у него пересохло, язык прилипал к гортани.

— Кофе? — мать улыбнулась хитрой улыбкой. — Знаешь что? Сварю-ка я настоящего кофе. У меня еще осталось немного. — Она подмигнула сыну, пошла поставила на плиту воду. Теперь она ходила по кухне, твердо ступая, прямо неся свое грузное, располневшее тело в старом залатанном платье. Она снова заговорила, но уже не горько, а равнодушно, эпически спокойно: — А мясо? Мяса мы месяцами не видели, ни в одной

лавке не было, а потом я поехала в Ганновер, в захолустное местечко, так там перед мясной стоял длиннющий хвост, прямо как товарный поезд, а впереди меня женщина, старуха, как и я, и все что-то в кармане она роется. И вдруг вижу из кармана выпала пачка марок. А я — раз! и наступила, подумала: ногой их, ногой прикрою! А потом нагнулась, ремешок на туфле затягивать стала, а женщина... вот как ее очередь подошла, она уж собиралась платить... да вдруг как закричит! Боже ты мой! Всю душу мне ее крик перевернул, я хотела... да ведь не могла же я так, перед всем народом вынуть марки и сказать... Потом она ушла, я взяла мясо; вот вышла я из лавки, а она стоит у стены и сама, как стена, белая, в голос кричит, руки ломает... Ну могла я марки себе оставить?

Вода кипела. Она заварила кофе. По всей кухне пошел аромат. От плиты она вернулась к столу, молча налила кофе. Минуту подержала в обеих руках теплую чашку, потом спросила:

— Искупила я свой грех? Я насчет того человека...

— Ну, конечно, конечно, — пробормотал Андрицкий. Он пил, не смея поднять глаза. Мать тоже пила; он слышал, как она с наслаждением, громко втягивала горячий кофе; потом он посмотрел на нее — сейчас лицо ее было живым и теплым, глаза блестели.

Она спросила:

— Ты теперь здесь останешься?

— Да, — сказал он.

— Навсегда?

— Ну конечно.

— А почему... — она замолчала, подумала и прибавила: — Карл говорит, что ты неспроста приехал.

— Что он говорит?

— Ну, говорит, что-нибудь случилось, только ты не хочешь сказать, а? Верно?

Андрицкий усмехнулся, ему трудно было скрыть от матери, что его смутили ее слова. Он сказал успокоительным тоном:

— Не волнуйся, мать. Почему я приехал? Ведь ты же сама мне писала, чтоб я приехал, так ведь?

— Так, — отозвалась старуха, но по глазам было заметно, что она ему не верит.

— Ну вот, видишь! — прибавил он.

Она улыбнулась, посмотрела на него, глаза у нее

были теплые, круглые, совсем как черные пуговицы, и рот уже не кривился, когда она сказала:

— Это хорошо, что ты остаешься, хорошо! Вот выиграю в тототку... Вдруг мне на этой неделе счастье привалит...

Чуть светало, когда Катрин проснулась после тяжелого беспокойного сна и почувствовала, что муж не спит. Она шепнула: «Ганс...», положила руку ему на плечо. Он не отозвался, отвернулся к стене, натянул одеяло и сердито засопел.

Сердце у Катрин сжалось. Она опять окликнула мужа: «Ганс, послушай!» Голос был такой же тусклый, как мутный рассвет, что брезжил сквозь чердачное окошко. Эре лежал попрежнему молча, посапывал, и она тоже молчала, а на дворе меж тем светлело. На улице раздались шаги первых прохожих. Грохот трамваев ворвался в смутные шумы просыпающегося города.

Мысленно она шептала: «Ганс, нам надо поговорить». Рыдания душили ее. Она взяла себя в руки.

— Помнишь ту ночь, когда я к тебе пришла, тогда еще... ну... — Он молчал, но она знала, что и он думает о той ночи. — Ты сказал мне — мы говорили тихо-тихо, чтоб не слышно было сквозь тонкую стенку, — когда это кончится, мы построим новую жизнь. Все будет другим, вдвоем мы все одолеем. Ведь сказал, да? — Эре не отвечал. Она слышала его тяжелое, хриплое дыхание. — Ты сказал, наша партия не умрет, и все станет иным, потому что наша партия опять будет с нами. Ведь сказал, да? И ты говорил мне о партии, и я все понимала, и все эти годы... все годы...

Но он молчал. Громче доносились с улицы утренние шумы. Девочка зашевелилась в кровати, потом опять послышалось ее ровное дыхание.

Катрин шепнула:

— Товарищ Эре... товарищ Эре...

Эре прошипел:

— Да замолчи ты! Девочку в детский сад не пущу, сам дома останусь, а ее в детский сад не пущу. Зачем ребенка губить? Видишь ведь, она не хочет!

— Но Ганс... Ганс! — перебила она. Он еще больше разозлился.

— Чего ради я из сил выбиваюсь? Чего ради, спрашивается. Ради того, чтоб ребенок не знал ни отца, ни матери, чтоб среди чужих людей рос? У меня матери не было, и отца я не знаю! Что же, и у моей Миле такое детство будет?

— Да теперь же все совсем по-другому. В детских садах хорошо. Ей куда лучше среди детей, чем здесь на кухне.

Эре встал, ни слова не говоря, оделся в темноте и вышел на кухню. Она тоже встала, вышла следом за ним. Он растапливал печь. Катрин накрыла на стол, нарезала хлеб, намазала маслом — ему, себе и дочке. Все молча. Эре сумрачно глядел на ломти хлеба, пока Катрин намазывала на них масло и ливерную колбасу. В кухне стало теплее; вода вскипела, Катрин заварила кофе, и теперь они молча сидели друг против друга, машинально прихлебывали кофе, жевали, и хлеб застревал у них в горде.

Когда они почти кончили завтрак, Катрин опять начала:

— Послушай, Ганс, давай поговорим спокойно. Мы ведь не дети, мы члены партии, товарищи...

— Что ты ко мне пристала... товарищи... товарищи... совсем не об этом разговор, — резко перебил он. — И Карлин туда же... Я еще с ними поговорю. И с Фале тоже поговорю. К чортовой матери их всех!

Катрин посмотрела на него, увидела его угрюмое лицо с нахмуренным лбом и поняла, что продолжать разговор бесполезно. Он взял свои бутерброды, надел старенькое пальто и ушел, не простившись.

Она словно окаменела. В тишине громко тикали часы. Потом она встала, разбудила дочку, одела и отвела в детский сад.

Катрин как раз во-время поспела на завод. И вдруг в порыве немой злобы она решила, что пройдет через цех, где Эре уже готовил все для кладки печи. Он увидел жену и поднял голову; лицо у него было белое, как мел. Он догнал ее у самых дверей.

— Ведь я же тебе сказал... Ведь сказал!.. — в бешенстве крикнул он.

Она испытующе посмотрела на него, потом спокойно ответила:

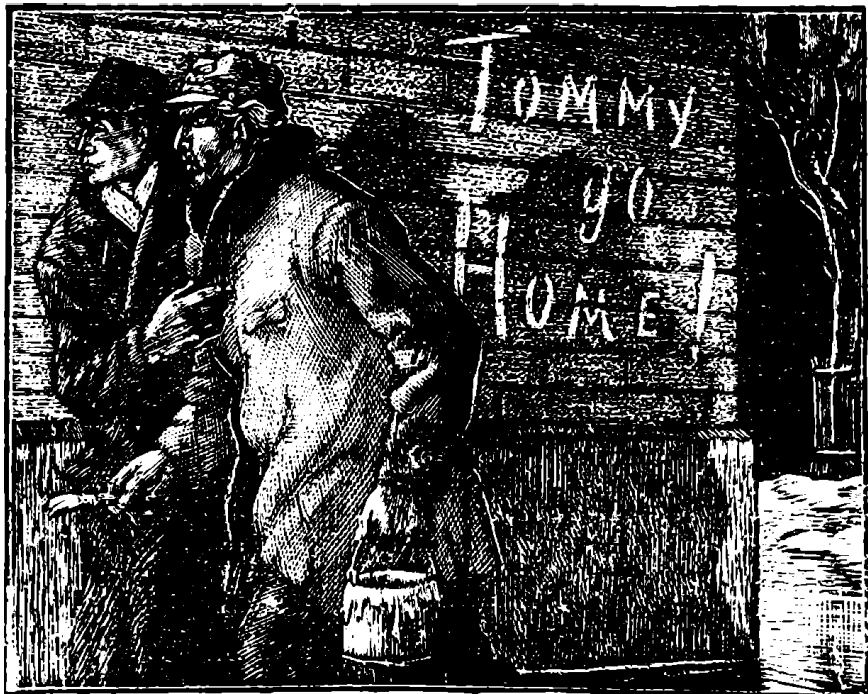
— Товарищ Эре... Знаешь, если и дальше так пойдет, придется поставить вопрос на бюро.

— Что, что ты сказала? — он поднял тяжелый кулак, словно хотел ударить. Она не отклонилась. Его рука бес- сильно повисла.

— Так вот, я тебе сказал... если будет так продол- жаться...

— Что тогда? — Она попрежнему спокойно смотрела на него.

— Ступай в бюро... ступай,— он был бледен как смерть.— Ступай, скажи... скажи, не могу, мол, больше жить с товарищем Эре!



IV

На рождественских праздниках стояла сырая, пасмурная погода. Туман, слякоть, низко нависшие над крышами тучи, тусклый свет в окнах.

Эре два дня не выходил из дому. Огни елки, казалось, глумились над ним; и хотя он купил дочке куклу — сколько он лавок обегал, сколько денег отдал! — и хотя дочка, завизжав от радости, повисла у него на шее, он попрежнему был мрачен, не разжимал рта. Потом они с женой сидели друг против друга за праздничным обедом, на столе — гусь, болгарское красное вино с терпким привкусом; а он молчал, такой же пасмурный, как погода, не поднимал глаз; и все же лицо Катрин стояло перед ним, серьезное, с широкими скулами; веки, прикрывавшие светлые глаза, вздрагивали. Вдруг она вскочила и ушла в спальню; вернулась она оттуда бледная, губы плотно

сжаты, но веки уже не вздрагивали. После ужина девочка спела песенку; она ласкалась то к отцу, то к матери, а Эре шагал по кухне из угла в угол, первничая, с обидой в душе. Когда девочку уложили, он погасил свечи на елке. От яркого электрического света стало больно глазам; посмотрев на Катрин, он увидел, что вокруг ее рта легла новая скорбная складка, но глаза глядели спокойно и уверенно. Они долго молча сидели друг против друга. Медленно, тягуче тянулось время, молчание заволакивало комнату, словно чад от коптящей лампы. И оба боялись встать и уйти в спальню, боялись поднять голову и посмотреть друг другу в глаза, увидеть там отражение собственных чувств.

Не глядя на него, Катрин сказала:

— Ганс, должен же ты, наконец, понять, что я тоже стала другой. — Она встала, подошла к нему, прижалась головой к его груди. Он смотрел поверх ее головы, не разжимая рта, точно оледенел. — Ведь мы любим друг друга... Или уже разлюбили?

— Я не знаю, чего ты хочешь, — ответил он хрипло, а потом насмешливо буркнул: — Мы, кажется, не в театре!

Она не обратила внимания на его слова, взяла его руку, прижала к своей груди:

— Слышишь, чувствуешь?

Он горько усмехнулся. У Катрин было такое ощущение, словно холод сковывает ей ноги, проникает в сердце. Она сильнее прижала к груди его руку, тихо сказала:

— Радоваться бы должен... — и нехотя, словно ей это было мучительно трудно, прибавила: — Ну как можешь ты думать, что меня удовлетворяет кухня? Я ведь не такая женщина, мне мало спать с мужем да у себя дома уют наводить. Наша партия говорит, что для строительства новой жизни нужны силы всех. А ты хочешь, чтоб я сидела дома?

— Да ну, перестань! — Он оттолкнул ее, вскочил со стула. Она стояла перед ним, мягкость и ласка исчезли из ее глаз. Он посмотрел на жену, и все в ней показалось ему чужим, словно он впервые ее увидел.

— Ну, конечно, ты ведь толковая, еще, может, чего и добьешься, валяй. Подумаешь, какое дело — ребенок и муж. Валяй! Не стесняйся, а подохнем мы, тебе наплевать! — тяжело дыша, сказал он.

И ночью они лежали друг около друга, и днем сидели рядом все такие же отчужденные, замкнутые, непримиримые, и молчание стояло стеной между ними.

Первый день после рождественских праздников показался Эре особенно угрюмым и будничным; ничто не радовало, все раздражало. В утренней мгле, бледный, осунувшийся, похожий на привидение, Эре шел к заводу вместе с толпой громко и весело болтавших рабочих, и у него было такое чувство, будто он снова возвращается домой. Его нес шумливый поток по-зимнему закутанных людей, зажавших подмышкой кто портфель, а кто сверток с завтраком, и он думал с грубоватой нежностью: «Ну чего вы, черти, смеетесь!» — но этот смех, громкий говор, удушливый запах угля, стоявший над корпусами и бараками, вызывали в нем совершенно новое ощущение, словно после всех житейских невзгод он возвратился под родной кров.

И нет ничего удивительного, что он тоже засмеялся, когда его с насмешками и шуточками обступили рабочие, собравшиеся вокруг кольцевой печи и ждавшие его указаний. Неуклюжего Бакханса, угрюмо топтавшегося на месте, он окликнул:

— Эй, ты, медведь, принимайся за дело!

А когда Бакханс, ворча, подошел к ящику с раствором, он шутливо спросил:

— Сколько процентов сверх нормы дашь, а?

Кербель, стоявший тут же с киркой в руках, чтобы выламывать из стенок камеры кирпичи, проворчал:

— Ну, ну, уж заладил свое...

Среди рабочих стоял и Матшат, и хотя в его глазах сверкали злые огоньки, он спросил, ухмыляясь:

— Ну как, Эре, рукой огонь заткнешь, а?

Эре рассмеялся.

— Задницей заткну, — крикнул он. — Пока они будут кирпичи укладывать, я огонь задницей заткну. Хоть погреюсь!

Вокруг загоготали; были и такие, что ругались, ворчали что-то про себя, а одна женщина плюнула со злостью и сказала:

— С тех пор как он на заводе, покоя никому нет, точно это его завод! Сегодня ночью он мне даже приснился!

Тупая тяжесть двух праздничных дней улетучилась. Эре чувствовал себя легко и хорошо, он крикнул в ответ женщине, которая стояла по ту сторону камеры:

— А завод и впрямь мой! Пойдешь за меня замуж, а? Подумай, будешь женой фабриканта!

Загудел мостовой кран. Женщина за словом в карман не полезла:

— За тебя замуж?.. Нет, какой с тебя прок — одна кожа да кости, на что ты такой нужен!

— Ну, тогда вот за него иди! — Эре, смеясь, потнул головой в сторону Матшата.

Кран повис над камерой номер четыре, рабочие подошли ближе, чтобы посмотреть, как ее будут открывать. Маленький, скользящий под потолком кран, как обычно, медленно поднял крышку, как обычно загрели, ту же натянулись цепи, и крышка, которую направляли двое рабочих, пошла в сторону.

Высоко взвилось облако угольной пыли, из открытой камеры пахнуло нестерпимым жаром, дышать стало трудно, немоготу, рабочие отворачивались, закрыв лицо руками, кашляя и отплевываясь, отходили в сторону. И эта камера пришла в полную негодность: кирпичи разошлись, стены от высокого нагрева дугою вдались внутрь.

Когда первая волна жара схлынула и облако пыли осело, двое рабочих прыгнули в камеру, чтобы приготовить к подъему керамические трубы.

Эре стал на колени у края камеры и крикнул вниз одному из рабочих, худому угловатому парню с замкнутым, неприветливым лицом:

— Долго ты можешь выдержать при ста градусах?

— Два дня двадцать семь минут! — буркнул тот.

Другой рабочий возился с тяжелой железной заслонкой, которая должна была преградить дорогу жару. Обступившие камеру рабочие видели, как задымились его штаны, словно влажный платок, долго находившийся в сырости, а потом внесенный в теплую комнату.

Горячая волна обдала болезненно напряженное лицо Эре; но несмотря на пыль и жар, обжигавший глаза, он не отвернулся. Он еще раз крикнул в камеру:

— Так долго ты выдержишь при ста градусах?

Оба рабочие подвели под трубы петли троса мостового крана, им было не до разговоров. Один из рабочих, стоявший около Эре, ехидно заметил:

— Влезь сам, тогда узнаешь.

Подручный Кунцель, который тоже был здесь, проворчал:

— Смотри, не забудь ящик пива захватить! Пригодится!

Его слова были встречены дружным гоготом. По лицам рабочих было ясно, что они не на стороне Эре, и только когда пришел Фале, с ног до головы покрытый кирпичной пылью, Эре почувствовал себя уверенней. Они поздоровались; Эре пожал его крепкую заскорузлую руку, увидел его теплый, ободряющий взгляд, и у него самого стало тепло на сердце. Они постояли, поговорили, и в заключение Фале сказал:

— Если что понадобится, приходи. Подсоблю, чем могу. Сегодня утром, до начала работы, я собрал у себя в цеху всех членов СНМ, рассказал им о твоём предложении, объяснил, как важно, чтоб у тебя это вышло, и все со мной согласились: «Должно выйти! Где сможем, подсобим!»

И Фале пошел из цеха, тяжелый, кряжистый, и все в нем говорило о силе, об уверенности. И Эре тоже стал смелее, увереннее.

Из печи шел жар, все такой же нестерпимый. Эре сказал Кербелю, который с озлоблением передвигал ящики с шамотным раствором:

— Хорошо, что нам еще дня три-четыре придется провозиться с другими камерами. Когда открывают камеру, жара такая — не подступишься.

Кербель выпрямился, сунул руки в карманы, заглянул в камеру; по его спокойному, равнодушному лицу нельзя было понять, что он думает.

Бакханс, стоявший уже у той камеры, с которой должна была начаться работа, крикнул:

— Как там с материалом? Кирпича хватит? И огнеупорного тоже? Налегай на Фале, чтоб его молодняк в шамотном цеху не подкачал, пусть быстрее поворачиваются.

Эре ничего не ответил. Вместе с Кербелем он подошел к Бакхансу. Рейхельт, который уже выбрасывал со дна камеры кирпич за кирпичом, поднял голову. Он наморщил лоб.

— Эх, не знаю... Не влипнуть бы нам с этим делом... Кербель, все еще что-то обдумывая, спросил:

— А если не пойдет, если дольше провозимся... поработаем сверх запланированных десяти тысяч часов, заплатят нам за эту работу или нет?

Из группы обступивших их рабочих кто-то крикнул:

— Не бойся, мы в вашу пользу подписку объявим! Не помирать же семьям с голоду!

И опять все громко загоготали, и печники тоже рассмеялись, но нехотя, неуверенно.

Вальтер Венде, новый секретарь заводской партийной организации, приземистый сорокалетний мужчина с умным вдумчивым взглядом, взял домой все протоколы заседаний бюро и партийных собраний. За праздничные дни он хотел как следует с ними познакомиться. От Бока трудно было добиться толку: он бегал по комнате, то вздыхая, то возмущаясь, и время от времени раздражался грубыми ругательствами; потом швырнул протоколы на стол и сказал с насмешкой:

— Сам увидишь, товарищ Венде! И тебя тоже докажут. Один другого подсиживают, а уж на тебя все вместе ополчатся. Вот увидишь, туго придется.

Венде было противно слушать; молча взял он в руки протоколы и, так как Бок не прекращал ныть, спокойно сказал:

— Товарищ Бок, возможно, ты меня и не слушаешься, но все же я дам тебе добрый совет: подумай-ка хорошенько, не сам ли ты виноват, что не справился с работой. Сколько тебе лет? Тридцать семь? Человек ты еще молодой, иди куда-нибудь на производство, будешь в рабочей среде... там за станком, может быть, лучше, чем за письменным столом, разберешься, чего тебе в работе нехватает, в чем ты ошибался. Учиться никогда не поздно. Наша партия хочет тебя перевоспитать и перевоспитает, но ты должен понять, что тебе нельзя помочь, если ты сам себе не поможешь, не осознаешь своих ошибок.

Однако Бок только усмехнулся в ответ:

— На завод?.. За станок? Ну, если там узнают, откуда я, на какой работе я был... мне тогда жизни не будет. Нет, лучше уж я открою фруктовый ларек в Западном секторе.

Когда он ушел, Ирена Мальке растворила окно и вздохнула с облегчением.

— Господи боже мой, сама себе удивляюсь, как это я только выдерживала! — Она всей грудью вдохнула свежий прохладный воздух, вливавшийся в комнату, расмеялась и весело, словно вырвавшись на волю, сказала: — Ну и тип, ну и жалкий же обыватель!

Все праздники Венде просидел над протоколами, но они ему мало что дали. Почти все они были написаны в общих выражениях, так что нельзя было понять, чего, собственно, добивались выступавшие, а протоколы тех заседаний, на которых были приняты важные решения и из которых можно было бы почерпнуть нужные сведения, исчезли.

Сегодня утром Венде, придя на завод, поговорил с Иреной Мальке, а затем отправился в обжиговой цех.

Он подошел к первой камере и стал наблюдать за приготовлениями к работе бригады Ганса Эре. От угольной пыли саднило в груди, он зажмурил глаза. В 1945 году Советская Армия освободила его из концентрационного лагеря; еще немного и было бы поздно — из-за легких. Полугодовой отдых в Гарце и воля к жизни — не умереть, во что бы то ни стало выздороветь и работать! — спасли его. Он подлечился и целый год неплохо справлялся с работой секретаря партийного правления земли Мекленбург. Но затем здоровье его опять ухудшилось, и по настоянию врачей он ежегодно месяца на три уезжал в Гарц.

Сейчас он опять приступил к работе и надеялся выдержать шесть-семь месяцев. После беглого ознакомления с заводом он подумал, что его желание получить особенно трудный участок работы сбылось. Для Венде было совершенно ясно, что именно здесь, у кольцевой печи номер три, должно все решиться, что это огромное достижение должно стать поворотным пунктом от старого к новому, что дело здесь не только в ремонте печи, что это гораздо более серьезный вопрос. В нескольких шагах от него Эре учил подручных подготавливать материал. Венде слышал об этом активисте, доводившем иногда выработку до тысячи процентов прежней нормы. Он даже как-то присутствовал на заседании, когда Эре, заикаясь, нескладно, потев от смущения, говорил о своей работе.

Эре предполагал сперва собрать на одной стороне печи весь вывалившийся кирпич и мусор и, пока его будут убирать, возможно быстрыми темпами выложить шамотным кирпичом и зацементировать три другие стенки. Но это было не так просто, как с камерными крышками. Камеры были узкие, троем и то там тесно, а вокруг длинными рядами стояли керамические трубы, ящики с силистовыми стержнями, кучами лежала угольная пыль.

Венде внимательно слушал Ганса Эре; как бывший слесарь он оценил его короткие, точные указания, удивлялся, что все еще нет на месте материала — ни кирпичей, ни раствора. Подошли мастера из других цехов, один из них крикнул Эре: «Смотри, как бы твои камеры не завалились!» Мастера перешептывались, а когда появился Маштат, они обступили его. Эре не обращал ни на кого внимания, и мало-помалу они разошлись. Только мастер обжигового цеха Пустешейд не уходил, но когда Эре бросил ему под ноги лопату мусора, он выругался и тоже ушел.

Первую камеру быстро очистили, она уже несколько дней стояла открытой и потому выкладывать ее было не так уж тяжело. Венде видел всех четырех печников, потных, запыленных, с прищуренными глазами; каждый украдкой поглядывал, как спорится работа у других.

Рейхельт, который уже покончил со своей стенкой и теперь выбрасывал последние кирпичи, сердито сказал:

— Чорт, мне уже жарко становится. На стройке, по крайности, свежим воздухом дышишь. Вот придет весна, уйду, ей богу, уйду отсюда на свежий воздух!

Кербель засмеялся:

— Да разве это жарко!

Он снял куртку, засучил рукава рубахи, руки у него были мускулистые, жилистые. Бакханс ворчал что-то себе под нос; глаза его лихорадочно блестели. Он с силой ударял ломом по стенке, выбрасывал выбитые кирпичи, а наверху стояли женщины с тачками, они тут же подбিরали и увозили мусор.

Эре набрасывал схему расположения каналов. В каждой камере было шесть каналов, и каждый надо было проходить отдельно, потому что у каждого было свое назначение: по двум шел с обеих сторон газ, по другим двум — воздух, а по оставшимся двум — факел пламени; выложить каналы было особенно трудно потому, что

чуть ли не каждый кирпич надо было тесать и плотно подгонять к шаблону; кроме того, ходы надо было выкладывать перпендикулярно, по отвесу, поэтому выкладка требовала особого внимания и тщательности.

Набрасывая эскиз, Эре в то же время обдумывал процесс работы. Чтобы не было простоя, он решил взять на себя выкладку каналов на одной стенке, а Бакхансу поручить ту же работу на другой; на долю Кербеля и Рейхельта приходилась кладка стен камеры. Эре было досадно, что придется тесать много кирпичей, что шаблон слишком сложный.

Когда он принялся в общих чертах объяснять остальным процесс работы, они загоготали:

— Чего придумал! Что мы тебе — сапожники?.. Мы печники!

Но Эре не легко было вывести из себя. Достаточно он намучился с этим проектом, когда обсуждал его по вечерам дома с Катрин, когда защищал на заседании в дирекции и чуть не силой вырывал согласие у инженеров. Теперь он был спокоен, даже холоден. Только временами его мысли переносились к жене: «Что творится с Катрин? Ведь не будь меня, она бы и в партию не вступила! Не будь меня, кем бы она была?»

Но он отгонял эту мысль, словно назойливую муху.

Кербеля, очищавшего камеру от мусора, повидимому, все еще одолевали какие-то сомнения. Вдруг он разогнулся и, сердито глядя на Эре, сказал:

— Ганс, слушай... давай-ка договоримся, пока мы еще не взялись за работу, чтобы потом споров не было.

Эре с удивлением посмотрел на него. Первый раз на заводе его называли по имени.

— Ну, в чем дело, валяй! — ответил он.

— Платить всем будут одинаково?

Эре утвердительно кивнул головой.

— И тебе тоже?

Эре опять кивнул, а Бакханс ворчливо заметил:

— Тоже придумал! Ведь он не фабрикант!

— Оставь, дай ему сказать, — остановил Эре.

— Сколько мы получим за всю печь?

— Да ведь об этом уже говорили, — проворчал Бакханс.

— За печь заплатят из расчета десяти тысяч рабочих часов.

— А если мы в пять тысяч часов уложимся, за остальные заплатят?

— Заплатят!

Рейхельт, который тем временем что-то нацарапал на кирпиче, сказал с ехидством:

— Неплохо на нас теперешние господа наживаются. Матшат говорил, что прежде не меньше пятидесяти тысяч часов уходило.

По глазам скупого на слова Бакханса ясно было, что он ищет доводов, которые могли бы разубедить Рейхельта. Наконец, он сказал:

— Рейхельт, понимаешь... Двухлетний-то план, ведь это наш план!

— Наш план? — Задорное остроносое лицо Рейхельта скривилось в насмешливую гримасу. — Это двухлетний-то? — он расхохотался. — Знаем мы этот план — лестница без ступенек, вот это что!

Эре был попрежнему невозмутим, он внимательно посмотрел Кербелю в лицо и под насмешливой ухмылкой разглядел растерянность, недоверие.

— Ты о каких господах говоришь, какие это господа на нас наживаются? — спросил он Рейхельта.

Венде подошел поближе, вмешиваться в разговор он пока не хотел. Он видел, как Рейхельт махнул рукой в сторону заводоуправления.

— Карлин что ли? Или Вассерман? Или еще кто? — спросил Эре.

Но не успел Рейхельт открыть рот, как вступился Бакханс:

— Да ведь они тоже зарплату получают!

Рейхельт что-то проговорил сквозь зубы. Он яростно начал швырять шамотные кирпичи из камеры — только пыль летела столбом, — словно хотел укрыться в облаках этой пыли.

— Нет, ты скажи, о ком ты говоришь! — настаивал Эре.

Прижатый к стене Рейхельт сказал:

— Ну, о господах, что в дирекции сидят, да и о тех, что в правительстве, все они одного поля ягода.

Кербель молча, но внимательно следил за разговором. Бакханс заметил:

— Да они тоже только зарплату получают, те, что в правительстве.

— А еще кто, по-твоему? — не отставал Эре.

Рейхельт выругался и замолчал.

— Еще кто? — неожиданно заговорил Кербель. — Кто — не знаю, но кто-то, а может быть, и многие на нас определенно наживаются. Так всегда было, так и останется.

— Так и останется? Да ты разуй глаза да погляди! Ведь ты парень умный. По-твоему, чей теперь завод, наш или нет?

— Наш? Ни одного кирпича тут нашего нет! Моего, по крайней мере, — усмехнулся Рейхельт. — Если бы завод наш был, мы бы в конце года получали прибыль.

А Кербель сказал:

— Это я-то умный парень? Может, оно и так. Вот вы меня убеждаете, хотите убедить, будто завод наш... Не знаю, как вам, а мне завод не принадлежит.

Никто не заметил, что Венде подошел ближе. Он неожиданно вырос у края камеры. Он приветливо, чуть насмешливо улыбался.

— Интересный вопрос! — сказал он. — Несомненно, очень интересный. Так как же, приятель, ты себе представляешь... Как тебя звать? Кербель? Ну, так вот, Кербель, как ты себе представляешь, кому принадлежит завод, кто им распоряжается, кто руководит?

Все смутились. Эре тоже был недоволен вмешательством Венде. Он по опыту знал, что рабочие обычно прекращают спор, как только подойдет посторонний. Слишком въелась в них со времен фашизма недоверчивость, страх, сознание, что надо таиться.

Венде рассмеялся.

— Извините, я вмешался в ваш разговор, а вы даже не знаете, кто я. Можете потом критиковать меня сколько угодно. Только знаете что, потерпите малость, так с четверть часика, идет, а? Так вот, я новый секретарь парторганизации. Зовут меня Венде. Вальтер Венде. Можете называть как угодно: товарищ Вальтер или товарищ Венде, как больше нравится.

— Этот мягко стелет, — сказал Рейхельт Кербелю; не шепнул, а сказал громко, так что Венде его тоже слышал.

— Мягко стелю? — засмеялся Венде. И, не боясь запачкать костюм, присел на край камеры; так ему лучше были видны лица печников.

Рейхельт опять взялся за лопату. Кербель выламывал последние кирпичи. Только Эре, крепко пожавший Венде руку, сел с ним рядом. Венде попросил его изложить план работы над печью, и чем больше он вникал в суть дела, тем непонятнее казалось ему, почему почти никто не поддержал Эре, не одобрил его проекта. Он еще не во всем разобрался, но когда Эре упомянул о Матшате, он тихонько спросил:

— Это мастер?

Эре кивнул. Венде опять спросил:

— Ну, и что он за человек?

— Член СЕПГ, старый специалист, уже двадцать лет на заводе работает.

Ответ не удовлетворил Венде.

— Ну, а член партии он хороший?

Эре подумал: «Может быть, я навел его на след? Не надо бы мне его с самого начала смущать» — и исторопливо ответил:

— Бок говорил, что партийный работник он неплохой. Аккуратно собирает членские взносы, почти единственный распродает все газеты и журналы.

Венде задумался. Он чувствовал, что задыхается в спертom, насыщенном угольной пылью воздухе.

— Производство-то у вас вредное для здоровья! — сочувственно сказал он.

— Вот это же самое и Матшат говорит, — сердито буркнул Эре.

— Так или иначе, надо каждую неделю показываться врачу.

Венде встал, стряхнул угольную пыль с брюк, протерся и отошел. Эре опять прыгнул в камеру. Но не успел он приняться за работу, как его окликнул Венде.

— Товарищ Эре, минутку: Матшат был против проекта?

Бакханс проворчал:

— Он вечно против. Вот Ганс крышку сделал, и это тоже пришлось ему не по нутру.

Венде размышлял: положение сложнее, чем он предполагал. Все неясно. Эре чего-то, видимо, не договаривает; это, конечно, не искреннее его мнение о Матшате. Очень неясно! Партийная организация... да, здесь тоже самые разные люди; каждый по-своему дельный, но,

видно, не доросли еще до стоящих перед ними новых задач. Н-да, тяжелое, очень тяжелое положение!

Он вдруг спросил, обращаясь ко всем:

— Как думаете, с печью справитесь?

Эре с надеждой посмотрел на товарищей. Бакханс просто кивнул головой. Кербель промолчал, казалось, он и не замечает секретаря. Только Рейхельт выпалил:

— А это смотря по тому, как заплатят. Меня насчет народного достояния и прочего там... двухлетнего плана... на удочку не поймает. Дураков нет!

— Так-так-так! — весело хмыкнул Венде. Парень ему понравился. Редко кто не боялся говорить так откровенно.

— Чего зубы скалишь! — огрызнулся Рейхельт. — Завод, говоришь, мой? Ну так я тебе скажу, я этого что-то не замечаю. Мне бы только деньгу зашибить, а на остальное плевать!

Венде откровенно расхохотался. Глаза его светились добродушной насмешкой.

— Как бы деньгу зашибить... — передразнил он Рейхельта, а затем сказал уже спокойнее: — Ну, что ж, это неплохо. Ты всегда так думал?

— Я-то? Мне только... чтоб жрать было да денег побольше!

— Ты член профсоюза?

— Отстань от меня, — огрызнулся Рейхельт, сбитый с толку, — отстань! Мне работать надо.

Венде опять присел на край камеры, посмотрел на грязные лица, на пыльные, заскорузлые руки. Он уже не смеялся. Он спросил Рейхельта:

— Будем серьезно разговаривать или пререкаться?

— Отстань! Я только с рабочими разговариваю.

— Я слесарь, — спокойно сказал Венде, и в глазах его опять промелькнул насмешливый огонек. — Но сейчас не это важно. Я вот только что слышал ваш разговор. Ты говоришь, завод тебе не принадлежит. Лично тебе, конечно, нет, ты не можешь его продать, не можешь стричь купоны, потому что он принадлежит нам, понимаешь? Всем нам! Нам принадлежат еще многие другие заводы, а ты спрашиваешь: какая мне от этого выгода? Прекрасно! Ведь вы здесь такую работу делаете, которая должна дать сотни тысяч экономии, а ты спрашиваешь, и Кербель тоже, может быть, спрашивает: «Какая мне от этого выгода?»

Карман у меня от этого не толще!» Не будем говорить, что это неверно. И карман у тебя от этого толще и еда лучше, но я хочу указать тебе на другое. Вы работаете не только на экспорт,— на здешней продукции это не так видно. Возьмем другую отрасль промышленности. В нашей республике есть завод, тоже принадлежащий нам — то есть народу, — на котором изготавливаются термометры. Ты об этом знаешь? У нас, так сказать, на термометры мировая монополия. Прекрасно! Итак, завод принадлежит всем нам. Допустим на минуту, что он принадлежит только тем рабочим, которые на нем работают — такое, скажем, товарищество. И все деньги, поступающие к ним из-за границы, они делят между собой. Ведь нелепо, а? Действительно нелепо, сколько бы они всего накупили... я о рабочих с того завода говорю... сколько бы они накупили на иностранную валюту, которую получили бы за свою продукцию. И сала и сахару... господи боже мой... и представить себе трудно, сколько бы у них всего было! А у тебя что?.. Тебе — шиш с маслом! Ты ведь печник, за твою работу валютой не платят; они будут как сыр в масле кататься, а ты будешь стоять и глазеть, как они сало в три горла жрут, с жиру лопаются. Хорошо? Очень хорошо, отлично!

У Рейхельта было такое лицо, словно ему на голову вылили ушат холодной воды. Венде встал и, не говоря ни слова, направился к выходу. За своей спиной он услышал громкий смех Кербеля.

— Вот тебе нос и утерли! Здорово утерли! — гоготал он.

— Э, все это брехня... одна брехня, — проворчал Рейхельт и с яростью принялся выбрасывать из камеры кирпичи.

Как-то вечером зашел Карл, и братья без долгих разговоров собрались и ушли. И на лестнице они еще слышали сердитую воркотню матери:

— Вот всегда так! Только бы из дому вон, а старики-родители пусть одни сидят... Точно нельзя с ними побыть!

Они рассмеялись, переглянулись, и каждый прочел в глазах другого то же теплое братское чувство. Карл был намного выше Андреаса, худее его и в общем производил

впечатление непомерно длинного, тощего парня; казалось, вот-вот услышишь, как стучат друг о друга его кости. Кожа на несколько выпуклом лбу и на щеках была тонкая, красная, вся в шрамах. Во время войны он служил танкистом и в первом же бою в Восточной Пруссии в его машину угодил снаряд. Танк загорелся, и Карл не помнил, как оттуда выбрался.

Над поселком навис серый декабрьский вечер, сырой и туманный; правда, не холодный, но зато такой унылый! Березки в палисадниках зачахли от рудничных испарений и напоминали полусгнившие червивые грибы. Чем ближе подходили братья к заводу, мимо которого лежал их путь в город, тем безрадостней становилось на душе от низко нависшего над крышами неба, от хмурого вечера, грязной слякоти на улицах, тусклого желтого света в окнах.

Они говорили о том о сем, о своих стариках, о матери, которая вбила себе в голову, что разбогатеет, выиграв в футбольный тотализатор, но Андреас чувствовал, что брат увел его из дому не для этих разговоров, и потому настороженно замкнулся.

Их шаги одиноко отзывались в темноте, вдруг Карл спросил:

— Так, значит, ты сам по себе приехал, тебя не прислали?

— Прислали? Кто же? — Теперь Андреас понял, что именно это Карлу нужно было знать.

— Ты приехал оттуда, как раз сейчас, когда здесь чорт знает, что творится.

— Да ведь мать же писала, чтоб я приехал, сам знаешь. — Андреас усмехнулся, но не мог скрыть смущение. Карл опять заговорил:

— Сегодня мне тут один человек сказал: «За каждым, кто оттуда приезжает, следить надо».

— Кто сказал?

— Может быть, они уже знают, что ты здесь.

— Кто знает?

— Полиция!

— Господи боже мой! — воскликнул Андреас. — Я ведь политикой не занимаюсь, я художник. Я приехал домой, на родину, здесь живут мои старики, ты — все вы!

Карл молча шагал. Казалось, Андреасу не угнаться за ним, таким длинноногим. Они завернули за угол, подошли ближе к заводу, и Андреас увидел, что натворила здесь бомбежка. Сплошь воронки! Те, что засыпаны отходами породы, поросли кустарником и травой — сейчас серой, вялой и поникшей. Чуть подальше к северу лежал рабочий поселок сталелитейного завода, он выглядел так, словно какой-то великан пришиб его своим увесистым кулаком. Кое-где в развалинах мерцали тусклые огоньки, и хотя они не двигались, чудилось, будто это призрачные огни блуждают над развалинами и воронками.

Молчание угнетало Андреаса.

— Мы в город идем? — спросил он.

Карл, казалось, не слышал. Дорога извивалась среди развалин. Андреас видел, что люди ютятся в уцелевших подвалах, что к огонькам, словно жилы, тянутся тропки. Вдруг Карл спросил:

— Ты приехал нелегально или с межзональным паспортом?

— Ну, конечно, нелегально!

— А межзональных паспортов не дают?

— Дают... но... — Андреас прикусил язык.

Они дошли до каменной ограды, широкой дугой огивавшей завод. Темнокрасное кирпичное здание конторы, огромные бетонные сооружения по всему участку, филигранная сеть проводов — все было цело. Вид завода в общем не напоминал о войне, хотя в него тоже попало несколько бомб. Из сталеплавильных печей вырывались оранжевые снопы искр; в воздухе стоял оглушительный шум, — грохот молотов, шипение, глухой гул.

Андреас спросил:

— Вы будете бастовать, если завод демонтируют?

— Завод не демонтируют! — Голос Карла звучал холодно.

— Не демонтируют? Ну, — тогда все в порядке!

— Все в порядке? — Карл горько усмехнулся. — Я тоже так думал! Думал: слава богу, значит, будет работа. Но потом... словом, потом мне сказал один человек — я его хорошо знаю, из нашего заводского совета: «Сдается мне, что это неспроста!» И вид у него был озабоченный.

Из-за угла упали две тени, две тени в шлемах на голове; они удлинились, вытянулись, затем расплылись,

и навстречу шагнули два полицейских; поровнявшись с братьями, они впились в них подозрительным взглядом.

Карл шепнул:

— Вся территория завода сейчас под строгой охраной.

— Под охраной? А почему?

Патруль повернул обратно, следом за ними, обогнал их, и опять они почувствовали на себе пытливые взгляды. Потом патруль скрылся за углом. Они слышали удаляющиеся шаги. Когда они дошли до угла, раздался громкий окрик: «Стой! Ни с места!» По мостовой застучали быстрые шаги, и два парня в коротких куртках помчались по развороченному полю прочь от завода, нырнули в воронку от снаряда, опять выскочили; следом за ними гнались полицейские. Подойдя к ограде, братья увидели на красной кирпичной стене выведенные белой краской три крупные буквы «Тот»...

Полицейские все еще бежали по полю, хотя оба парня уже скрылись из виду. В тусклом свете, который шел из подвалов, превращенных в жилье, вырисовывались темные силуэты: это обитатели развалин глядели вслед полицейским; и Андреас, у которого громко колотилось сердце, увидел как два-три подростка наклонились, что-то подняли с земли — по всей вероятности, камни, и пустили их вдогонку полицейским, а потом шмыгнули обратно, как мыши в норы.

Карл стоял перед оградой, он что-то бормотал себе под нос, разглядывая буквы.

Андреас спросил:

— Ты что?

— Так... ничего... — Он нагнулся, пошарил рукой по земле; у самой стены в кустах нашел то, что искал.

Андреас видел, как он вытащил горшочек с белой краской и кисть, перемешал краску, еще раз с опаской огляделся и начал водить кистью по стене.

Андреас забеспокоился:

— Что ты делаешь? Зачем это?

Карл рассмеялся, не отвечая дописал он слово «Тотту» неуклюжими, крупными каракулями.

— Слушай, — ткнул его в бок Андреас, — а что, если они вернуться!

Карл продолжал свое. Закончив писать, он сказал:

— Постой, ведь ты же художник! — он все еще

посмеивался, горько, пожалуй, даже озлобленно. Его покрытое шрамами красное лицо было возбуждено. — Ну же, ну, — зашептал он, — бери кисть, пиши, вот это дело будет, пиши! — И он сунул Андреасу в руки горшочек с краской и потянул его за собой.

Из-за батареи бутылок и стаканов, выстроившихся на стойке, Андреас наблюдал за человеком, уже несколько минут не дававшим ему покоя. Он думал: «Что с ним? Что такое он делает?» Карл, поймав его вопрошающий взгляд, откровенно ухмыльнулся. А человек со слюнявым ртом нагнулся к своей собачонке, выхоленной, но тощей и уродливой, привязанной к ножке табурета у стойки; погладил ее и прохрипел: «Ну, ну... Большхен... ну...» Собачонка отодвинулась, взвизгнула, а человек как-то особенно выжидательно гмыкнул. Хрящеватый нос, большой рот с тонкими, слабо очерченными губами, под тяжелыми веками водянистые голубые глаза, одет хорошо, на пальцах массивные кольца; может быть, прилично зарабатывающий мастер, а может быть, и ловко обдeldывающий темные делишки респектабельный мошенник.

Андреас слышал, как Карл спросил официантку, рослую, но бледную и болезненную на вид девушку:

— Как, ты работаешь официанткой?

И Андреас позабыл о собачонке и ее хозяине.

Девушка громко рассмеялась; в большом зеркале напротив Андреасу было видно, что она зажмурила глаза, словно от боли.

— Ты уехал, вестей от тебя никаких не было, вот я и вышла замуж. Ах, да теперь все равно!

— А сюда как ты попала?

Казалось, Карл совершенно спокоен, даже равнодушен, только пальцы его нервно дергались.

Девушка горько усмехнулась, досадливо махнула рукой. Песик франта с хрящеватым носом громко заскулил, и хотя в маленькой насквозь прокуренной комнате дребезжал патефон и визгливо смеялись женщины, все испуганно оглянулись в его сторону. За одним столиком трое мужчин играли в кости, они тоже поглядели на песика и громко загоготали, когда хозяин больно ущипнул его своими цепкими крючковатыми пальцами. Собачонка твякнула. Хозяин выпрямился и захохотал; даже после

того как собака перестала скулить, в комнате все еще слышался его смех: наглый, резкий, будто камень громы-хал по листу железа.

Совершенно неожиданно хозяин собачонки обратился к Карлу:

— Ты с завода, приятель?

Карл молча кивнул, и Андреас увидел, что брат собирается уходить. Но тот, что с собачонкой, заказал три стаканчика водки, официантке он гаденько подмигнул и угостил ее ликером; они чокнулись, и все трое выпили. Тут только Андреас заметил, что хозяин песика пьян, хотя взгляд у него холодный и какой-то высматривающий, словно он что-то ищет. Елейным голосом принялся он рассказывать о своей собачонке. И вдруг Андреас почувствовал на себе упорный взгляд человека, сидевшего за соседним столиком.

— Эта такая собачка, такая собачка, другой такой и не сыщешь,— говорил франт,— она у нас как член семьи.

У человека, внимание которого привлек Андреас, было костлявое скуластое лицо, с жестким, плотно сжатым ртом и массивным подбородком профессионального боксера. Одному из играющих в кости, с правильным, но тупым лицом, было лет двадцать или немного больше; по его выправке можно было подумать, что он только вчера снял мундир — серый, коричневый, а может быть, и черный. Время от времени все трое игроков посматривали на мужчину с подбородком боксера, но тот, казалось, не обращал на них внимания.

Братья Андрицкие выпили водку, стакан официантки тоже был пуст. Хозяин собачки опять угостил их, они выпили, и официантка, не дожидаясь заказа, в третий раз наполнила стаканы. Франт с хрящеватым носом вкрадчиво спросил Карла:

— Ты на заводе кем?

— Слесарем, — угрюмо отозвался Карл; одним глазом он все время следил за тремя игроками.

— Ну, за твое здоровье, — сказал угощавший, выпил и устался в пустой стакан; потом взял собачку на колени. Она испуганно сжалась, боязливо глядя в глаза зашмелевшему хозяину, и, хотя тот ее не трогал, жалобно заскулила. Хозяин ухмыльнулся, погладил песика и зашептал:

— Ну, ну, Большхен... чего испугался, чего ты, Большхен, испугался? — и, продолжая гаденько ухмыляться, спросил: — Повезло вам, а?

Карл вопросительно посмотрел на него. Осунувшееся безбровое лицо Карла, испещренное шрамами, было спокойно, но Андреас заметил, какое напряженное внимание таилось в его равнодушном взгляде.

— Завод оставляют, — сказал угощавший их человек. — Демонтировать не будут. Это моих рук дело, наших рук дело, — хвастливо прибавил он, явно разгоряченный вином. Карл промолчал. Андреас тоже. Тогда тот заказал еще водки. Опять выпили. Он снова начал: — Ты меня разве не знаешь, а, приятель? — И совсем захмелев, самодовольно усмехаясь, сказал: — Да я же один из отцов города, да, один из отцов города! Не знаешь меня, а? Ну, так теперь узнаешь. Кое-кто меня уже узнал! Когда я был во Франции, ко мне приходит солдат и говорит: «Господин оберфельдфебель, — это он мне говорит, — французы, говорит, упираются, не хотят вина давать». Не хотят! — так и сказал. Франк-то при оккупации ничего не стоил... Ну так они узнали меня, какой я есть!

На Карла рассказ как будто не произвел никакого впечатления, но в его глазах что-то затаилось, Андреас не знал еще наверняка, что это: может быть, омерзение, а может быть, и ненависть. За столиком игроков в кости раздался взрыв хохота. Отец города крепко прижал к груди собачонку. Андреас не сводил глаз с его правой руки. Рука широкая, но не рабочая, пальцы узловатые, костлявые. И вдруг он ухватил голую, как облезлая крыса, собачонку за кожу и ушипнул. Жалобный визг потонул в гоготе игроков и в самодовольном, визгливом смехе хозяина.

— Большхен... Большхен... — приговаривал он сквозь дребезжащий смех, постепенно разжимая пальцы. Когда песик успокоился, он сказал Карлу: — Тем, что завод не демонтируют, вы обязаны только нам, да! — И так как Карл ничего не ответил, он опять стал выпрашивать: — Служил в армии?

Карл молчал.

Официантка от столика игроков опять подошла к стойке; Андреас поймал ее предостерегающий взгляд, но Карл казался попрежнему равнодушным. Когда член

муниципального совета нагнулся, чтоб спустить собачонку на пол, официантка быстро шепнула:

— Уходите пока не поздно. — Карл вытащил кошелек, хотел расплатиться; она отвела его руку и шепнула еще настойчивей: — Уходите же...

По ее глазам Андреас понял, что она все еще не забыла Карла.

Член муниципалитета поднялся, от выпитой водки глаза его налились кровью, лицо побагровело.

— Мы ведь это вам помогаем, вам! Вот демонтировали бы завод, как раньше было решено, что тогда? Ну, что бы тогда было? Послушались бы коммунистов, объявили бы стачку, а дальше что? Дальше что? Теперь вы спасены. Завод будет работать, увеличит продукцию, и скоро... — Он вдруг прервал свою речь, а потом, заметив внимательный взгляд обоих братьев, снова заговорил: — Мы опять им нужны! Мы всегда это говорили! Мы опять нужны, без нас они не обойдутся! Потому и завод не демонтируют!

Он нагнулся к собачонке, пнул ее ногой в бок; она, визжа, заползла под табурет.

— Оставьте в покое собаку! — крикнул вдруг побледневший Карл; лицо официантки исказилось от страха.

Член муниципалитета проскрипел:

— Большхен, — и хотя собачонка залезла под табурет, он все же пнул ее ногой. Потом обратился к Андреасу: — Скажите на милость, откуда опять напозли к нам эти собачонки, наши «большхен»? Кажется, мы с ними расправились. Кажется, им уж давно капут — и вдруг опять! Только пусть не беспокоятся, придет время, пнем ногой — и к чорту!

У Карла на лбу выступили капли пота. Официантка смотрела на него широко открытыми глазами, ее взгляд предостерегал его. Три игрока так громко заржали, что на стойке зазвенели стаканы и бутылки. Один из них, мордастый, как мясник, в чем-то убеждал того, что помоложе. Тот неуверенно покачал головой, и Андреас заметил, как они взглянули на человека с массивным, выдвинутым вперед подбородком, — мордастый вопросительно, с упреком, другой — смущенно, робко. Человек с массивным подбородком прищурился, обвел холодным взглядом бар, и глаза его остановились на Карле.

Член муниципалитета что-то прохрипел и нагнулся к собачонке, но тут Карл схватил его за руку и сказал: — Оставьте вы собачонку в покое или нет?

Отец города встал, с недоумением взглянул на Карла. Андреас увидел, что человек с массивным подбородком многозначительно посмотрел на трех игроков. Один из них поднялся, минутку помедлил, словно нетвердо держась на ногах, потом под властным взглядом человека с массивным подбородком направился к Карлу. Кажется, он все еще нетвердо держится на ногах, когда, подойдя к Карлу, он сказал с растерянной, но злой усмешкой: «Чего спать не идешь»? Карл отвернулся, а тот, хотя вид у него все еще был какой-то растерянный, хватил его кулаком по затылку. Карл зашатался. За столиком игроков раздался хохот. Карл с удивлением посмотрел на парня, сказал: «Послушайте...» — Тот, ни слова не говоря, дал ему в зубы, но тут парня повалил на пол Андреас. Свет погас. Стаканы со звоном попадали на пол. Карл швырнул стулом в нападающих. Андреас почувствовал, что кто-то обхватил его сзади за шею, он высвободился и бросил напавшего на него отца города в общую кучу. Потом кто-то потянул Андреаса к двери, и вместе с братом он побежал... Вниз по лестнице, за угол... За спиной они слышали шаги, но потом все стихло.

Молча шли они по тихим улицам уснувшего города, и только когда вдали на темном небе выступил в красном отсвете псечей силуэт завода, Карл сказал:

— Этого издевательства над собакой я не смог выдержать!

— Что это он за кличку придумал — «Большхен», что это значит?

Карл молча горько усмехнулся.

— Верно, Большевик, а?

Карл казался измученным, ему, должно быть, здорово досталось. Он взял брата под руку, точно хотел опереться на него. Они шли к заводу мимо той стены, на которой намалевали: «Tommy go home». Молча миновали они завод и, только уже свернув на дорогу в рабочий поселок, Андреас спросил:

— Что это за типы были?

— Сам слышал, — отозвался Карл и прибавил пре-

зрительно: — Член муниципального совета, бывший фельдфебель, он себе в мирное время дела не находит, а остальные — и тот мордастый тоже — содержатели притонов, спекулянты с черной биржи. Нет, что-то здесь все-таки не так, не знаю, но что-то здесь еще есть. Вот тот, который за столом один сидел, такая эсэсовская рожа, он нагнал на меня страху. Что-то за всем этим кроется, но что — я пока не разберу.

Дойдя до родительского дома, Андреас хотел распрощаться, но Карл задержал его. Тихо спросил:

— Послушай, Андреас, только один вопрос: почему ты уехал оттуда? Ты ведь здесь остаешься, а?

— Не знаю, — неуверенно ответил Андреас. В кухне еще был свет. В спальне стариков тоже горела лампа. Он предложил: — Зайдем, посидим немного!

Карл покачал головой, потом сказал:

— Не пойми меня превратно: я не из любопытства. Это твое личное дело. Но если я тебе кое-что объясню, ты, может быть, поймешь, почему я спрашиваю. Видишь ли, все эти послевоенные годы я задавал себе вопрос: чего ради я рисковал жизнью? Только этот один вопрос. Чего ради мы воевали? И вот как-то пришел тут один человек и сказал мне... — словом, он все мне растолковал, и его объяснение меня убедило. Я поступил на завод, и вот наш завод, завод, где мы работаем, решили демонтировать. Конечно, может быть, это и справедливо, мы всюду вели себя как вандалы. Но ведь можно же задать и такой вопрос: кому достанутся демонтированные заводы? Так вот мы пришли к убеждению, что те, кому достанутся эти заводы, — ами и англичане, — так они только для того и демонтируют, чтоб нас прикончить, значит, против этого надо бороться. И вдруг три дня тому назад объявляют: демонтаж отменяется. Почему? Что случилось? Почему они вдруг оставляют нам заводы, которые вчера еще казались им опасными, так как это военные заводы? Ну, ясно почему. Потому, что они хотят вооружить немцев и вооружить для своих целей, другого объяснения быть не может. Один товарищ по работе, тот самый, который разъяснил мне, ради чего мы воевали, потом меня спросил: кому нужна новая война? Против кого собираемся мы вооружаться? Против русских? Ну, так то же самое и Адольф говорил. Какой же отсюда вывод?

— Для меня все это слишком сложно, — ответил Андреас. — Пойдем в дом. Мать, верно, оставила нам кофе, может быть, есть и картошка, поужинаем вместе.

Но брат не трогался с места. Он сказал:

— Подожди! Послушай, что я тебе скажу: я вступил в коммунистическую партию. — Он вопросительно посмотрел на Андреаса. Но Андреас молчал. — Ты думаешь, я не прав?

Андреас пожал плечами. Он взял брата за руку и спокойно ответил:

— Видишь ли, всякий должен поступать так, как считает нужным. Ты матери говорил? Нет? Ну, да это и не важно. Пойдем в дом.

Карл не стал возражать и пошел за Андреасом. Коллеблющийся отсвет сталеплавильных печей отражался в его глазах. Он сказал:

— Теперь ты понимаешь, почему я спросил, зачем ты сюда приехал? Всякие люди приезжают оттуда. Одни говорят, что спасаются от террора, это по большей части те, у которых отняли фабрики и землю. Их мне не жалко, даже напротив. Другие — что сбежали от голода. Должно быть, не хотели работать. А другие, верно, на чем-нибудь уголовном попались, они и здесь такими же делами будут заниматься. Ну, а вот почему ты приехал... Ведь ты же ни к одной из этих категорий не принадлежишь.

— За мной никаких преступлений не числится, — сказал Андреас, но ответ его звучал как-то неубедительно, и Карл, глядя на него, встревожился: почему он не говорит все начистоту? Андреас взял его за руку, и вместе они пошли через палисадник к дому. — За мной никаких преступлений не числится, — повторил он, — и никто меня не обидел. Как-нибудь на досуге я тебе все расскажу.

Они постучали в дверь, мать отворила и, пристально взглядываясь в лицо Андреаса, сказала:

— Поздненько явились!

— Да ведь вы тоже еще не легли, — засмеялся Карл, а Андреас прибавил:

— Мы оба проголодались.

Старуха прошла в кухню, ненадолго задержалась в дверях, затем пропустила вперед Андреаса. На миг он зажмурился от света, потом беззвучно, едва ворочая языком, прошептал:

— Зуза, господи, Зуза, ты как сюда попала?

Она стояла, опершись рукой о стол, и ее светлые глаза на свежем добром лице светились лаской. Андреас медленно подошел к ней, он видел только ее ласковую улыбку; он не заметил отца, который сидел на диване и хитро посмеивался.

Матшату, с его места за конторкой, где он занимался ежедневной проверкой табеля, виден был весь цех и кольцевая печь тоже. Его пористое лицо с мясистым носом заметно изменилось; с беспокойством и тайной тревогой он внимательно следил за тем, что происходит около печи. Подручные принялись за новую камеру; из печи вылетал кирпич за кирпичом, куча мусора вокруг росла; и время от времени сквозь облако пыли было видно, как из другой камеры выбирался то один, то другой печник — Бакханс, Кербель или Рейхельт, — переводил дух, большим платком вытирал лицо, голую грудь, подмышками и снова лез в камеру. Первая камера была готова, и Матшат, быстро подсчитавший затраченные на ее восстановление часы, мысленно выругался.

Тихонечко вышел он из цеха во двор, на дождь. Повстречав Кунцеля, спросил:

— Откуда кирпичи берешь для печи?

Кунцель подвел его к сложенным штабелями шамотным кирпичам, прикрытым от дождя и снега досками. Матшат сердито буркнул:

— Эти кирпичи мне для другого дела понадобятся. Их брать нельзя. — Он повел его за цех к куче тяжелых отсыревших кирпичей: — Вот эти бери! Сухие для печи не годятся, понял?

Кунцель хихикнул с понимающим видом и принялся грузить тачку мокрым кирпичом.

— А я уже думал, они тебя оттерли, — сказал он.

Матшат что-то пробормотал. Кунцель нагрузил полную тачку и уже собрался везти ее в цех, но Матшат остановил его:

— Приходи сегодня вечером в пивную!

Кунцель поднял голову:

— Куда всегда ходим?

Матшат сердито кивнул.

— Опрокинем, значит, стаканчик?

Матшат сжал в карманах кулаки, до боли впился ногтями в ладони. Кунцель покати́л гроыхающую тачку в цех. Но Матшат туда не пошел, он направился к Дому культуры. Небо прояснело, к полудню сквозь серую пелену выглянуло мутное солнце, холодный промозглый туман понемногу рассеялся.

Матшат провел некоторое время на лесах, посмотрел, как работают два каменщика, которые по его указанию выкладывали гнезда для железных балок. Поговорил с ними — о погоде, о праздниках, о работе, потом угостил папиросами и только тогда вернулся в цех.

Там он остановился за столбом недалеко от камеры. Первую, уже отремонтированную камеру загружали шамотными и простыми кирпичами различной величины. Матшат подошел к Пустешейду, наблюдавшему за работой; спросил шопотом:

— Выдержит?

Пустешейд, худой, словно засушенный человек, с большими, близко посаженными глазами, быстро взглянул на него.

— Эта не завалится! — прошипел он.

Матшат стал следить за Эре, работавшим в камере. Печники в пыли, в нестерпимой духоте, укладывали кирпич за кирпичом. Эре стоял у левой стены, пот лил с него градом, и все же он работал, как машина, выкладывал газовые и воздушные каналы. А напротив него, у противоположной стены, занимался внутренней облицовкой ходов Бакханс; он то и дело косился на Эре, упорство которого и злило и обескураживало его. Гладкие стены облицовывали Кербель и Рейхельт. Матшат слышал ворчание Рейхельта: «Эй, Эре, стой! Посмотри, как ты кладешь! Разве это работа!»

На стройках Рейхельт привык аккуратно укладывать кирпич к кирпичу, чтоб все кирпичи были чистые, чтоб все швы были пригнаны, хорошо зацементированы, сглажены; он считался образцовым каменщиком и гордился этим. Хотя он был еще молод, работал он быстро и умело, и самолюбие не позволяло ему ударить лицом в грязь и теперь, при кладке печей. А шамотный раствор был жидок, стекал по кирпичам и, укладывая верхние ряды, Рейхельт то и дело сглаживал швы мокрой кистью.

Но Эре было не до него. Матшат невольно залюбовался ловкими, складными движениями Ганса Эре.

Прежде чем начать новый ряд, он каждый раз тесал кирпичи, как требовалось, а потом уже укладывал их по порядку.

Рейхельт ругался, но не желал отставать от Эре и работал теми же темпами.

Подручные, среди которых был и Кунцель, убрали мусор, подносили кирпич. Матшат не торопясь подошел к печи, стал на край камеры и заглянул вниз к печникам; с тех пот лил градом, рубашки были мокрые, хоть выжми.

Заметив Матшата, Кунцель крикнул в камеру:

— А ну, Эре, кончай! За тобой не угонишься!

Но печники не обращали на него внимания; кирпичи глухо стучали, ряд за рядом ложились кирпичи, и Кунцель, многозначительно посмотрев на Матшата, опять крикнул вниз в камеру:

— Эй, Эре... чортов живодер,— затем крикнул громче, чтобы всем было слышно: — Хватит, я тебе не лошадь, чтоб так работать!

Матшат как будто не обратил никакого внимания на его слова. Подошли женщины с тачками, доверху нагруженными кирпичом.

Матшат сказал:

— Вот это называется с одного вола семь шкур драть!

Женщины загалдели; все сразу напустились на Матшата. Кунцель заорал:

— Взбучку этому Эре надо дать хорошую!

Матшат, словно защищаясь, поднял руки и крикнул в камеру:

— Эй, Эре, оглох, что ли?

Эре поднял голову, посмотрел вверх; выбившиеся из-под шапки серые косицы волос, перепачканные раствором, прилипли ко лбу; соленый грязный пот струйками сбегал по лицу, попадал в рот, капал с подбородка на грудь; но темные глаза Эре глядели спокойно. Не отрываясь от работы, он крикнул:

— Что случилось?

Кербель, который вообще терпеть не мог Матшата, набрал полную лопату мусора и швырнул ему под самые ноги. Он сказал Эре:

— Чего ему надо? Незачем ему сюда свой нос совать!

— У меня эти мастера в печенках сидят! — крикнул Рейхельт. — Из-за них только продукция удорожается. Шляются по всему цеху и ни черта не делают. На нас выезжают!

Потный, красный от напряжения и жары Бакханс сердито проворчал:

— Гони его к чортовой матери!

Матшат прыгнул в камеру, взял лопатку и ковырнул швы между кирпичами в газовом канале.

— Велики... слишком велики, — сказал он, с явным желанием придраться, — надо аккуратней работать.

— А ну, убирайся отсюда... да поскорей! — крикнул на него Бакханс, так выкатив глаза, что стали видны красные жилки на желтоватом белке, и горькая усмешка скривила его бледные губы: — Сначала ходит, против нас народ мутит, не нравится, что мы печь ремонтировать вызвались, а теперь брюзжит, что не так работаем.

Матшат быстро выбрался из камеры. Эре вылез вслед за ним; остановившись перед Матшатом, он вытер пыль, залепившую глаза, и спокойно спросил:

— Ну, в чем дело?

Двери были открыты, и по всему цеху гулял ветер. Ганса Эре, на котором была только рубашка, пробирал холод. Он пошел за курткой, оставшейся на козлах, но не нашел ее.

— Что за чорт, — выругался он, — куда она запропастилась? Так и помереть недолго!

— А мы как? То и дело из тепла да на улицу, а потом обратно в тепло! — огрызнулась одна из женщин.

Кунцель крикнул:

— Ты бы шубу с собой захватил!

А Матшат сказал ворчавшей женщине:

— погоди! Я положу этому конец. — И, обращаясь к Эре, заорал: — Вот что, я запрещаю тебе так обращаться с людьми! Нельзя с них семь шкур драть. Такой гонки никто не выдержит!

Бакханс крикнул из камеры:

— Запрещасшь? Да кто ты такой, чтоб запрещать?

— Запрещасшь? — передразнил его Кербель. — Прошли те времена! Раньше мог запретить, а теперь нет. А ну-ка, полезай к нам!

Одутловатое лицо Матшата перекосилось от злости.

— Я тебе говорю, чтоб этого больше не было! — крикнул он, схватив Эре за рукав и тряся его. — Кто здесь мастер, ты или я?

Эре оттолкнул его руку; но он был совершенно спокоен, только в глазах сверкал недобрый огонек. Не повышая голоса, он сказал:

— Ты рукам волю не давай, слышишь! Тоже мне мастер! Уж если на то пошло, я тебя ни за мастера, ни за члена партии не считаю. Знаешь, что я сделаю? Заявлю в партию — пусть проверят, как ты относишься к некоторым политическим вопросам. — И все больше распаляясь от собственных слов, Эре крикнул: — Вон отсюда, а не то...

Он яростно озирался по сторонам. Одна из женщин испуганно вздрогнула и прошептала:

— Господи, ну и глазища!

Бакханс протянул Эре из камеры лопату.

— Убери его отсюда... Вывези на тачке вместе с мусором!

Матшат сжал кулаки:

— Погоди ж ты! Я тебе это припомню! — прохрипел он и ушел из цеха.

Эре опять спустился в камеру. Он не мог успокоиться:

— Ну и свинья, ну и свинья...

Кербель сказал с явной издевкой:

— Ты говоришь, свинья? А ведь он в твоей партии.

Кунцель подвез тачку с кирпичом, свалил в камеру. Бакханс принялся выкладывать свод над каналом, соединяющим эту камеру со следующей. Он крикнул Кунцелю:

— Какого чорта ты сырые кирпичи возишь? Мне ведь свод выкладывать, куда такое дерьмо годится?

Эре в раздумье посмотрел на Кунцеля и на кирпич, затем сказал примирительным тоном:

— Ладно уж, как-нибудь и с сырым справимся.

Кладка стен шла своим порядком. Эре, еще занятый выкладкой каналов, увидел, что Матшат прав: действительно, швы слишком велики, а велики они потому, что никак нельзя в точности подогнать один кирпич к другому. Но хотя при сырых кирпичах стена «расплывалась» и швы «расходились», словно в руках у тебя не кирпич и цемент, а кисель, работа не останавливалась. Бакханс, облицовывавший свод, ругался:

— Не будет держаться! Как только сниму опалубку, все провалится!

— А ты свод-то рукой подопри, пока цемент сохнуть будет! — крикнул Кербель. — И потом я еще хотел сказать, пойдика погляди, откуда Кунцель кирпич берет.

Эре пристально посмотрел на него, помог Бакхансу подпереть свод, а потом спросил:

— Я твою куртку возьму, ладно? Моя куда-то запропастилась.

Он надел куртку Бакханса и вышел на холод. Кунцель как раз нагружал тачку сырым кирпичом. Не говоря ни слова, Эре опрокинул тачку, подвез ее к штабелю сухих кирпичей и сказал Кунцелю, который, совершенно растерявшись, шел за ним:

— Ну, а теперь слушай: чтоб ты у меня не смел сырой кирпич брать, даже если сам директор придет и распорядится не трогать сухого, понял?

— А директора здесь и нет, он в отпуску, — сказал Кунцель.

Эре вернулся в цех. Печникам он ничего не сказал. Некоторое время они работали молча, но когда Кунцель привез первую тачку сухих кирпичей, Кербель иронически заметил:

— Скоро ж у тебя кирпичи сохнут!

А Бакханс ворчливо спросил:

— А этот кирпич ты где взял?

Кунцель ничего не сказал и поспешил убраться по добру-поздорову. Кербель спросил Эре:

— Что случилось? Верно твой товарищ Матшат...

— Да ну тебя, замолчи, — огрызнулся Эре. — Мне он не «товарищ».

— Чего ты так кипятишься? — с удивлением спросил Кербель, а потом сердито добавил: — Нечего из меня дурака делать. Для вас все, кто не в СЕПГ, дураки... Для вас они... ну, все одно как для христиан язычники, царство небесное не про них. Нечего тебе с твоими «товарищами» из меня дурака делать... Возьми себе своего Матшата! Я его уже пятнадцать лет знаю. Матшат — и вдруг в вашей партии! Да это курам на смех. Ты парень честный и веришь всему, что тебе скажут, да и другие тоже, может, люди честные, по совести говорят, но раз у вас такие типы, как Матшат, вы меня к себе не заманите.

Эре озадаченно посмотрел на него, растерянно усмехнулся:

— Да ты настоящий оратор! — сказал он, и прибавил уже серьезно: — Только почему же из-за одного всех хаять?

— Из-за одного? А Бок?

— Да ведь Бока-то выгнали!

— А других? Скольких еще выгнать надо!

— Ну и выгоним!

— Что же, может, и выгоните.

— Дай срок, разберемся, раскусим, что это за люди, тогда и выгоним.

— Это вы-то их раскусите? — иронически протянул Кербель.

— Ну, а если ты их уже раскусил, чего ж ты молчишь? Взять к примеру Матшата... чего ты молчишь?

— Чего я молчу? Да разве я в вашей партии? Мое дело сторона!

— Мое дело сторона! — передразнил его Эре. — Ты вроде той девушки, знаешь, ей и хочется, и колется, и мама не велит...

Бакханс расхохотался во все горло. Женщина, которая стояла у камеры и слышала, как они пререкались, вставила свое слово:

— Да вы поглядите на Эре, много он в девушках понимает!

Кербель насупился и молчал. Потом уже, продолжая укладывать кирпичи, тихо сказал:

— Стоит только за Матшата взяться, а там и конца не будет!

— Ты думаешь? — усмехнулся Эре. Он уже остыл и спокойно сказал: — Дай только срок, до всех доберемся.

С этими словами он опять нагнулся над шаблоном, внимательно осмотрел его, однако не снижая темпа работы.

Когда Эре вошел, Катрин сидела за кухонным столом, уткнувшись в книгу. Она равнодушно взглянула на него, сухо сказала «Здравствуй», потом встала, пошла к плите, подала на стол еду. Все так же молча принесла бутылку водки, поставила перед мужем; он отодвинул. Они сидели в кухне за столом друг против друга; он ел, а она глядела в книгу, но не могла прочесть ни строки.

Радость Эре как рукой сняло. Еще несколько минут назад, подымаясь по лестнице, он воображал, как выставит один палец и скажет: «Одна камера готова!» — Глаза его весело блестели, мысленно он уже разговаривал с Катрин: «Вот думаю, как бы еще ускорить работу. Кирпич обтесывать нам теперь почти не приходится, только еще эти чортовы трехчетвертные кирпичи для газовых каналов дело портят. С Зептке я уже говорил. Он схватил меня за голову и спрашивает: — И откуда ты такой умный? — А я: — Доски, мол, больше перед глазами нет, не загораживает, вот и все, — это я говорю, а он смеется и опять спрашивает: — А мне, думаешь, загораживала? — Да, говорю, загораживала и не щепочка, а большая доска! Помнишь, как ты мой проскт вначале встретил? — Он смеется, а сам красный, смутился, говорит: — Больше такого не будет, товарищ Эре!»

Но теперь, когда они молча, словно враги, сидели друг против друга, радости как не бывало. Он посл, встал, порылся в ящике, достал карандаш, лист бумаги, четыре чурбачка одинаковых размеров такой же формы, что и кирпичи. Положил их на стол перед собой — они должны были изображать отверстие газового канала. Дольше выносить молчание он не мог и потому спросил: — Ты что читаешь?

Катрин подняла голову. Улыбнулась какой-то далекой улыбкой, но с души у нее точно камень свалился, глаза стали ласковые-ласковые.

— Знаешь, — сказала она тихо, — вот никак я не могу найти правильного подхода к Лаутеру. Он молодец, делает очень нужную работу и делает ее с радостью. Я думаю, он своего добьется. Мы с ним сработались, и вдруг сегодня он мне так, между прочим, рассказывает, как, должно быть, хорошо было при кайзере — в ту пору и работы-то всем хватало, и булочка-то стоила всего пфенниг, и никого не принуждали делать то, что ему не по душе, ну, — словом, старая песня! Я даже не знаю, что ему на это сказать. Сознание у него прямо какое-то допотопное, но работает он здорово. Ну, как тут быть? К Венде за советом идти не хочется. Нельзя же, как дура, все у людей спрашивать, надо и самой мозгами шевелить.

Она пододвинула ему книгу. Он пошел к шкафу, взял очки и прочитал несколько отчеркнутых мест.

«Тот факт, что... этот слой старой интеллигенции... начинает работать на ряде заводов и фабрик заодно с рабочим классом, — этот факт с несомненностью говорит о том, что поворот среди старой технической интеллигенции уже начался...

Итак, изменить отношение к инженерно-техническим силам старой школы, проявлять к ним побольше внимания и заботы, смелее привлекать их к работе — такова задача».

Она спросила:

— Тебе не кажется, что слова Сталина по поводу того положения, какое было в первую пятилетку у русских, в точности подходят и к нам?

Эре хмуро молчал. Он отодвинул книгу и занялся своими чурочками. Он так углубился в работу, что не заметил, с какой любовью смотрит на него Катрин.

Она опять спросила:

— Ну, как ты думаешь?

Он пожал плечами:

— Я в этом не разбираюсь. У них, у чертей, у всех барские рожи.

Он опять замолчал, и немного погодя Катрин, чтобы рассеять его мрачное настроение, спросила:

— Что ты делаешь?

— Да так, ничего, — нехотя ответил Эре, но когда он взглянул в ее глаза, светившиеся теплом, у него тоже стало теплее на душе и он уже охотней добавил:

— В камере шесть каналов и для каждого мне надо четыре специально обтесанных кирпича, с отверстием посередине, через которое газ попадает из канала в камеру, в огонь. Сколько я времени зря на обтеску этих кирпичей трачу! Был бы готовый кирпич... уже обожженный, огнеупорный кирпич и с отверстием, тогда не надо было бы обтесывать и прилаживать четыре кирпича, можно было бы одним обойтись.

— А почему его не обжигают сразу таким, как надо?

— Тут еще одна трудность есть. Газовые каналы должны быть крепко заделаны в кладку, а если класть кирпичи для газовой горелки просто один на другой, то крепости никакой не будет.

Катрин отложила книгу и стала смотреть, как он располагал свои четыре чурочки так, чтобы получить

отверстие газового канала, но ничего у него не вышло.

Он попробовал набросать эскиз; чертеж получился беспомощный, линии неровные; все упиралось в одно: четыре одинаковые стороны обмуровки канала не давали никакой крепости.

В конце обескураженный, бросил он карандаш и чурочки и сердито сказал:

— Дурак! Придумал, да без толку. Пойду спать.

Но заснуть он не мог. Он долго еще не спал и после того, как Катрин уже улеглась. Он слышал, как она вошла, разделась, укрыла девочку, как она дышала, лежа рядом с ним. Он старался не шевелиться. Сквозь занавески в комнату просачивался отсвет фонарей, тусклый и белесый, словно иней. Эре положил руку ей на грудь, почувствовал, как она вздрогнула. Но к нему Катрин не повернулась. Он попробовал притянуть ее, она не поддавалась. Лежа на спине, уставилась она блестящими глазами в потолок.

— Какая тебя муха укусила? — спросил он с раздражением.

Она не ответила. Он снял руку с ее груди; было слышно, как она медленно, глубоко дышит. На улице погасли огни, в комнате стало темней. Эре спросил:

— Ты меня разлюбила?

— Что ты еще выдумал! — Она приподнялась, наклонилась к нему, посмотрела в лицо. Он обнял ее; Катрин была такая теплая. Она высвободилась.

— Оставь! Так мы ни до чего не договоримся!

— Господи боже мой, да что такое с тобой творится?

Она ласково рассмеялась.

— Ты ребенок! Настоящий ребенок! Не знаю, не то ты не понимаешь, не то не хочешь понять. Ведь ты же умный парень, а вот женщину просто-напросто не понимаешь. Помнишь, когда мы с тобой чертеж печи делали, вот тут-то у меня глаза и открылись. Ты сказал, что хотел бы взять меня подручным к себе в бригаду. Я и подумала: «Правда, почему я не работаю? Топчусь дома, обед готовлю, за девочкой смотрю — и все... А настоящая жизнь проходит мимо. Да, жизнь проходит мимо меня, состарюсь, и нечем будет жизнь помянуть».

— Нечем жизнь помянуть? — усмехнулся он. — А я? А ребенок?

— Так разве в этом вся жизнь?

Даже в темноте видел он жесткий блеск ее глаз, ее свежее лицо, полный крупный рот, угадывал под ночной рубашкой ее сильное здоровое тело.

— Ничего мне не сказав, идешь прямо к директору! — голос его звучал резко, а на сердце было горько, как от желчи. — Могла пойти на завод со мной! Ведь могла бы работать в моей бригаде. Я мучаюсь со всякой писаниной, с расчетом часов, со всей этой музыкой, как бы ты тут помочь могла!

— Тебе что, нянька нужна?

Он смущенно засмеялся. Катрин опять заговорила:

— Нечего сказать, придумал: бригада Эре с женой. Семейное предприятие Эре! Неужели ты в толк не возьмешь, что это не дело? Ведь мне надо было доказать, что я сама, понимаешь, сама, одна без твоей помощи могу чего-то добиться!

— Одна, одна! А девочка, а я? Вечером, как приду домой... Разве я виноват, что я и пишу и считаю с грехом пополам? А ты бросаешь меня в трудную минуту, — сказал он с обидой, сдавленным голосом.

— Ганс... Ганс... — ей трудно было удержаться, не обнять, не приласкать его. — Ганс, сколько тебе лет? Не собираешься же ты умирать. Ты ведь член СЕПГ, а раз так, ты до самой могилы учиться должен. Ну что ты падаешь духом! Подумаешь, считать трудно выучиться! — голос ее стал тверже, и хотя девочка могла проснуться, Катрин говорила громко: — Но ты все еще не понял до конца, как это важно. Ведь я же человек, не только женщина! Человек! И теперь, когда все пути нам открыты, я тоже хочу чему-то научиться, что-то сделать такое, чтобы видно было, такое, что не пройдет бесследно. Пойми, я прежде всего человек, а уж потом женщина.

— Просто голова кругом идет... — простонал он, и хотя голос у него был жалобный, она рассмеялась.

— А ты пошевели мозгами-то, оно полезно, — поддразнила Катрин.

— Хорошо тебе смеяться, — обозлился он. — Один чорт разберет, какая вас, баб, нынче муха укусила! Вчера приходит одна подручная, молодая такая, ядреная девка, и как выпалит, да бойко так: «Вот что, Эре, ищи себе другую, поглупее меня. Я ухожу на производство,

хоть выучусь чему-нибудь». И ушла, вот так — взяла да ушла. Если бы мне только знать, кто ее научил!

— Кто научил! — Катрин ласково рассмеялась, а он, почувствовав, что она над ним потешается, ткнул ее в бок. Все еще смеясь, она сказала: — Во всяком случае не я. Знаешь, кто научил? Наше время, партия, которая преобразует наше время. Все мы вместе и каждый из нас в отдельности. Каждый сам себя вперед подталкивает. Ну, а кто сам себя не подталкивает, того другой подтолкнет.

Эре молча слушал. Он лежал рядом с ней, скрестив на груди руки, он знал, что Катрин ждет ответа, но ничего не сказал. Он слышал, как она улеглась поудобней, как стала дышать ровнее... Уже почти засыпая, он не выдержал и сказал с обидой:

— А девочка? О ней не подумала? Ее, бедненькую, в детский сад отведешь, к чужим людям, без матери расти будет! Этого она тебе никогда не простит.

Ночь тянулась бесконечно медленно, и Андрицкий не мог больше лежать без сна рядом с Зузой, слышать, как она дышит, не мог дольше оставить невысказанным все, что осталось невысказанным за эти дни. Он осторожно встал. Она не проснулась. Он подошел к разделявшей обе спальни раздвижной двери, которая, как это бывало всегда, и сегодня осталась открытой, задвинул ее. Когда он лег к себе в постель, Зуза спросила:

— Ты что, Андреас?

Он глянул на ее кровать, стоявшую у другой стены. Лица Зузы не было видно. Минутку он помолчал, и она тоже ждала, прижав руку к груди, слышно было только ее дыхание. Потом он сказал:

— Зуза, скажи одно: ты останешься со мной, здесь останешься?

Зуза приподнялась, оперлась на локти, обернулась лицом к нему, но ничего не ответила.

— Видишь, если бы ты здесь осталась, мы бы могли пожениться. Все как-нибудь устроилось бы.

Зуза все еще молчала; Андрицкий с тревогой в голосе спросил:

— Зуза, ты слышишь?

— Да,— отозвалась она.— Да, слышу!

А он подумал: «Господи, какой у нее голос... нет, она не останется!»

В спальне стариков за скрипела кровать, кто-то зашлепал босыми ногами по полу, дверь раздвинулась. В дверях стояла мать, она посмотрела на обе кровати; потом ушла, успокоившись, что они не вместе, что каждый у себя в постели, но дверь не задвинула. Андрицкий слышал, как за скрипела постель под ее тяжелым телом.

— Видела? — спросил он Зузу, сердито фыркнув.

Зуза шопотом спросила:

— Как ты себе все это представляешь?

Из спальни стариков слышался голос матери, но разобрать, что она говорит, Андрицкий не мог. Он сказал:

— Мы могли бы пожениться. — Он встал, задвинул дверь, подошел к Зузе, сел на край кровати, взял ее руку в свои: — Не сердись на мать. Дверь всегда стояла открытой, мать никак не привыкнет, что теперь надо задвигать.

Он думал о той ночи, о ночи у него в комнате, неподалеку от Фридрихштрассе. Он знал, что за короткое время многое изменилось. Зуза молчала, и потому он спросил:

— Не хочешь?

— Чего не хочу — здесь оставаться или за тебя замуж?

— Остаться здесь и выйти за меня замуж.

— Не хочу ни того ни другого.

Он отпустил ее руку. Опять в соседней комнате слышался скрип кровати, шлепанье босых ног по полу, дверь отодвинулась. Старуха в ночной рубаше стояла неподвижной, бесформенной глыбой, волосы были заплетены в тоненькую косицу. Она напустилась на сына:

— Не смей задвигать дверь! Ступай к себе. Вы не венчаны!

Старик хихикнул у себя в постели, потом ехидно заметил:

— Свечку им подержать пришла? Уже не нуждаются.

Андрицкий громко расхохотался, а Зуза, подавив смех, накрылась с головой одеялом. Она спихнула Андрицкого с кровати и прошептала:

— Да ну, ступай! Она не заснет, пока дверь будет закрыта.

Старуха не унималась:

— Ну живо! Ступай к себе в постель.

Старик опять захихикал:

— Не нуждаются в твоей свечке!

— Молчи! — сердито зашипела старуха. — Тебе-то все равно, а я у себя в доме такого безобразия не потерплю. Они не венчаны. Добро б хоть помолвлены были!

Андрицкий подошел к двери; все еще смеясь, обнял мать за плечи.

— Да ну, мама, ступай спать. Мы ведь уже не дети.

— Ты мне не указывай, — сердито буркнула старуха. Но когда Андрицкий повел ее к кровати, она покорно пошла с ним. Тяжело опустилась она на постель. Старик опять поддразнил:

— Тебя не спросились! Обошлись без твоей свечки.

Андрицкий задвинул за собой дверь. Не успел он лечь, как мать опять ее отодвинула. Усмехнувшись, натянул он брюки и куртку и пошел в кухню. Печка еще не совсем остыла, кофейник стоял на плите. Он закурил, присел на табуретку. В желтом свете лампы картины на стенах жили призрачной жизнью. Первые робкие шаги — детские и юношеские рисунки, которые мать каждый раз заботливо прибирала, а потом вешала на стену. Среди рудников и рудоподъемных башен, среди незнакомых лиц — портрет матери, тогда она была еще молодая, но рот уже сжат, на лбу резкая складка. А вот несколько более уверенный рисунок углем — рабочий поселок, такой унылый, тоскливый. И среди собранных здесь обрывков прошлого, среди неумелых, робких исканий — автопортрет, тоже еще не определившееся лицо человека, который словно нащупывает свое собственное содержание, портрет рано созревшего юноши, и все же на этом лице уже можно было прочесть и строптивость, и упорную мысль, и тоску, и тихую грусть неизвестно о чем.

Он положил перед собой портрет матери, который рисовал последнее время по вечерам, и задумался.

Он удивился, когда вошла Зуза со свернутым в трубку листом. Она прикурила от его папироски; теперь оба молча курили, склонившись над портретом матери. Он видел, что и она тоже истомилась ожиданием, что она жаждет ясности и добьется ее.

Она продолжала спокойно курить; глаза ее блестели; Андреас улыбнулся ей, но Зуза была серьезна. Прямо, без обиняков она спросила:

— Почему ты сбежал из Берлина?

— Сбежал из Берлина? Я — сбежал? — растерянно пробормотал он.

— Да, — сказала она, — ты сбежал.

— От кого? — он неуверенно засмеялся.

Она перегнулась через стол, посмотрела ему в глаза, и хотя их руки были рядом, она не взяла его за руку. Сказала:

— Если бы я могла быть уверена! — а потом, понизив голос, шепнула: — Андреас, мне и без того не легко. Когда я приехала, я хотела тебя спросить: что же это? Скопировал чертеж, а сам удрал с оригиналом в Западную, да? Все думают, что это так, даже Эре. Но когда я тебя увидела, когда я увидела твои глаза, твое упрямое лицо, я просто не могла спросить... и поверить, что это так, тоже не могла. Я подумала: еще хоть два дня... Ведь я так долго была одна! Я подумала: хоть два дня пусть будут мои... и две ночи. И как хорошо, что ты тогда не спросил, почему я приехала, но теперь пора все выяснить.

Они услышали в спальне родителей тяжелое шлепанье босых ног, и в кухню вошла мать в накинутом на плечи большом шерстяном платке; она выглядела очень усталой, глаза ввалились; мать молча села. Было тихо, только капала вода из крана, да на буфете тикал будильник. Они курили. Мать встала, поставила перед обоими чашки, налила кофе.

— А настоящего нет? — спросил Андреас, избегая глядеть на Зузу. Старуха не ответила.

В тишине раздался голос Зузы:

— Я верю тебе, не Матшату!

Недоумевающий взгляд старухи быстро скользнул по лицу сына, потом по лицу Зузы. Она села около Андреаса; глаза у нее были такие же упрямые, как и у сына, лицо красное, сама широкая, расплывшаяся, словно клушка, распушившая перья, чтоб взять своего цыпленка под крыло.

Она сердито спросила:

— Дня вам, что ли, мало?

Но они, казалось, и не замечали, что мать тут. Андрицкий, которому вся кровь бросилась в голову, спросил, мучительно запинаясь:

— А Матшат здесь при чем?

— Ты не знаешь? — Зуза усмехнулась, но глаза были попрежнему серьезны. — Ты все знаешь, не хуже меня. Как только ты исчез, он первый растрезвонил, что ты смылся в Западную.

Андрицкий сжал кулаки, спросил сдавленным голосом:

— А ты что думаешь?

— Ты смылся!

— Да, смылся, — прошептал он. Руки его тяжело лежали на столе, Зуза их осторожно погладила. — Но чертежей я не крал, — прибавил он.

— Мой сын не вор, — возмутилась старуха, и ее рука дернулась, словно она хотела спихнуть ладонь Зузы с руки сына.

— Все думают, что ты украл чертежи.

Старуха вся как-то обмякла, она не могла оторвать растерянного взгляда от сына.

— А ты не веришь?

Зуза отрицательно покачала головой. Старуха выпрямилась.

— Чтобы ты, да украл, кто этому поверит?

А Зуза сказала:

— Как могу я поверить? Разве могу я поверить, что ты мерзавец, если я ничего не знаю. Нам обоим, правда, не очень-то много дела до того, что там у них творится, но ведь это же не значит, что надо быть мерзавцем? Недавно прицепился ко мне один партийный работник СЕПГ, что-то меня спросил. Я сказала: нужна мне больно ваша партия, я свою работу выполняю, а на остальное мне плевать — ваши партийные дела меня не касаются, авось как-нибудь без меня в них разберетесь. Он рассмеялся и, знаешь, добродушно так, а потом сказал: «Партийные дела тебя не касаются? Ну, что ж, хорошо, а вот нас и твои делишки тоже касаются». И ушел. Кое-что мне у нас не нравится, многого я не понимаю, а вот после того как прожила я здесь два дня, я стала лучше разбираться.

— В чем же?

— В себе самой, — просто сказала она. Андреас боялся взглянуть ей в глаза. — В себе самой я теперь лучше разбираюсь.

— Так, так, — сказал он. — В себе самой.

— И в тебе тоже, — прибавила она. Он принял руки со стола. — Но главное в себе самой. Как я прежде жила? Занималась хозяйством, штопала чулки и дожидалась мужа с работы. А сейчас, как я сейчас живу? Я работаю и в работе нахожу для себя радость, и сама от этого другой стала. Если бы три года тому назад ты сказал, что хочешь на мне жениться, я бы от счастья до потолка подпрыгнула, ну, а сейчас... сейчас я еще спрошу: как ты себе нашу жизнь совместную представляешь? И потом еще одно: ни за что я теперь не останусь дома. Ни за что на свете! До сих пор я была просто чернорабочей, а теперь, думаешь, кем я буду, когда домой вернусь? Я им еще всем нос утру, всех удивлю!

Она развернула свернутый в трубочку лист, и Андрицкий увидел портрет Зузы, нарисованный им в ту первую ночь. Старуха спросила:

— Это ты нарисовал?

Андрицкий кивнул.

— Это мой портрет, — сказала Зуза, а сама не спускала глаз с Андреаса.

— Вы на заводе работаете? — спросила старуха.

Зуза кивнула, все еще глядя на Андреаса.

— И грязная же, верно, у вас там работа?

Зуза молчала, и Андрицкий тоже. Он не хотел так легко сдаться: «Зачем она приехала? Что это значит: я всех удивлю? И зачем ей сейчас портрет понадобился?» Он избегал ее беспокойного, пытливого взгляда, он и так знал, что она скажет. Зуза спросила:

— Почему ты смылся?

Андрицкий упорно смотрел на рисунок, затем неожиданно выпалил:

— Мне не все ясно. Я еще не понимаю роли Матшата. Он как-то пришел ко мне и сказал: «Слушай, никак не вспомню, куда я задевал чертеж печи!» И попросил меня сделать новый. Я сделал. Тут как раз началась история с Эре, и когда Эре обратился ко мне за помощью, я решил ему помочь, потому что он задумал хорошее дело. А потом вмешался Матшат и не велел мне совать, а когда я заспорил, он сказал, что мне вообще лучше

смотреть удочки. Он хотел-де переправить чертежи в Западную, где бывшая фирма строит новый завод, а они попали в руки НКВД. Вот я и влопался. Под чертежом была моя подпись, и Матшат сказал, что за себя он спокоен, ведь он в СЕПГ и все знают его как образцового члена партии, а вот я... ну, кто я такой? Я и смылся.

— Попросту смылся!

— А что мне было делать?

— Неужели ты ни с кем не мог посоветоваться?

Андрицкий упорно смотрел в темноту. Наконец он с трудом выговорил:

— Да мне и самому все осточертело.

— Все?.. — Ясный взгляд Зузы затуманился.

Андрицкий хотел взять ее за руку. Она отодвинулась. Старуха встала и отошла к плите; не глядя на сына, спросила:

— Ты опять уедешь?

Он не смел посмотреть Зузе в глаза. Его упрямое лицо с квадратным лбом болезненно сморщилось. Зуза улыбнулась. Она ждала. Он все еще молчал. Мать стояла у плиты, закрыв лицо руками, и беззвучно плакала.

— Мы можем и здесь устроиться... — сказал Андрицкий. — Как-нибудь проживем,—продолжал он с какой-то безнадежностью в голосе. — Я буду работать, работать изо всех сил; будем жить вместе, у нас еще вся жизнь впереди, и если только мы сами захотим, жизнь мы наладим.

— Какая у нас жизнь впереди?

Мать подошла к столу; по ее лицу текли слезы, а глаза были грустные-грустные, как у старой, больной собаки.

Зуза встала и обняла ее за плечи. Мать молча, устало оперлась на нее, затем, собравшись с силами, печально проговорила:

— Пойду спать... Очень уж я сегодня устала. Как никогда. Чем я могу вам помочь? Мы свою-то жизнь никак не наладим, как же мы вам поможем? Тот раз, когда я на товарном поезде ехала, мне казалось, что теперь, после войны, все иначе пойдет, ну, а что теперь? Боже мой, боже мой! Сызнова начинается! Опять, верно, все попрежнему пойдет.

Она сняла со своего плеча руку Зузы и вышла из кухни. Андрицкий сжал губы. Зуза опять спросила:

— Какая у нас жизнь впереди? — и когда он не ответил, повторила: — Чтоб и я такой стала? Как твоя мать? — Она посмотрела на портрет матери, нарисованный Андреасом, и он, молча, словно нехотя, тоже посмотрел на него.

— Не надо, чтоб ты такой стала, — сказал он.

— А разве здесь может быть иначе?

— Да боже мой, — встрепнулся он, — я буду работать, устроимся, заживем с тобой тихо и мирно...

Зуза рассмеялась. Андрицкий остановился в удивлении. Она смеялась не горько, не насмешливо, нет, она смеялась радостно и легко. Она попрежнему смотрела на рисунок и, все еще смеясь, сказала:

— А картины рисовать больше не будешь? Нет? Только чертежи будешь делать, одни чертежи. — Она нагнулась к нему, взяла в обе руки его голову с рыжим, непокорным вихром и серьезно сказала: — А вот представь себе, что ты напишешь портрет Эре! Знаешь, в точности как он есть. Вот это был бы портрет!

Он с удивлением посмотрел на нее, его строптивное лицо посветлело, и, покачав головой, он сказал:

— Ну, и женщина! Чорт, а не женщина!

И в его глазах вспыхнуло что-то новое, от чего на душе у нее стало радостно.

Эре сделал эскиз фасонного кирпича для горелки. Он долго с ним провозился, и наконец, после упорной работы, линии стали смелее, увереннее, и, еще раз потолковав с Бакхансом и Кербелем, он пошел в заводууправление, чтобы обо всем договориться с Венде. Кербель крикнул ему вслед:

— Обсуди все, не торопясь, сегодня мы и одни управимся!

А когда Эре ушел, он задумчиво сказал Бакхансу:

— И откуда он такой башковитый? Если его предложение будет принято, мы сэкономим не меньше сорока процентов времени.

Бакханс ничего не ответил. Бормоча что-то себе под нос, он нагнулся над ящиком с раствором, взял кирпичи, и оба, Бакханс и Кербель, стали исподтишка следить за Рейхельтом, за его ловкими движениями, а он работал

уверенно, стараясь не только не отстать, а перегнать их, чтобы и без Эре работа шла так же быстро.

На заводском дворе, несмотря на пыль и грохот, уже чувствовалась весна. Небо было высокое и прозрачное, светлые облака, словно быстрые парусники, неслись по узкой голубой полосе между строениями, подгоняемые южным ветром. У входа в корпус правления Эре наткнулся на Матшата. Тот неуверенно улыбнулся, поздоровался, а потом задержал его.

— Товарищ Эре, — сказал он, — слушай, нам с тобой надо договориться. Так дольше нельзя. Мы оба члены партии и в то же время враги. Разве это дело? Беспартийные над нами смеются.

— Я, что ли, в этом виноват? — пожал плечами Эре. Он хотел повернуться и уйти, но Матшат его не отпускал. Он принялся настойчиво убеждать его:

— Эре, послушай, должен же ты меня понять. Я здесь на заводе мастером, у меня семья, а выходит так, будто ты меня выпираешь. Что же, прикажешь это молча сносить?

Эре что-то пробормотал. Он весь был поглощен предстоящим разговором с Венде. Мимо проходили рабочие. Одни смотрели на них с удивлением, другие посмеивались, и Эре казалось, что они смеются над ним.

Матшат спросил:

— Я слышал, ты придумываешь, как сделать новый фасонный кирпич для горелки. Почему ты не пришел, не потолковал со мной? В этом-то я тебе уж наверно могу помочь.

— Кто тебе рассказал?

— Да все об этом говорят. Одни говорят, что у тебя винтика нехватает, другие считают, что ты задумал неплохое дело. Я тоже полагаю, что это хорошая мысль, и, если хочешь, я тебе помогу. Наши личные счеты пора позабыть.

Эре напряженно глядел в сторону, мимо Матшата, на группу рабочих, складывавших обожженные силиловые материалы. Матшат, приветливо улыбаясь, подошел ближе, с грубоватой фамильярностью положил руку Эре на плечо и сказал:

— Мы ведь не дети, Эре. Ладно, согласен, я был неправ. Давай встретимся сегодня вечером, пропустим стаканчик и забудем все, что было.

Эре, не проронив ни слова, пошел своей дорогой, словно Матшата здесь и не было.

Венде сидел за аккуратно прибранным письменным столом, и вся комната, и даже Ирена Мальке — все выглядело каким-то прибранным, чистым. Увидев Эре, Ирена ему улыбнулась. Эре сел на стул и, поглядев на Венде, подумал: «Вот это правильно! Надо, чтоб ты пришел в партбюро и почувствовал, словно ты домой к себе пришел». Он положил блокнот с чертежами на стол.

Венде внимательно посмотрел на него. Эре заерзал на стуле:

— Ты что, снимать меня, что ли, собрался?

Венде лукаво усмехнулся. По веселым лучикам вокруг глаз и рта видно было, что он часто и охотно смеется. Он сказал:

— Просто хотел на тебя посмотреть, посмотреть как следует; вот чувствую, что ты чем-то недоволен.

— Недоволен? — Эре нервно схватил свой блокнот, перелистал его, стараясь не встречаться с Венде глазами. Он смущенно пробормотал: — Почему ты думаешь, что недоволен!

Ирена Мальке застучала на машинке. Венде, попрежнему улыбаясь, сказал:

— У нас есть люди, недовольные самыми различными вещами. Одни недовольны собой, так как думают, что на другом месте могли бы больше сделать; другим кажется, что все делается недостаточно быстро. Опять же есть и такие, что недовольны своей личной жизнью.

— Ну, если так, то конечно! Нельзя же быть довольным всем решительно. Если приналежь, все могло бы идти гораздо скорей.

— Вот я и хочу сказать, что есть люди, недовольные своей личной жизнью.

— Я... я... — промямлил Эре, смущенный пристальным взглядом Венде. — Нет, тут я всем доволен.

— Ну, разумеется, — улыбнулся в ответ Венде, — у тебя хорошая жена, ребенок, живете вы ладно, чем тебе быть недовольным!

— Вот я и доволен, — еще раз подтвердил Эре, а Венде посмотрел на него и прищурился.

Он переменял тему разговора и спросил:

— Что позавчера Рейхельт говорил, после того, как я ушел?

— Уже после спора?

Венде кивнул головой.

— Ну, что он там мог говорить,— замялся Эре. — Он ведь парень неплохой; работает как вол. Когда ты ушел, он ничего не сказал, а потом.... уже несколько часов прошло... я стал объяснять про фасонные кирпичи...

— Что, что? — перебил Венде.

— Про фасонные кирпичи для горелки. За этим-то я к тебе и пришел...

— Хорошо, об этом мы еще поговорим! Ну, так что же сказал Рейхельт?

— Так вот, когда я спросил, что они думают насчет того, чтобы подзаработать, он сказал: «Здорово, валяй, брат! Я, конечно, за твое предложение. Только пусть они потом не требуют, чтоб мы повысили норму. А вот насчет того, что партийный секретарь тогда говорил о заводе, и как все это на самом деле, тут я еще не разобрался; но одно уж во всяком случае правильно: нельзя делить доходы завода только между своими рабочими». Сказать это Рейхельт, правда, сказал, да только тут же прибавил, чтоб со всякими политическими штучками к нему не совались.

Об одном, однако, Эре умолчал. О том, что Рейхельт вдруг взъерепенился и ни к селу ни к городу заявил, что он хоть и молод и мало что видел, а одно знает: рабочих всегда обманывают, на них ездят и уверяют, что для их же пользы...

Венде, внимательно глядя на него, спросил:

— Значит, больше ничего?

Умный, проницательный взгляд секретаря смущал Эре; он не мог отдать себе отчет, почему он не все рассказал о Рейхельте, и злился на себя.

— Больше ничего,— пробормотал он, взял свой блокнот, полистал его и, найдя странички с эскизами фасонного кирпича, хмуро проворчал:

— Я пришел к тебе, потому что мне нужна твоя помощь.

— Охотно помогу,— улыбнулся Венде, и морщинки вокруг глаз и рта пошли веселыми лучиками.— Отчего же не помочь!

И Эре почувствовал, как он успокаивается под сердечным, приветливым взглядом Венде. Он передал ему блокнот и начал, правда, все еще беспомощно, но уже

не так неуверенно, как в тот раз, несколько недель тому назад, объяснять техническую сторону дела. Венде слушал с огромным интересом, Эре вызывал в нем все большее уважение. Венде был достаточно сведущ в технике и потому быстро понял преимущества специального кирпича для газовой горелки. К тому же чертежи при всей их несложности были очень наглядные, а то, что было недостаточно понятно, дополняли быстрые, уверенные объяснения самого Эре.

Когда Эре кончил, Венде спросил:

— А как у тебя с учебой?

— С какой учебой?

— Ну, и по специальности, и с политической!

— Где уже мне, старику, за букварь садиться! — смущенно засмеялся Эре. — Недаром в пословице сказано: чего с измальства не выучил, того на старости лет не одолеешь, а я уже старик.

— Сколько же тебе?

— Сорок восемь!

— Верно, совсем старик, — поддразнил его Венде, но затем, уже серьезно, добавил:

— Знаешь, товарищ Ганс, для каждого времени своя пословица. Сейчас надо бы так говорить: с измальства не научился — доучивайся на старости лет.

Они оба рассмеялись; добродушный смех секретаря благотворно подействовал на Эре, он почувствовал, что у него есть защита, и уже не избегал пытливого взгляда Венде.

— Много лет тому назад я был в Советском Союзе, — сказал Венде. — Ездил с рабочей делегацией. Вечером Первого мая меня позвал к себе один старый рабочий. Знаешь, такой типичный русский рабочий, глаза умные, с хитрецей. И вот, когда мы познакомились с ним поближе, я посмотрел книги, которые стояли у него на полке. Он объяснил мне, что это за книги, а я спросил, зачем в его возрасте — ему уже под шестьдесят было — он учится технике. Так знаешь, он с таким недоумением посмотрел на меня; верно, подумал: ну и чудной же народ иностранцы! Что за вопросы задают, прямо какие-то допотопные! Но потом он рассмеялся, подвел меня к столу, и мы выпили; а затем он уже совсем серьезно сказал: «Прежде я тоже, пожалуй, не стал бы учиться, то есть при капитализме. Ну, а теперь, когда мы строим социа-

лизм... Господи боже мой, молодые так на учебу и накнулись, все до одного! Так как же нам не учиться? Со всем затрут, сдадут в архив, как старый хлам, только и останется сидеть да ждать, пока на кладбище снесут. Разве же так можно! Подумайте, сколько я от общества получил; значит, и самому что-то дать людям надо. Кому охота всю жизнь только брать? А самому давать можно, когда у тебя квалификация имеется и когда ты эту самую квалификацию все повышаешь». Вот что он мне сказал.

Вся кровь бросилась Эре в голову. Он нехотя согласился:

— Верно, ты прав, да разве все сразу можно? Сейчас мне недосуг, надо сперва с печью справиться.

— Ну, а потом?

А потом что? Эре вспомнились последние вечера у них дома, на кухне. Перед глазами стояла все та же мучительно навязчивая картина: Катрин сидит за книгой, читает, делает какие-то пометки. И с каждым днем такая Катрин — сосредоточенная, спокойная, с трудом, сжав от напряжения губы, одолевающая политическую премудрость, — с каждым днем такая Катрин все дальше и дальше уходит от него. Она все время, неустанно идет вперед, а у него на ногах словно стопудовые гири. Да только, может, он сам себе эти гири навязал. Ясно, во всем виновато его прошлое, и в том, что он такой неумелый, и в том, что нет у него настоящего желания разделаться с этой своей беспомощностью, но нельзя же вечно во всем винить прошлое?

— Товарищ Венде,— сказал он, с трудом выдавливая из себя слова,— я пришел к тебе за помощью. Теперь ты видишь, какое у нас дело выходит с фасонным кирпичом для горелки и как важно его поскорей получить.

Венде встал, в раздумье зашагал из угла в угол, коренастый, широкоплечий, потом спросил:

— Так чем же я могу помочь?

— Карлин уехал,— ответил Эре,— значит, к нему обратиться нельзя. Будь он тут, все было бы в порядке, он бы тянуть не стал, сразу бы дал свое согласие. А вот с Вассерманом — он сейчас Карлина замещает, — вот с ним я и не знаю... Он специалист, станет палки в колеса вставлять.

— Так специалистов, выходит, побоку?

Эре пожал плечами:

— Ну, значит, все пойдет насмарку, попадет мое предложение к бюрократам, начнется волокита, за это время три печи сложить можно.

— А мою помощь как ты себе представляешь?

Эре не заметил, что Венде весело подмигнул Ирене Мальке.

— Ты дашь разрешение на обжиг фасонных кирпичей, и дело в шляпе! Кто с тобой спорить станет? Никто. Дай разрешение — и все в порядке.

— Чего бы проще, — согласился Венде. А затем насмешливо прибавил: — Собственно, и дирекция нам тогда ни к чему. Партийный секретарь будет руководить производством, таким образом и деньги, что на дирекцию тратятся, сэкономим. Неплохо придумано.

Эре почувствовал насмешку. Он тут же поднялся и резко сказал:

— Ну, не надо, так не надо! Что я из-за этой чортовой печи быюсь! Заварил кашу, а теперь никак не расхлебаю.

Уже у самой двери Венде остановил его, ласково положил ему руку на плечо:

— Товарищ Эре, ты же не ребенок!

Эре молчал. Венде сказал Ирене Мальке:

— Ирена, сходи в заводской комитет, принеси мне производственный план на ближайшие два месяца.

Когда Ирена вышла, Венде насильно усадил строптивого Эре на стул и рассмеялся:

— Чорт тебя возьми, ты кого угодно в пот вгонишь!

Эре все еще молчал, сердито насупившись, сжав кулаки. Венде тоже молчал, и так как в комнате было очень тихо, сюда явственно доносились все шумы завода: гудки электрокаров, скрежет кранов, голоса людей, работавших под самым окном.

— Товарищ Эре, — заговорил немного погодя Венде медленно, глухим голосом. — Знаешь, обычно человек нервничает и проявляет нетерпение, когда он не уверен, какого о нем мнения остальные. Согласен?

Эре не ответил. Слегка прищурившись, Венде спросил:

— Сказать тебе, какого я о тебе мнения?

— Не интересуюсь, — буркнул Эре.

— Знаешь, — сказал Венде, перегнувшись к нему через стол и посмеиваясь, — тебе надо свой характер обломать!

Эре вскочил со стула. Через окно видна была заводская труба: из нее валил черными клубами дым и широкой, тяжелой пеленой ложился на крыши.

— Я пойду, — сказал Эре. — Надо печь кончать. Прости, что отнял у тебя время. Теперь я понял, что зря сюда пришел.

Венде опять вернул его от двери, но теперь он был холоден, рассудителен, лицо стало строгим, жестким, видно было, что он с трудом сдерживается. На этот раз он не предложил Эре сесть. Они стояли друг против друга: Венде, засунув руки в карманы, слегка нагнувшись, словно под тяжестью своих широких плеч, Эре — сжав кулаки вот-вот ударит.

— Товарищ Эре, — начал Венде, — я должен тебе еще кое-что сказать. Вроде как официально, хотя мне, партийному руководителю, трудно строго разграничить официальное и частное. Мы очень тебя ценим, однако мы... я хочу сказать, наша партия... знаем и твои слабые стороны. Ты человек инициативный, ты спаян с партией, это так, и все же мы очень тобой недовольны. Ты отстаешь от общего развития, хотя за последнее время кое в чем и опережаешь других. Возьми хотя бы твое предложение, как ты думаешь его внедрить? Каковы факты? У тебя хорошее предложение, я в него верю. Но ты пробуешь провести его с наскока, неорганизованно. Разве это дело? У нас есть определенный план, определенное хозяйственное руководство, а ты хочешь перемахнуть через все это, как через забор. Ты не любишь специалистов, в тебе еще живет старая закваска. Сам ты меняешься, а вот что все вокруг, что другие люди тоже меняются, этого ты не видишь. А с этим надо считаться. Ты хочешь действовать через голову технического руководства завода, да разве это годится? Дирекция у нас не для того, чтобы работать против тебя, против всех нас, а для того, чтобы работать с нами вместе. А если на самом деле возникнут трения, так ведь есть же еще завком.

Эре иронически рассмеялся.

Венде заговорил более резко:

— Хорошо, согласен, завком еще не играет у нас должной роли. А кто в этом виноват? И ты ведь тоже.

— Я? — Эре не знал, куда деться. Он проклинал тот час, когда решил пойти сюда, к Венде; проклинал печь, фасонные кирпичи, себя самого.

Венде тяжело опустился на стул. Вошла Ирена Мальке, положила на стол несколько папок с делами, села за машинку и снова принялась печатать.

Венде медленно проговорил:

— Итак, товарищ Эре, даю тебе добрый совет: пойдни к доктору фон Вассерману, покажи ему свое предложение, потом отправляйся в завком, и вот, если увидишь, что дело не движается, ну, тогда приходи ко мне. Не думай, что меня это не интересует, но... словом, больше мне нечего тебе сказать, ты меня понял.

И он опять склонился над бумагами. Эре вышел. По его лицу нельзя было догадаться, что он решил предпринять. Лицо было какое-то отсутствующее и глаза отсутствующие, только по сжатым кулакам можно было понять, что творится у него в душе. Когда дверь за Эре захлопнулась, Венде сказал Ирене Мальке:

— Вот чортов парень! А что, собственно, у него с женой вышло? Там тоже что-то неладно. Надо бы мне его расспросить...

На заводском дворе ветер сразу пахнул ему в лицо, от удушливого дыма спирало дыхание. «Ишь, что сказал,— наскоком! — возмущенно ворчал он,— я тебе еще покажу, кто такой Эре!»

Когда он подходил к обжиговому цеху, ему вдруг представилось, будто он — выбивающийся из сил пловец, которого настигает огромный, грозно пенящийся вал, но он не сдается, набирает в легкие воздух, расправляет грудь, и вот он опять на гребне волны. Нет, брат! Меня не одолеешь. Я еще покажу!

В цеху от угольной пыли першило в горле, разъедало глаза. Ни Бакханс, ни Кербель не заметили, что Эре подошел к краю камеры: они оба, обливаясь потом, клали внизу кирпичи. Рейхельт, занятый кладкой противоположной стены, в нетерпении крикнул:

— Ну? Как дела? Не работа, а каторга! Что-то надо придумать, чтоб дело шло скорей. Настоящая баня. Работаю, как проклятый, а стена все в том же положении.

Эре посмотрел на Рейхельта, но его мысли были далеко, он вспоминал тот давно прошедший и, как ему казалось, уже забытый день, когда, после ночи, которую он проработал над крышкой камеры, он проснулся при свете прожектора, а вокруг стояли рабочие и Матшат с ними, и от их взглядов было так же мучительно больно, как от резкого света прожектора.

— Эй, Ганс, очнись! — грубо крикнул ему Рейхельт, не отрываясь от работы. Подручные, стоявшие неподалеку, у кучи кирпичей, поглядели на Эре. Кунцель, нахально ухмыльнувшись, сказал что-то, чего Эре не расслышал. Он протер глаза. В цеху появился Матшат, но, увидя Эре, стоявшего у камеры, незаметно выбрался во двор.

— Что с тобой? — спросил встревоженный Бакханс.

Эре пожал плечами. Кунцель отпустил какую-то пошлую шутку, и подручные вокруг него заржали от удовольствия.

— Видно, ему нос утерли!

— Пошел на попятный.

— Растрезвонил, а теперь сам не рад!

— Видали таких!

Одна из женщин-чернорабочих, коренастая и сильная, уже немолодая, напустилась на хохочущих парней. Кунцель усмехнулся:

— За дружка заступаешься, а?

Женщина крикнула Эре:

— Чего ты смотришь? Дай ему в морду!

А когда Эре промолчал, она прыгнула в только что остывшую камеру и принялась с ожесточением долбить стенку ломом. Прямо под ноги Кунцелю полетели выброшенные кирпичи.

Кербель отложил лопатку, сел на кучу кирпича, достал из кармана табак и бумагу и свернул папироску. Он подал табак наверх, Гансу Эре, тот табак взял, но в глаза ему не посмотрел. Бакханс положил еще несколько кирпичей, а потом сел около Кербеля и, когда подручные разошлись, спросил, набивая трубку:

— Ну как, Венде согласился?

Эре затыкнул, покачал головой; сжав губы, он упорно смотрел в камеру. У него перед глазами вырастала сеть каналов, сложенных из его специальных, фасонных кирпичей.

— Говорит, что это не по его части, — нехотя сказал Эре. Он чувствовал, что от огорчения и ярости вся кровь бросилась ему в голову.

— Тоже, видно, размазня, — проворчал Кербель. Он сидел, устало ссутулившись, и во всей его позе чувствовалось, как приятно ему передохнуть минутку после непрерывного сгибания и разгибания.

Один Рейхельт не отрывался от работы; упорно, яростно обтесывая кирпич за кирпичом, чтобы потом быстрее выложить канал, он крикнул Эре:

— И чего ты к нему ходил? Надо было самим поговорить с ребятами из шамотного цеха, они бы нам помогли.

— Правильно, надо было поставить бутылку водки, выпить вместе, — прибавил Кербель, — и был бы порядок. Без шума, без крику, без господ из дирекции.

Бакханс угрюмо посасывал трубку и молчал. Эре тоже молчал; по его глазам нельзя было догадаться, о чем он думает.

Во всем цеху чувствовалось, что приближается конец смены. Большинство рабочих уходило домой, оставалось только несколько бригад, занятых на непрерывной работе. Женщины у силитовых стержней убирали проволоочные щетки и шаберы, хлопали друг друга по спине, выбивая пыль из спецовок; некоторые, главным образом молодые, уже начали шептаться, сговариваться, где провести вечер.

Кербель бросил окуроч, взял лопатку, перемешал шамотный раствор и, опять принимаясь за кладку, сердито буркнул:

— Язык проглотил, что ли?

Бакханс выбил трубку и спросил:

— А почему Венде не хочет помочь?

Рейхельт, не дождавшись от Эре ответа, крикнул:

— Чего там! Верно, думает, у пролетария голова, что кочан, ума ни на грош!

— Заткни глотку-то! — крикнул Бакханс, вылезая из камеры. Понизив голос, он спросил Эре:

— Фасонный кирпич он не одобрил или еще что?

Эре, все еще переживавший обиду, чувствовал, как к горлу подступает комок.

— Я ему покажу! Он еще меня не знает! — буркнул он.

Ничего не понимающий Бакханс спросил:

— Да что случилось-то? Скажи наконец!

Чтобы не отвечать, Эре повернулся и пошел к выходу. Бакханс крикнул ему вдогонку:

— Ганс, слушай, мы остаемся. Шабашить рано, еще на сегодня не все закончили.

Но Эре ушел. Бакханс опять спустился в камеру к Кербелю.

— Они его докапают, вот увидишь, — сказал Кербель. — Вчера повстречалась мне его жена, я спросил, почему он у нее таким волком смотрит, а она как цыкнет на меня! Бой баба, этой палец в рот не клади, за словом в карман не полезет. Верно, ему с ней много хлопот!

Эре прошел через двор, мимо заводских подъездных путей, где вагоны грузили углем и силистыми стержнями.

Малиш, составитель поездов, рослый, сильный человек с широким открытым лицом и живыми глазами, партгрупорг цеха, крикнул ему с паровоза:

— Ну, Ганс, как дела? Все в порядке?

Эре кивнул, не зная, что имеет в виду Малиш, а затем крикнул:

— Ну, конечно, все в порядке! Пусть только попробуют сунуться!

— Еще что-нибудь придумал? — крикнул ему вдогонку Малиш, но Эре, не слушая его, пошел дальше; в горле у него опять стоял комок.

Всего несколько часов назад по дороге к шамотному цеху поставили большие деревянные щиты, а на них, в простых, покрашенных в красный цвет рамках, повесили портреты активистов производства. Эре остановился, увидел свою фотографию и испугался собственного лица. Он подумал: «Ничего удивительного! Ишь какое у меня здесь лицо испуганное! Нерешительное, безвольное! Ну что это за лицо! Ясно, что такой человек пороха не выдумает!» Да так оно и есть! Разве иначе он смог бы стерпеть столько обид? И тогда, у Ламперта, и когда он первую камерную крышку сложил, и когда Катрин дурить начала, а главное сейчас, когда он уже столько сделал. Он совершенно равнодушно прочитал неумело составленную заметку под своим фото, в которой кое-как перечислялись его

заслуги. И даже когда за ним закрылась дверь шамотного цеха, когда его оглушил скрежет дробилки, суета работы — даже и тогда у него перед глазами стояли слова... «благодаря его инициативе и разработанным им новым методам кладки камерных крышек удалось сократить время, нужное для их изготовления, на девяносто процентов...» Он горько рассмеялся, и собственный смех показался ему таким же резким, как скрежет дробилки, которая глотала кирпич за кирпичом, а затем выплевывала мелкую золотистую пыль. Он смеялся еще и тогда, когда его обнял Фале и радостно хлопнул по плечу, и Фале мог подумать, будто Эре тоже смеется от радости.

— Ну, брат Ганс, что нового? — крикнул Фале, заглушая грохот дробилки, и от его низкого густого голоса у Эре стало легче на душе. Хороший человек! И он тоже обнял Фале и весело хлопнул его по плечу. Тут же неподалеку молодой парень с прямыми, костлявыми плечами орудовал лопатой, нагнувшись над кучей шамотного порошка. Он с удивлением посмотрел на Фале, затем оглядел Эре, который, все еще весело смеясь, хлопал Фале по плечу.

Эре сказал:

— Хотел посмотреть, как у вас работа идет!

— Мы как раз начали. Эту неделю работаем в ночную смену.

— Ну, значит, эту неделю старуха дома скучать будет! — поддразнил его Эре, и оба опять расхохотались, когда Фале ответил:

— Это по мне-то скучать? Нет, не будет. Чего ей по мне скучать! Какая с меня теперь корысть?

Эре огляделся; он почувствовал, что Фале внимательно за ним наблюдает. Кирпичи различной формы и величины лежали на длинных деревянных полках. В сухом, насыщенном кирпичной пылью воздухе они светились теплым светом. В гигантском чане огромные зеленоватые жернова размалывали в порошок уже обожженные кирпичи, из этого порошка изготавливались шамотные кирпичи, которые затем также обжигались. Рабочие — все, кроме Фале, народ молодой — работали спокойно, без спешки, но во всех их движениях чувствовалась сила, сноровка, дружная уверенность; на лицах, на одежде лежал налет кирпичной пыли, и сами они казались каменными изваяниями, разыгрывающими причудливую пантомиму.

Эре с облегчением подумал: «Вот теперь я пришел куда надо! Сколько здесь различных шамотных кирпичей формуют, изготовят и мои! За сегодняшнюю ночь и то успеют сформовать и высушить кирпичи для одной камеры, утром посадят их в печи, как хлеб сажают, а послезавтра можно будет уже и в работу пускать!»

Он шепнул Фале:

— Ты мне пужен!

— А вы уже кончили? — спросил тот, сделав вид, что не понял.

— Кончили? — рассмеялся Эре и почувствовал, что уже давно не смеялся так легко, от всего сердца. И, хлопнув Фале по плечу, он весело крикнул:

— Какое там кончили! Только теперь настоящая работа пойдет! И вам тоже придется поворачиваться!

— Верно, верно! — рассмеялся и Фале.

Около них остановилось несколько покрытых пылью людей; увидев, что оба приятеля так весело болтают, молодежь тоже развеселилась, смотрела на них во все глаза и хохотала. А Эре, услышав звонкие молодые голоса, с удивлением подумал: «Что здесь все эти ребята делают?» Он спросил Фале:

— Молодняк этот ты вырастил?

— А кто же еще? — отозвался Фале. Он стоял, засунув руки в карманы брюк, белая пыль покрывала лицо, губы до крови потрескались от постоянной жары. — Двенадцать их у меня! Все, как огурчики, свеженькие.. Шестеро в Союзе свободной немецкой молодежи — четверо парней и двое девчат, одна собирается уже в СЕПГ подавать. Но и остальные шестеро не подкачают. За последние полтора месяца... — Он прервал свою речь, наморщил лоб, словно что-то обдумывая, потом сказал: — Понимаешь, в один прекрасный день я решил: хватит! У меня в цеху все больше бабски были... сам знаешь, какие, только одно от них и слышишь: вчера мне рыбы не досталось... приходится за всем в очереди стоять... вот прежде совсем другая жизнь была, прежде все лучше было!.. В один прекрасный день терпение у меня лопнуло, это же взбеситься можно! Вот я и взбесился, да и сказал одной: «Слушай, работа здесь тебе не по силам, тяжелая». И так одну за одной и спихнул их всех в другие цеха. Конечно, я спасовал, сам знаю, надо было за них как следует приняться, да боялся, что они меня в оборот возьмут. В моем-то

возрасте... бррр... — Он помотал головой. Затем продолжал, понизив голос: — А вот потом, как пришла сюда молодежь, и парни, и девушки, я позабыл, что мне уже под пятьдесят. Веселые такие, хохочут, надо мной подтрунивают, за спиной передразнивают. Вот я и подумал: да неужели я и вправду такой старик, что и смеяться-то разучился? Неужто и вправду старым брюзгой стал? Нет, решил я, нет... я от них не отстану! И набрал их к себе в смену двенадцать штук. Веселые, озорные, как воробьи. Как принялись они надо мной, над старым дураком, подтрунивать, а я возьми да с ними вместе над собой смеяться начал — и разом другим человеком стал. Пятидесяти лет как не бывало. Хоть и не совсем, а все-таки помолодел. А потом я их крепко в оборот взял. Ну, а теперь? Шестеро в Союзе свободной немецкой молодежи, одна уже в СЕПГ собирается. А остальные... — Он зашептал Эре на ухо, чтоб никто не услышал: — Один парень, такой — с прической, они его Стилягой зовут, он по вечерам иной раз в Западный сектор танцевать ходит, вот его мне надо перевоспитать, и я его перевоспитаю. Он у меня еще в Союз свободной немецкой молодежи вступит, а тогда он нашим будет. Ты священное писание читал? — спросил он в заключение.

— Священное писание?

— Ну да, — громко, от всей души расхохотался Фале. — Ведь Христос об одном грешнике радуется больше, чем о десяти праведниках. Так ведь?

— Да ну тебя к чорту! — сказал Эре.

А Фале завопил:

— Я на двадцать лет помолодел, понимаешь, на двадцать лет! — голубые глаза его весело блестели; его крижистое, крепкое тело выпрямилось; а серое, изборожденное морщинами, словно высеченное из камня, лицо действительно было, как у двадцатилетнего.

Эре отвел Фале в сторону, за деревянные полки, на которых сушились кирпичи, и настойчиво зашептал:

— Ты должен помочь. Один ты можешь помочь.

— Ну, конечно, ну, конечно, помогу, — успокоил его Фале, — почему не помочь?

Эре вздохнул с облегчением и, прочтя в глазах мастера сочувствие и готовность прийти на помощь, рассказал о

своём фасонном кирпиче, о том, какую надежду вся бригада возлагала на этот кирпич, а заодно объяснил, что он не обращается непосредственно к Вассерману, так как боится, как бы тот не задержал формовку кирпичей. Фале внимательно разглядывал чертежи, однако блеск в его глазах погас, губы сжались крепче. Когда Эре кончил свои объяснения, он помолчал, а затем вышел на середину цеха, подозвал молодежь; парни и девчата обступили мастера и с удивлением смотрели на него, засунув в карманы спецовок свои непривычные к праздности руки.

Фале сказал одной из девушек, стоявшей против него: — Ступай позови трех печников, что работают на ремонте камер. Скажи, дело срочное!

У девушки было спокойное, вдумчивое лицо; она минутку, не торопясь, что-то соображала, затем спросила:

— Сказать, что Эре здесь?

Фале кивнул, сел. Остальные тоже сели, кто куда: на ящики, на кирпичи, на мешки с шамотной глиной. Эре забеспокоился, шепнул мастеру:

— Ты что это, вздумал собрание устраивать? — И когда Фале кивнул, недовольно прибавил: — Зачем это надо? Ты здесь хозяин. Распорядись изготовить такой кирпич — и баста.

Фале ничего не ответил. Парни свертывали папироски. Один из них, тот самый, с прической, о котором только что рассказывал Фале, предложил одной из девушек сигарету.

— Американские, — сказал он.

— Ах, так, американские, — усмехнулась она, взяла сигарету, сунула в карман. — Потом выкурю.

В наступившей тишине скрежет дробилки звучал особенно резко, и когда заговорил Фале, Эре удивило, как его голос напоминает этот звук, немного скрипучий и в то же время спокойный, размеренный.

— Послушайте, — сказал он медленно, — я хочу обсудить с вами одно дело, о котором сейчас узнал от Эре. Он придумал для той печи, что сейчас ремонтирует вместе с другими печниками, особый фасонный кирпич. Придумал неплохо, насколько я понимаю. Вот он и просит, чтобы мы изготовили ему такие специальные фасонные кирпичи для одной, а то и для двух камер.

На всех лицах было написано удивление. Раньше

Фале никогда не обсуждал с ними новых заданий. Обычно, получая проекты и чертежи, он внимательно рассматривал их, а затем давал точные и краткие указания, которым молодежь привыкла следовать без возражений.

Некоторое время все молчали, не зная, что сказать, очень уж это было для них необычно.

— Ну что ж, ребята, сделаем! — заявил Бетцель, вертлявый парень, прозванный Стилягой, и все поддерживали его. Девушка, которой он дал сигарету, спросила:

— А чертежи есть?

— Если приналець, за ночную смену сделаем!

— А сколько кирпичей надо?

— Да примерно сотни две! — радостно заявил Эре, и, глядя на всю эту молодежь, он даже позавидовал Фале.

— За несколько часов управимся!

— И говорить нечего!

Дверь скрипнула, вошли Бакханс и Кербель вместе с посланной за ними девушкой, и Бакханс сказал:

— Рейхельт остался в камере. Говорит, нельзя столько времени даром терять.

Эре, в глазах которого сияла радость, но в то же время затаилась и зависть к Фале, сказал с веселым задором:

— У него нюх есть. Вы тоже могли не приходить. Уже все улажено. Ребята постановили отформовать нам кирпичи. Сразу для двух камер.

— А мы, девчата, как?

Все засмеялись. Они столпились вокруг Фале, а он не двигался, выжидал, испытующе поглядывая то на одного, то на другого. Кербель проворчал:

— Неплохо здесь у них! Сидят, покуривают да голосуют, когда какую работу делать!

Фале спросил:

— Итак, решено, изготовим специальные кирпичи для горелки? — И во взгляде, и в голосе чувствовалось ожидание. Эре спокойно смотрел на него.

— Да ведь все уже в порядке! — вырвалось у него. И вдруг в нем появилось что-то неуверенное, какая-то растерянность, он не знал, куда деть руки, и так как Фале ничего не ответил, он опять сказал: — Почему ты снова спрашиваешь, ведь все уже в порядке!

Девушка, ходившая за Бакхансом и Кербелем, обвела всех вопросительным взглядом, и по ее серьезному, спокойному лицу было ясно, что она на ветер слов не бросает.

Кербель громко спросил:

— Чего вы нас позвали?

Девушка с серьезным, спокойным лицом тихо спросила:

— В чем, собственно, дело?

Бетцель сказал иронически:

— Прочисти уши, Грета! Объяснять все сначала не стоит. Мы решили отформовать особый кирпич для горелки, и все тут!

Эре, совсем расстроенный, посмотрел на Фале, который избегал его взгляда.

— Какие кирпичи? — спросила Грета. Фале только теперь посмотрел на нее, улыбнулся и объяснил, чего хочет от них Эре.

Когда он кончил, она с удивлением спросила:

— А дирекция утвердила?

Эре свирепо посмотрел на нее, громко крикнул:

— Брось чушь пороть! Что вы дети, что ли, без няньки шагу ступить не можете?

Но сбить Грету с толку было не так легко, она спокойно продолжала:

— Да как же так можно? Кто-то с завода приходит и требует, чтобы мы пустили в производство новый вид кирпича, а мы и рады: изготовим! Разве мы можем разобратся, все ли с этим новым кирпичом в порядке? Нет, не можем! Ведь это же анархия в производстве. Завтра ползавода сюда нагрянет, и каждый будет для себя особой продукции требовать. Разве это порядок!

Эре с трудом сдерживался. Кербель презрительно сплюнул, буркнул Бакхансу:

— На кой чорт мы сюда пришли?

Эре прошипел:

— Бабья болтовня! — Глаза его налились кровью. Фале шепнул ему:

— Ведь я же тебе говорил, что у меня парни и девчата что надо! Эта та девушка, что в СЕПГ собирается.

Бакханс взял Эре за локоть, стал тихонько уговаривать.

— Ганс, послушай, возьми себя в руки! Должен же ты понять...

Но Эре отпихнул его, на минуту он словно оцепенел, наклонив голову, с налитыми кровью глазами, и у всех, кто смотрел на него, было такое чувство, что еще немного — и он взорвется.

Бетцель крикнул:

— А если ему такой кирпич дозарезу нужен...

Фале предостерегающе посмотрел на него, и он замолчал.

Эре засопел от сдерживаемого гнева, тяжело повернулся и, не говоря ни слова, шатаясь, как пьяный, побрел к выходу.

— Не трогайте его, — спокойно сказал Фале подавленно молчавшим рабочим. — Ничего, опомнится.

Фрау Вольмахер, заведующая детским садом, рослая, цветущая женщина, удивилась, услышав, что с ней хочет говорить Эре, отец Миле. Но когда он вошел, она перестала удивляться. Такого рода лица были ей хорошо знакомы — упрямый рот, суровые складки по обе стороны носа. Она знала, что происходит в душе у людей с такими лицами. Тут ничего нельзя сделать, разве только покориться их воле. Она не покорилась воле своего мужа: всего месяца два-три тому назад она ушла от него навсегда.

Глаза Эре были налиты кровью, веки покраснели, суровые складки у носа дрожали. На фоне звонких детских голосов, доносившихся из разных комнат, его голос звучал особенно резко:

— Я пришел за своим ребенком.

Фрау Вольмахер спокойно, немного свысока, кивнула головой; подумала: «Он не пьян, нет, это не то, но что-то тут неладно. Бедная жена! А между тем ее вид совсем не вызывает жалости».

Она повела Эре по коридору, выложенному сияющими белизной кафельными плитками, в приемную, где на столиках лежали газеты и брошюры, и попросила обождать. Эре, как был, в спецовке, сел в кресло и вдруг почувствовал, что он сильно устал. Он подумал: «Возьму ребенка, пойду домой, а когда придет Катрин, задам ей только один вопрос: — Как быть дальше? Так жить нельзя! Решай сама! Но уж решай раз навсегда!»

Дверь в комнаты для игр захлопнулась за фрау Вольмахер со скрипом, ворвавшимся резким диссонансом в хор детских голосов. Эре вздохнул и огляделся кругом. На стенах картинки, на которых в мягких пастельных тонах изображены незнакомые ему птицы и цветы, а в углу на этажерке стоят самые разнообразные кактусы. Вся комната излучает тепло и чистоту, как и лицо фрау Вольмахер; постели на стенах такие солнечные, светлые. «Верно, все для посетителей,— с горечью подумал он,— напоказ, для тех, кто вроде меня придет сюда на минутку, это им пыль в глаза пускают, пусть-де не беспокоятся, пусть думают—хорошо здесь нашим детям, как у Христа за пазухой. Но меня не проведешь! Нет! Мне все ясно, и история с Катрин тоже! Уж сегодня днем на заводе мне стало ясно, что лбом стену не прошибешь, будь он у тебя хоть каменный, а прошибешь, так новую выстроят». Ясно было то, что теперь он не спеша докончит работу над печью, не будет из кожи вон лезть, надрываться, станет работать, не отставая от других, и все!

Так он сидел и раздумывал, когда снова отворилась дверь и зазвенели детские голоса: перед ним стояла Миле; на круглом, как у матери, крестьянском личике написано удивление, ротик открыт, ясные голубые глазки смотрят вопросительно. Миле бросилась на шею к отцу. Он постарался, чтоб фрау Вольмахер не видела его лица, чтоб она не заметила, как он провел по глазам и рту тыльной стороной руки, как крепче стиснул челюсти — даже зубам стало больно!

Он хотел что-то сказать, может быть: «Ну, мы пойдем...» или «Больше никогда не пущу тебя в детский сад, птичка моя», а может быть, даже, почувствовав внезапный прилив горечи: «Что с тобой? Почему ты такая грустная? Ишь ведь, что мать натворила!» Но он молчал, зубам все еще было больно, так сильно сжал он челюсти, чтоб не сказать этих горьких слов.

Девочка спросила:

— Папуля, хочешь, я покажу тебе мою птичку?

Он кивнул головой, пошел за девочкой и, проглотив слюну, спросил:

— А какая у тебя птичка?

— Вся золотенькая! Вот какая у меня птичка — вся золотенькая! — и Миле потащила его за собой, туда, где слышался гомон детских голосов, сглушивший его и сразу

смокнувший; смущенный, стоял он в толпе ребят, и вдруг ему почудилось, будто над ним высокое лазурное небо, а вокруг жужжанье и стрекот, как летом в поле.

Дети впились в него голубыми, карими, серыми глазенками, удивленно и выжидательно, как зверьки; но ничего особенного не произошло, чужой дядя стоял все так же, смущенно переминаясь с ноги на ногу, и они снова принялись за свои занятия. Те, что постарше, сидя за низкими столиками, с серьезными лицами что-то мастерили; малыши любовались золотыми рыбками в аквариуме и канарейками в клетках; остальные затеяли хоро- воды и шумные игры.

Миле, не выпуская руки отца, тянула его к клетке. Она чирикала, как птичка, а ее волосенки золотились в лучах веселенного солнца, словно перышки канарейки.

— Вот моя птичка, — защелкала Миле. Она подошла к самой клетке, сунула пальчик между прутьев, птичка клюнула. Миле объяснила деловитым тоном: — Если я позабуду ее накормить, птичка умрет.

Эре криво улыбнулся.

— Я заберу девочку! — сказал он заведующей.

Фрау Вольмахер кивнула, взяла Миле за руку и пред-ложила:

— Давай покажем папочке все!

Она пошла вперед, ведя девочку за руку в освещенную лучами послеобеденного солнца, блестящую чистотой столовую с добела выскобленными столами; открыла сле-дующую дверь, и Эре даже зажмурился — просторная умывальня была выложена белыми кафельными плит-ками; на полу, в углах, между шкафчиками — ни пылинки.

Эре проворчал:

— Незачем мне все это показывать. Я забираю своего ребенка.

Но в то же время он как-то смущенно посапывал.

— Ведь правда хорошо? — спросила фрау Вольмахер, лукаво поглядывая на него ласково смеющимися глазами. Он кивнул головой, пошел дальше, опередив ее. Он думал: «А ребенка я все равно заберу! Все это только напоказ, для посетителей...» — но в глубине души он знал, что не-справедлив и по отношению к заведующей, и по отноше-нию к саду. Он совсем не так себе это представлял, совсем не так! Детский сад всегда представлялся ему большой пустой комнатой, а в ней куча детей под надзором болез-

ненной, сухой особы в тугонакрахмаленном чепце. В прежние годы он не раз встречал на улице приютских детей, которые шли парами, а рядом, словно фельдфебель, шагали женщины в чепцах; эти дети всегда напоминали ему птичек с подрезанными крыльями.

Он грубо сказал:

— Ну, мне пора. Девочку я забираю.

Фрау Вольмахер с чуть насмешливым и в то же время обиженным видом, подняв голову, прошла вперед в выложенную белыми кафельными плитками умывальню с узенькими шкафчиками некрашеного дерева, где висели пальтишки и другие детские вещи. Миле подошла к шкафчику, стала у дверцы.

— Выдайте и остальные девочкины вещи!

Фрау Вольмахер вопросительно посмотрела на него.

— Девочка больше не пойдет в сад, — словно нехотя сказал Эре.

— Не пойдет?

— Нет.

Заведующая нагнулась к Миле, взяла ее на руки, достала из шкафа ее пальтишко, стала одевать.

Миле не давалась.

— За мной мамуля придет, — плаксиво сказала она.

Эре хотел взять ее на руки, она отстранилась. Он почувствовал, что к горлу опять подступает комок, попробовал проглотить слюну, комок попрежнему стоял в горле.

— Идем домой, — сказал он. — Больше никогда не пойдешь в детский сад, слышишь, никогда!

— Но как же... — прошептала озадаченная фрау Вольмахер.

Девочка прижалась к ней. Эре стал ее ласково уговаривать:

— И мамуля никуда не уйдет, будет дома сидеть целый день, и тебе не надо будет в детский сад ходить.

Девочка заплакала:

— Хочу в детский сад! Хочу каждый день в детский сад!

Эре что-то проворчал, выдернул из карманов руки. Миле вцепилась в заведующую. Давно, в детстве, Эре как-то поймал больного птенчика, он хотел его погладить и задушил, сдуру слишком сильно стиснув своими неловкими пальцами. С тех пор каждый раз, как он вспоминал

этого птенчика, краска заливала его лицо и он обтирал руки о штаны. И сейчас руки тоже невольно потянулись к штанам.

Он нагнулся к девочке, ласково сказал:

— И мамуля никуда больше из дому не уйдет, вечером мы будем играть с тобой, хочешь?

Но девочка упорно молчала, спрятавшись за заведующую. Эре взял пальтишко, но когда он нагнулся, девочка выскользнула у него из рук и убежала.

Он растерянно смотрел ей вслед, не выпуская пальтишка из рук. Фрау Вольмахер с трудом сдерживала улыбку; лицо ее сияло, но во взгляде не было ничего обидного, ничего, что могло бы вызвать вспышку гнева. Беспомощно опустив руки, крепко сжав губы, уставился Эре на дверь, за которой исчезла девочка. И, глядя на него, фрау Вольмахер почувствовала, что не из-за девочки, не из-за того, что она убежала, он такой расстроенный, нет, причина тут гораздо глубже; а когда она взглянула ему в глаза, она поняла, что он потерпел целый ряд поражений — не только это одно, сейчас, с ребенком.

— Дайте сюда девочкины вещи, — сказал он грубо.

Фрау Вольмахер достала и отдала вещи. Он свернул их, сунул подмышку, оба молча пошли по узкому коридору, слышен был только стук шагов по кафельным плитам. В большой столовой девочки не было и в других комнатах тоже.

— Где она? — с беспокойством спросил Эре.

Уже около приемной ему почудился ее взволнованный голосок, звонкий, пронзительный, вдруг перешедший в жалобный, надрывающий сердце детский плач.

Открыв дверь, они увидели у одного из столиков Катрин с плачущей девочкой на руках. Она стояла, опустив глаза. Фрау Вольмахер поздоровалась с Катрин. Эре подошел к ней, Катрин взглянула на него, он отдал ей девочкины вещи, а она, ни слова не говоря, передала их все, кроме пальтишка, фрау Вольмахер. Затем оба взяли девочку за руки и молча пошли домой.

И молчание встало между ними холодной, непреодолимой стеной. Небо заволокло, над домами нависли холодные промозглые сумерки, тускло мерцали огни в запотевших окнах.

На остановке они влезли в трамвай, и несмотря на то, что их тесно прижали друг к другу, они чувствовали себя все такими же далекими. Оба старались смотреть по сторонам, а если случайно встречались глазами, тотчас же отводили взгляд.

Спустя некоторое время Катрин спросила, и голос у нее был холодный, внушающий беспокойство:

— Что это тебе в голову взбрело?

В трамвае было шумно, Эре рассмеялся. Катрин тяжело вздохнула, она думала: «Как, как мне выйти из этого тупика? Я попрежнему тянусь к нему всем своим существом, и все-таки это уже не то», — и на какую-то минуту, с отчаяния, не зная, что делать, она решила не ходить больше на работу, хотя бы ради того, чтобы не потерять его.

Она сказала:

— Нехорошо ты придумал, нельзя так!

Но он молчал, а когда Катрин заглянула ему в глаза, она почувствовала, что еще немного и он ее ударит. Она засмеялась, чуть-чуть, еле слышно; кровь бросилась ему в голову, а она засмеялась громче. Потом спросила:

— Ну, как с фасонными кирпичами?

Он стиснул зубы; вероятно, она уже знает о его неудаче и спросила это в насмешку.

— Я слышала, что все в порядке.

— Кто сказал? — прошипел он, с трудом сдерживаясь, чтоб не вспылить.

— Венде. Я встретила его незадолго до окончания работы. Он поздравил меня с таким мужем.

— Меня он тоже поздравил с такой женой! — буркнул он, зло усмехнувшись.

На остановке он вышел, ни слова не сказав; постоял, огляделся и, увидев пивную, направился прямо туда.



V

Погруженный в унылые думы, Эре долго просидел в пивной. Он выпил несколько стаканчиков водки; в них он потопил и ярость, охватившую его после разговора с Катрин, и бессильную досаду на себя и на жену. Прямо из пивной он отправился в цех. От вахтеров Эре узнал, что доктора фон Вассермана уже нет на заводе; однако адрес его квартиры они дали.

Когда Эре уже повернулся к двери, старичишка-вахтер спросил:

— Ты что, или малость хватил?

Эре холодно и строго взглянул на вахтера.

А тот продолжал:

— Конечно, почему бы тебе и не угощаться! Ты же теперь начальство! Многонько, небось, зашибаешь?

Эре не ответил, хотя явная зависть старика была ему приятна. Он поднял руку, старикишка испуганно отшатнулся, словно опасаясь, что Эре прибьет его, но тот сказал несколько приветливее:

— Что ж, и зарабатываем... А сколько? Да лопатой гребем!

— Поэтому-то вы теперь на заводе днюете и ночуете! — захихикал вахтер. — Твоя бригада и сейчас еще возится с печью.

— Все еще возится?

Эре вышел, хлопнув дверью. Когда он вернулся в цех, он услышал сердито спорящие голоса. Освещенные резким беловатым светом прожектора, все три печника из бригады Эре стояли вокруг ящика с раствором; хотя они что-то друг другу кричали, он не понял ни слова. Прячась за керамическими трубами, Эре подкрался ближе и встал за одним из столбов. «Я же не знаю, откровенны они или нет, когда они говорят со мной», — оправдывался он.

— А кто собирается его бросать? Никто! — кричал Кербель.

— Да ведь ты уверял, что его нужно отговорить, — послышался голос Бакханса. — А я считаю так: или поддерживать до конца, или бросить сейчас же. — Подобравшись поближе, Эре увидел взволнованное колючее лицо Кербеля. Бакханс продолжал: — Либо то, что Эре затеял, — дело хорошее, и тогда нужно ему помочь, либо нестоящее, а тогда так ему и скажем.

— Да разве я говорю, что оно плохое? — оправдывался Кербель. — Я только насчет того, что мы нынче уж больно много рабочего времени потеряли... ведь ему приходится спорить там, с этим проклятым сбродом из дирекции! Ты думаешь, он своего добьется? Они согласятся? Ты же слышал, что говорил Фале?

— А ты не знаешь Эре, — заметил Рейхельт, — он непременно добьется, он упрям, как бык!

— Ну, а вся эта дерьмовая интеллигенция?

— Он ее обработает!

Кербель недоверчиво усмехнулся.

— Еще неизвестно, кто кого обработает! А может, она его? Сам посуди — какой для них интерес в его предложении? Да никакого, поверь мне. Ты вот все твердишь

насчет того, что заводы, мол, принадлежат нам, народу. А они? Про них ты забыл! Вот видишь!

Бакханс помолчал, что-то обдумывая, потом язвительно возразил:

— А народ — это ты один? Так, чорт бы тебя побрал? Как же это выходит? Ты один? Либо только мы, рабочие?

— Что ж, по-вашему, господа-спецы тоже народ? — вскипел Кербель, но по его тону было ясно, что Бакханс припер его к стенке.

Рейхельт снова взял в руки лопатку; его голос глухо доносился из камеры: — Пусть я тут сдохну, все равно я не уйду, пока мы своего не выполним. Взялись за эту кость, так надо и разгрызть ее до конца. А насчет интеллигенции ты неправ. Эре и ее обработает. Он же упрям, как бык! Что они могут против него? Ничего! Вот только говорить он не мастер...

Тем временем Бакханс тоже принялся за работу. Кербель последовал его примеру, хотя все еще продолжал что-то бурчать. Однако его слов Эре уже не мог разобрать. Он тихонько стал пробираться к двери, хотел осторожно притворить ее за собой, но сквозной ветер вырвал ее у него из рук и с шумом захлопнул.

Печники, работавшие в камере, подняли головы — цех был пуст. Кербель спросил с тревогой:

— Был тут кто-нибудь?

Рейхельт рассмеялся; его молодое задорное лицо с резкими чертами было залито потом:

— Тебе что, привидения мерещатся? Кому тут быть?

Улыбнулся и Бакханс; потом все замолчали. Слышен был только шум работы: шарканье лопаток, стук кирок по кирпичам, хриплое дыханье троих мужчин.

Когда Эре позвонил у подъезда доктора фон Вассермана, в квартире воцарилась тишина. Прошло несколько мгновений, но за дверью попрежнему было тихо, и Эре опять нажал кнопку звонка. Его раздражение росло. Наконец в квартире где-то тихонько скрипнула дверь, и Эре показалось, что он слышит чье-то осторожное и прерывистое дыхание. Нажимая кнопку в третий раз, он подумал: «Подожди, старикан, я тебя возьму в оборот!» И так как в квартире попрежнему не было заметно никакого движения, он стал стучать в дверь кулаком.

Плаксивый женский голос спросил:

— Кто там?

Эре опять постучал. Шаркающие шаги приблизились, но дверь не открылась, и тот же голос спросил:

— Да кто там?

Эре крикнул:

— Я с завода. Мне нужно поговорить с доктором фон Вассерманом.

Дверь чуть приоткрылась.

— Так поздно? — спросила женщина в узенькую щелку; однако, увидев, что он один, успокоилась и впустила его.

— Моя фамилия Эре, мне дозарезу нужно повидать доктора фон Вассермана...

— Но ведь уже ночь! Неужели вы не можете завтра на заводе...

— Нет, мне нужно непременно сегодня, — упрямо настаивал Эре. Дверь из комнаты в прихожую отворилась, и появился Вассерман в пижаме, щуря близорукие глаза, он старался разглядеть неожиданного посетителя.

— Господин доктор, мне дозарезу нужно с вами переговорить. — Эре ринулся вперед, мимо женщины, навстречу Вассерману; а тот вытянул руку, словно запрещая ему входить в комнату. Эре пожал эту руку, извинился за поздний приход. Женщина, опешив, продолжала стоять у двери. Вассерман, побледневший еще более, чем жена, растерянно лепетал:

— Да, но... господин... Простите, как ваша фамилия? Да, Эре... Так поздно? Разве что-нибудь случилось?

Эре про себя ухмыльнулся. Женщина, наконец, решилась уйти; и когда она проскользнула в комнату, Вассерман плотно прикрыл за нею дверь. Эре вытащил из кармана свой блокнот, поднес его к тусклой лампочке и поискал глазами стул. «Ну уж и невежи», — подумал он, однако начал свои объяснения.

— Одну минуту, прошу вас, одну минуту, — прервал его Вассерман; он вышел из прихожей вслед за женой, и когда дверь за ним затворилась, остановился посреди слабо освещенной комнаты. Жена сидела перед дорожным сундуком и, закрыв лицо руками, тихонько всхлипывала. Взгляд Вассермана блуждал среди беспорядка разбросанных вещей и раскрытых чемоданов. Мелкими шажками он подбежал к ней, молча провел рукой по ее тонким

рассыпавшимся волосам. Жена не смотрела на него, все еще пряча лицо, — между пальцами ее струились слезы.

— Он пришел только насчет своего предложения, — прошептал старик, — ради бога, успокойся!

Он взял стул и вышел опять в прихожую. Женщина встала, осторожно, на цыпочках подошла к чемодану, стоявшему возле большого шкафа, и снова принялась укладывать вещи.

Вскоре она услышала голоса обоих мужчин, однако, о чем они говорят, разобрать не могла. Фрау Вассерман взяла со стола письмо, неслышно подошла к двери. Она прислушивалась к разговору в прихожей и в то же время, не отрываясь, смотрела на исписанный лист бумаги, словно он неудержимо притягивал ее. В письме было написано следующее:

«...Положение звезд в последней трети февраля для вас неблагоприятно; вам, а особенно любимому вами человеку, угрожает большая опасность. Вероятно, ему не удастся ее избежать, но сами вы спасетесь. Потом одна мощная держава освободит его, и вы полетите вместе на широких крыльях навстречу вечерней свободе, где его будет ждать важный, ответственный пост. Ваша жизнь тогда начнется заново, и к вам опять вернется пора вашей молодости».

Она услышала резкий голос незнакомца:

— Господин доктор, я хочу только одного: объяснить вам мой проект и получить ваше согласие на то, чтобы сегодня же вечером были обожжены пробные кирпичи. Вот и все.

Фрау Вассерман услышала шуршанье бумаги, негромкий голос мужа, задававший вопросы, и уверенный ответ незнакомца:

— Может быть, вам неясно значение этого нового кирпича? Ведь как прежде было? Чтобы выложить одну камеру, нам надо было обтесать не менее 450 кирпичей. Мне незачем вам объяснять, какую экономию времени и материала даст новый фасонный кирпич.

Фрау Вассерман вздохнула с огромным облегчением и беззвучно заплакала. Она услышала, как муж спросил:

— Сколько камер у вас уже готово?

— Семь, — ответил незнакомец. — Мы теперь справляемся в намеченное время, но мне хотелось бы еще сократить его и чтобы мы так не мучились.

Вассерман стоял перед Эре в полутемной прихожей среди ночной тишины и думал: «Еще два месяца назад этот человек чувствовал себя так неуверенно, он двух слов связать не умел, не способен был ясно выразить ни одной мысли, а теперь — ушам своим не веришь!» Он нерешительно спросил:

— Скажите, Эре... ради чего вы, собственно, так стараетесь? Вы же не знаете покоя ни днем, ни ночью. Ну ради чего?

Эре смущенно усмехнулся, однако не нашелся, что ответить. Он глядел на стоявшего перед ним старика — лицо у того было поблекшее, усталое, глаза полны тревоги и беспокойства, но почему — Эре не знал.

— Ведь какая-нибудь причина должна же у вас быть, — продолжал Вассерман... — Я этого не понимаю.

— А я понимаю? — спросил, в свою очередь, Эре. — Я должен — вот и все, — продолжал он увереннее. — Это внутри у меня сидит.

— С каких пор?

— Да всегда! Но раньше... оно, конечно, тоже было... да его точно десятью возами мусора завалили.

— А потом? — беззвучно спросил старик.

Эре пожал плечами.

— Ну, теперь все стало по-другому, как будто мусор кто-то убрал. Я иной раз и сам удивляюсь! — Все еще смущенный, Эре не смотрел на старика, и его худое, суровое лицо, иссеченное глубокими складками, покраснело, словно от стыда.

— Удивляетесь? — спросил Вассерман.

— Вы это насчет чего?

— Я спрашиваю, чему же вы удивляетесь?

Лицо Эре выразило напряженную мысль:

— Я тому удивляюсь, что оно во мне сидело, а я все эти годы и не знал. Удивляюсь, что кто-то десять возов мусора вывез и до сих пор еще чистит.

— Кто же чистит?

— Партия!

— Так, — беззвучно уронил Вассерман и отвернулся.

— Моя партия убирает весь этот мусор. Понимаете, доктор, моя партия; и вот я вижу, что во мне есть что-то, о чем я раньше и не подозревал.

Лицо Вассермана, обычно такое вялое, с бесчисленными морщинками вокруг глаз и узких губ, просияло.

— Ах, Эре... — ему, видимо, было трудно продолжать. — Какие вы молодцы! — Он улыбнулся, глядя куда-то вдаль, и Эре тоже почувствовал, как в груди поднимается горячая волна и что-то сжимает горло. И он был рад, что в прихожей полутемно.

— И знаете, доктор, чему я еще дивлюсь?

— Чему же?

— Да что у вас тоже не барская рожа!

— Что?

— Не рожа помещика!

— Как... как вы сказали?

— И потом я дивлюсь, что мы вот так с вами запросто разговариваем.

Старик поднял руки, что-то пробормотал, а потом уронил их, засунул в карманы; и так они стояли друг перед другом в этой полуосвещенной прихожей, старик и Эре, и ни один из них не удивлялся, что оба молчат. Потом они посмотрели друг другу в глаза и отвернулись.

Эре спросил вполголоса:

— Так как же мой фасонный кирпич, доктор?

Вассерман выпрямился и ответил так же негромко:

— Вы подождете меня минутку? Мы сейчас вместе отправимся в шамотный цех. Вызвать машину?

— Машину? Да ну ее! Тут ведь рукой подать! Да и трамваи еще ходят.

Вассерман вышел, а Эре, оставшись один в освещенной тусклым, желтоватым светом прихожей, думал: «Право же, у него не барское лицо. Душевный старик, только не нужно сразу уж очень напирать на него».

Вассерман притворил за собой дверь; перед ним стояла жена, держа в руках письмо. Он взял его и изорвал на мелкие клочки, потом обнял жену за плечи и подвел к креслу. Обрывки бумаги он сжег в пепельнице и теперь задумчиво следил за медленно угасавшим пламенем.

Жена прошептала:

— Ну как же, как же...

Казалось, он не слышит ни ее слов, ни всхлипываний. Рассеянно погладил он ее руки, потом сказал вполголоса:

— Пойми же меня, Гертруда! Хоть раз пойми меня. Я не могу уехать. А теперь тем более. Этот рабочий там,

в прихожей... — Он остановился, словно подыскивал слова. — И я вообще больше ни о каких отъездах слышать не хочу, не хочу больше никогда укладываться — все равно: будь, что будет. Когда-нибудь ты должна это понять.

Глаза сидевшей в кресле женщины напоминали глаза старой грустной птицы, глянцевитые, с большими неподвижными зрачками. Она посмотрела на мужа, кивнула, крепко стиснула его руки.

— Мы здесь с тобой состарились, Гертруда, — сказал он как будто с мучительным усилием, — и все нам давно знакомо. Вон те деревья внизу, на берегу озера, этот дом среди лугов — все нам знакомо, вся наша жизнь здесь прошла.

Жена опять кивнула, она точно окаменела.

— Как отсюда уедешь! — настойчиво продолжал он.

Ее глянцевитые глаза смотрели мимо него, и он чувствовал, что она его не понимает. Уже с отчаяньем он заговорил опять:

— Гертруда, пойми же меня... — он легонько встряхнул ее. — Вот приходит ко мне этот Эре и говорит про фасонный кирпич, а я в душе улыбаюсь: «В чем тут дело? Что он смыслит?» — И я сначала подумал: «Наверно, из тех, что орденов добиваются, какой-нибудь сумасшедший, который никому покоя не даст!» Но не могу же я просто так его выгнать. И вот я рассматриваю его чертеж и вижу, что тут кое-что есть, и даже очень есть. Нег, ты должна понять, Гертруда, это меня захватило. А он говорит: «Раньше все было во мне десятью возами мусора завалено, а теперь мусор разгребают». Люди стали совсем другие, Гертруда, лучше. А уж самые лучшие... — он подумал, и продолжал: — Да, люди стали лучше, Гертруда, лучше! — Он обнял жену, обхватил ее старое, увядшее тело, прижал грустную птичью голову к своей груди и шепнул: — И нам нельзя становиться хуже. Если люди вокруг тебя становятся лучше, то нельзя самому становиться хуже.

Но он не был уверен, что его понимает та, с которой он прожил всю жизнь; и он страдал.

— Матшат предупредил, что будет ждать нас около двенадцати, — прошептала она.

Вассерман втянул голову в плечи и не ответил. Они молча стояли рядом, и каждый чувствовал биение своего сердца, своей крови.

Эре, дожидавшийся в прихожей, кашлянул. Фрау Вассерман вздрогнула.

Вассерман сказал:

— Мне нужно еще побывать на заводе. А ты пока вынь все из чемоданов и разложи вещи в шкафах, как они лежали всегда. Мы больше никогда не будем укладываться, разве только в отпуск поедem. — Он улыбнулся и снова обнял ее: — Ведь скоро лето, и мы в этом году, наверное, смогли бы съездить на Хиддензее.

Ее лицо посветлело, как будто в комнату упал луч солнца.

— Хиддензее, — повторила фрау Вассерман. И она увидела то же, что увидел он, и улыбка обоих была проникнута нежностью воспоминаний. Но тут же фрау Вассерман вздрогнула и сказала: — А что если этот Матшат придет и спросит?

— Он не придет, — отозвался муж. И в его голосе она услышала давно позабытые нотки: он звучал так бодро! Так молодо! — А если он придет, — добавил фон Вассерман, — что ж, посмотрим!

Она с удивлением взглянула на него, ибо давно не слышала, чтобы он так говорил — строго, решительно и угрожающе.

Завод выступил перед ними темной громадой; только на пути к отдельным зданиям кое-где горели редкие фонари. Вассерман и Эре недолго задержались в проходной. Шамотный цех работал круглосуточно. Когда они переступили порог, Фале пошел им навстречу. Он испытующе посмотрел на Эре, и его лицо расплылось в широкой улыбке. Подошли несколько учеников и также уставились на Эре и Вассермана; Фале отослал их на место.

— Мы не будем тратить время на лишние разговоры, — начал Вассерман, поздоровавшись с Фале. — Вы знаете, зачем мы пришли?

Фале кивнул. Дробилка тяжеломерно гроыхала; аккуратными стопками лежали на высоких деревянных козлах шамотные заготовки. Время от времени молодые рабочие подбадривали друг друга веселыми возгласами.

— Ну что же ты, начинай! — нетерпеливо предложил Эре. Однако Фале медлил.

— Я считаю,— добавил Вассерман,— что к приготовлению фасонных кирпичей надо приступить немедленно, и даю сейчас на это свое официальное согласие. Письменное разрешение получите завтра.

Фале покачал головой, и на его резко очерченном утомленном лице отразилось сомнение.

— Ну, что же ты тянешь? — возмутился Эре.

Но Фале озабоченно проговорил:

— Я-то готов все сделать, чтобы поддержать твое предложение и провести его в жизнь. Прошу только не забывать об одном... Я сомневаюсь...

— Сомневаетесь? — перебил его Вассерман. — Я тоже. — Он подмигнул Эре, успокаивая его, потом улыбнулся умной и тонкой улыбкой: — Но я все сомнения перечеркнул, выбросил вон! На этот раз не должно быть никаких задержек. Я с Эре согласен, нужно когда-нибудь дерзнуть и бросить проторенные пути.

«Здорово! Как это Эре старика обработал?» — озадаченно подумал Фале. Он вспомнил то совещание, на котором проект Эре о новом способе ремонта кольцевых печей был отклонен и все были настроены враждебно оттого, что сам Вассерман, обычно с мрачным упорством восстававший против любых новшеств, удержал всех от положительного решения. И вот теперь этот Вассерман стоит среди цеха, его старческое лицо помолодело, глаза блестят, маленькие нервные руки сжаты в кулаки, и это он уговаривает Фале, а не Фале его.

— Ну, что ты уставился как баран на новые ворота! — накинулся Эре на товарища.

Однако Фале трудно было вывести из равновесия.

— Не нужно забывать,— начал он,— что эти самые кирпичи, которые хочет получить Эре, во время обжига, вероятно, подвергнутся такой нагрузке на прочность, какой мы сейчас и предвидеть еще не можем. Ведь как дело обстоит с газовыми каналами в камере? До сих пор их выкладывали из четырех кирпичей, и так как они были выложены вперевязь, то каждый кирпич от температурного воздействия мог сдвинуться, но мог и остаться на месте! Ну, а теперь? Горелки состоят из одного фасонного кирпича, и кто поручится, что кирпичи не треснут, не разрушатся, не завалятся один на другой и не помешают свободному проходу газа?

Прищуриив близорукие глаза, Вассерман смотрел по сторонам. Эре разорвал папиросу, сунул в рот табак, начал жевать.

— В горле пересохло, — закрихтел он в ответ на удивленный взгляд Фале.

— Так выпей воды! — спокойно заметил тот. Эре бросил на него разъяренный взгляд, но увидел в глубине его глаз веселую, ласковую усмешку.

Вассерман сказал сдержанно и негромко:

— Я готов взять на себя ответственность, всю целиком, один. Даже если с первой камерой не все выйдет так, как нам представляется, мы должны приложить все усилия, чтобы проверить пригодность новых кирпичей.

— Да я же не против, — сказал Фале; он был рад, что припер Вассермана к стене и заставил взять на себя не только обычную формальную ответственность. — Но я предлагаю, — заговорил он снова, — посоветоваться с доктором Лаутером. Пусть он распорядится сделать анализы, а тогда и начнем.

— Ах ты господи! — закрихтел Эре, и казалось, он видит перед собой сплошные рогатки, преграждающие ему дорогу. — Пока там проканителются с этими анализами... Значит, мы начнем только на той неделе.

— Почему же? — удивился Фале, — Лаутер сейчас здесь. Вызовем его — и все будет в порядке. Он ведь тоже может представить свое заключение в письменной форме, — добавил Фале насмешливо.

— Лаутер на заводе?

— Да он домой и не уходит! Разве твоя жена тебе не рассказывала?

— О чем это? Да, но... — Эре осекся. Фале, прищурившись, зорко посмотрел на него.

— Он же закончил все предварительные опыты по выработке медного порошка и теперь готовится к выпуску продукции в массовом масштабе. А тут на него еще вся работа по лаборатории свалилась. Разве тебе жена не говорила?

— Как так — по лаборатории?

— Да ведь Глюлингша удрала в Западную — старая фирма там теперь обосновалась... А доктор Лаутер тут и подвернись... Говорит, без твоей жены совсем пропал бы.

Она же теперь руководит всеми работами по оборудованию этой лаборатории.

— Что? — Вассерман удивленно посмотрел на Эре.

— Выходит, ничего ты не знаешь, — вставил Фале, — а Лаутер говорит — только такая замечательная женщина, как твоя жена...

— Что он говорит? — Эре побагровел.

Фале усмехнулся, и эта насмешка была для Эре так мучительна, что он отвернулся. Он вспомнил один случай минувшей осенью: Лаутера назначили к нему подручным. Хотя его и нельзя было назвать целовком, но по всем его движениям чувствовалось, что он лишь с большим трудом и при напряжении всех своих сил выполняет ту работу, которая от него требовалась. И Эре насмехался над ним, гонял больше чем нужно, а про себя думал: «Небось нацистом был? Да? А теперь вон какие настали времена, и когда ты вечером приходишь домой, ты теперь знаешь, каково человеку, который весь день трудится, как ломовая лошадь». Так он говорил себе тогда, но безмолвная готовность Лаутера выполнять все, что ему поручалось, невольно располагала к нему.

Он услышал голос Фале:

— Вчера мне пришлось кое о чем потолковать с Лаутером, и я скажу: занятный человек, спокойный такой, серьезный. А когда говоришь с ним, то чувствуешь — не тем сейчас его голова занята: он думает только о своем медном порошке.

— И ты считаешь — он нам поможет? — спросил Эре, но мысли его были заняты Катрин. Как это Лаутер сказал про нее... «Замечательная женщина!..» Что он имел в виду?

— Да ты спроси жену, — услышал он опять голос Фале.

Эре поднял руки, сжал кулаки, однако снова уронил их.

— Не лезь в мои дела! — проговорил он с усилием.

— Я? В твои дела?

Но Эре уже повернулся к Вассерману:

— Идемте, доктор. У меня голова пухнет от этой болтовни.

Вассерман дал Фале точные указания относительно изготовления фасонных кирпичей, и они ушли.

Фале проводил их взглядом и опустил глаза на чертеж, который держал в руке: — Ну и парень! Ну и паршивец! — рассмеялся он и встряхнул плечами; все это необыкновенно радовало его.

Работавшая поблизости молодежь — девушки и подростки — подняли головы. Он кивнул им, и они подошли. Его энергичное лицо даже разгорелось от волнения.

— Ну, теперь все от вас зависит, — сказал он. — Вы, ребята, эту ночную смену надолго запомните, еще не один день все косточки ныть будут!

Удивленные рабочие заговорили все разом. Один даже шепнул соседу:

— Он что — хватил лишнее?

Но Фале ограничился кратким разъяснением:

— Нам предстоит выпустить такой кирпич, который нельзя доверить машине. Шаблоны мы должны изготовить собственными руками. Так вот! Давайте!

И в том, как молодежь приступила тут же к выполнению его указаний — быстро, но спокойно, без лишней суетливости, — чувствовалась не только воля к труду, но и отличная согласованность, как в хорошо сыгравшейся футбольной команде. Зритель решил бы, что все это заранее подготовлено.

Две девушки — одной из них была Грета — принялись аккуратно подметать самый длинный проход, другие — среди них были и парни — натащали досок, а затем быстро и ловко сложили из них на полу длинный прямоугольник.

— Давайте планки! — крикнул Бетцель.

Другой спросил:

— Какой размер кирпичей?

Фале озабоченно водрузил на нос очки в стальной оправе и начал тщательно высчитывать размеры кирпича. Тем временем двое парней притащили кучу досечек, чтобы, как только Фале даст точную ширину кирпичей, распилить их. Заработали молотки и пилы, и так как все остальные машины в цехе были остановлены, слышен был только визг пил да по временам перекликались молодые взволнованные голоса: они то становились громче, то стихали, звенел смех, кто-то бранился, и все покрывал спокойный, слегка ворчливый бас Фале.

— Сколько кирпичей нужно сделать? — спросил Бетцель. На полу он поставил ребром доски, сколотил их

концы гвоздями, и это подобие ящика длиной более десяти метров напоминало те ящики с песком, в которых играют дети.

— Да сколько же, чорт возьми, мы должны сделать кирпичей? — повторил он свой вопрос.

— Давай полегче, — буркнул Фале.

— Уж и спросить не смей! — разозлился Бетцель. — Какого чорта, я же должен знать! Коли я тут закончу, так я могу в другом проходе делать новый шаблон!

— Новый шаблон все равно сделать надо на всякий случай, — пояснил Фале, — и обернулся к рабочим, распиливавшим дощечки для внутреннего паза кирпичей. На одного из них, худого парня, он так и накинудся: — Ты что? Никогда про угольник не слыхал? Ни разу? Сейчас же раздобудь угольник и обрезай каждую дощечку с такой точностью, как будто ты столяр и тебе нужно сделать платяной шкаф!

Парень что-то проворчал.

— Вот спутался с вами! — рассердился Фале. — Обузу себе навязал! Миллиметр — пустяк, говоришь? А я тебе скажу, ты, значит, еще не понимаешь, что такое шамотный кирпич! Как ты думаешь, хорошо для одежды, если платяной шкаф не закрывается? Можно ее туда вешать? Что ты там мелешь? Шамотный кирпич — другое дело?

Но парень уже давно исчез, а когда он вернулся с угольником и все дощечки снова промерил, Фале опять на него напустился:

— Так шамотный кирпич, говоришь, незачем вымерять до миллиметра? Ну и ученички у меня! Каждый миллиметр для печи важен, каждый! Понятно?

Парень покорно выслушал этот поток упреков. Поверх очков Фале окинул взглядом цех, и когда он увидел, какое оживление царит среди рабочих и как деловито они снуют туда и сюда, увидел их скупые и точные движения, лицо его просияло.

— Эй вы, черти! — крикнул он парням, возившимся с шамотной смесью. — Да она загустеет раньше, чем вы соберетесь размешать ее!

Парни энергичнее заворочали лопатами.

Бетцель крикнул:

— Для первых двадцати штук шаблон готов! А что теперь?

— Разве я тебе не сказал — делай новый? — накинулся на него Фале.

Ученик, распиливавший дощечки, захихикал:

— И чего ты к нему пристал? Начинай скорей, не то старик даст нам жару!

— Что вы тут языком треплете?

Хотя голос у Фале и был сердитый, но при виде быстрых и ловких движений учеников в глазах его вспыхнула радость.

Группа шамотников, замочив первую партию, на миг прекратила работу: парни стояли, опершись на лопаты, и поглядывали по сторонам. Бетцель вкладывал последние дощечки в пазы. Грета подметала следующий проход и с затаенной тревогой поглядывала на Фале, но тот не обращал на нее никакого внимания. Другая группа принялась заполнять формы шамотной смесью, а двое парнишек, сняв куртки и рубашки, уминали ее тяжелыми трамбовками.

Фале пошел вдоль форм, внимательно проверяя влажность смеси и бурча что-то себе под нос. Увидев, что Бетцель заканчивает второй шаблон, Фале свернул к своей маленькой конторке, сколоченной из досок в углу цеха.

Грета нерешительно преградила ему дорогу. Он удивленно взглянул на нее.

Она спросила:

— А это правильно — то, что мы делаем?

— Правильно? А почему же нет? — еще больше удивился он.

— Ну вот, что мы сразу делаем кирпич, не дожидаясь химического анализа. Так можно? Ведь если мы это дело завалим, нас же будут обвинять...

Фале пристально посмотрел на девушку, потом лукаво подмигнул ей:

— Не бойся, не завалим! Насколько я понимаю в шамотном деле... мы можем спокойно брать такой же состав, который берется для обычного кирпича. Но ты сама посуди, должен был я этого полоумного Эре отсюда выставить?

Грета смотрела на него, она ничего не понимала.

— Обоих должен был я выставить, не то они бы совсем заморочили нам голову — и Эре и старик. Ну вот, я и послал их к доктору Лаутеру. — Фале рассмеялся и добавил: — Запри-ка все входы, и если этот Эре придет,

не впускай его. Скажи — пусть не волнуется, завтра, мол, рано утром все его кирпичи будут готовы.

Грета кивнула, ее запыленное лицо казалось растерянным, глаза были широко раскрыты.

— И еще скажи ему, — продолжал Фале, — пусть идет домой: жена его дожидается. Не забудь и это сказать.

В лаборатории было темно; там оказался только хмурый сторож.

— Заведующий? А почему вы его здесь ищете? — насмешливо буркнул он. Его колючие усы взъерошились, худое, болезненное лицо передернулось. — Ведь он ни одной ночи не спит! Ни одной! Сначала еще можно было терпеть, хотя он и тогда покоя не давал. А теперь тем более...

Оба были удивлены. Эре сухо спросил:

— Так он дома?

— Дома? А где у него дом-то? Где? Сперва его дом здесь, в лаборатории, был, а теперь?

Старик опять насмешливо захихикал, и его бледное лицо снова передернулось.

Вассерман сделал рукой движение, словно желая успокоить его или удержать от насмешки. Эре был встревожен:

— Да отвечайте вы по-человечески! Где же все-таки заведующий?

— Ну, дома!

Эре покорно пожал плечами. Он сказал Вассерману на ухо:

— Значит, и нам придется идти по домам — ничего другого не остается. Нельзя же тащить его с постели!

— С постели? А кто вам сказал, что он в постели?

Ни Вассерман, ни Эре не знали, как быть. В тусклом свете дежурной лампочки сторож казался гномом. Не дождавшись ответа, он таинственно продолжал:

— А знаете, где его кровать стоит?

— Да говорите же, наконец, толком! — рассердился Эре. — Или перестаньте языком трепать!

Однако губы сторожа все так же кривились иронической усмешкой.

— Тихо, тихо, не горячись, не... не наскакивай на меня. Его кровать стоит в лаборатории, где он работает над медным порошком. Ну, теперь ясно?

Не проронив больше ни слова, Эре повернулся к нему спиной и потащил Вассермана к выходу. Сторож засеменил следом, сердито бормоча:

— Да, с таким начальником не сладко, уж поверьте мне. Разве я не отвечаю за него? Конечно, отвечаю! Сначала я вижу: сидит он тут все ночи напролет над какой-то дрянью. Ну и, конечно, мне забота — надо же человеку где-нибудь прилечь... Поставил я ему диван, ладно. И что же? Тогда он начинает колдовать в той лаборатории. И опять никакого нет покоя. Днем тут эта бабенка беспардонная — как ее там — шнырит и задается хуже заведующего, а по ночам начальник возится хуже, чем бабенка эта самая... как ее там!

— Эре... ее фамилия Эре, — разъяренно закричал Эре. — Это моя жена!

Вахтер даже рот раскрыл.

— Ну, так и надо было сказать, я же не могу знать все на свете. Всего даже заведующий не может знать... а уж он-то, он...

Эре и Вассерман прямо-таки бежали из лаборатории. Прохладный ночной воздух освежил их. Над заводской трубой висел тонкий серп месяца. Дымовые трубы, рельсы крановых тележек, силуэты печных труб, бараков и зданий выступали на черном ночном небе, точно нарисованные гигантским грифелем. На заводских дворах стояла тревожная тишина; смутно доносились откуда-то шаги ночного сторожа, а с северного конца территории — шум дробилки в шамотном цеху.

Когда они подходили к лаборатории, где работал Лаутер, Вассерман потянул носом воздух.

— Чувствуете запах? — спросил он своего спутника.

Эре кивнул. Он поднял голову: облака уже заволакивали небо, а когда он поискал глазами склоны Рюдерсдорфа, они уже скрылись за густой пеленой тумана.

— Хорошо пахнет уголь, — сказал Вассерман, нарушив молчание. Эре не знал, что ответить, смутился и стал закуривать папиросу. В свете вспыхнувшей спички лицо старика, ставшего перед ним, чтобы загородить его от ветра, казалось четко высеченным из светлого полированного дерева.

— Уголь, — продолжал Вассерман, — это первое, что приковало меня к заводу. Уголь и все, что благодаря

человеческой мысли из него можно сделать. И потом этот запах!

Эре чуть не поперхнулся; он откашлялся и, запинаясь, ответил:

— Да, да! — Но думал он не только об этом и вполголоса добавил: — Да, доктор, но цемент и известь тоже хорошо пахнут.

— О, конечно, — кивнул Вассерман; и они продолжали шагать рядом. Лишь дойдя до дверей лаборатории, Вассерман продолжил свою мысль:

— Когда я впервые знакомился с заводом — я был тогда еще очень молод, — то вошел и в обжиговый цех. Он был в те времена меньше, чем теперь, и пыли там было гораздо больше — как только я открыл рот, у меня полны легкие набилось пыли, а на зубах захрустел уголь. Но я даже не заметил этого. С этой минуты я уже не мог расстаться с заводом. Уголь стал моей страстью.

Эре отбросил окурок и что-то пробурчал. Если бы он посмел, он обнял бы старика за плечи и бережно повел бы его, как будто тот был сделан из хрупкого фарфора! Но он сказал только:

— В лаборатории свет.

— Да, — отозвался Вассерман.

Они вошли. Лаборатория еще строилась. Правда, стены были уже возведены, но внутреннее оборудование, большие чаны, в которых должна быть установлена аппаратура, еще не были покрыты кислотоупорным материалом. Груды досок, мешки с песком, кучи гравия, освещенные тусклой лампочкой, под которой сидел какой-то человек, отбрасывали призрачные тени. Человек поднялся, посмотрел на них воспаленными глазами. Узнав Вассермана, он смущенно улыбнулся. Они поздоровались, и Лаутер виновато сказал:

— Все равно не чувствуешь себя спокойно, придешь домой, а в голове все те же мысли вертятся, и мучишься, и не можешь заснуть, боишься, что где-то допустил ошибку. Так уж лучше здесь оставаться.

Эре казалось, что Вассерман и Лаутер стесняются друг друга, а что его, Эре, Лаутер едва замечает. «Да и неудивительно, — подумал он, — я в свое время давал ему жару!» И Эре решил: пусть говорит Вассерман.

Лаутер и Вассерман принялись ходить по комнате. Их слова падали в тишину, точно капли; Эре почти ничего

не понимал. Лаутер объяснял Вассерману химический процесс отложения меди, назначение чанов, электроустановки, и хотя Эре слушал очень внимательно, ясного представления он себе так и не составил. И в его душе поднялась волна горечи, но он решил молчать: как бы из-за его необдуманных слов Лаутер не отказал ему в помощи; и поэтому Эре покорно слушал этот малопонятный поток бесконечных объяснений. Оба вдруг остановились так неожиданно, что Эре чуть не наткнулся на Лаутера. Эре извинился. Судя по внимательному взгляду тихих глаз Лаутера за толстыми стеклами очков, тот только сейчас узнал его. Лаутер чуть улыбнулся, похлопал его по плечу, как показалось Эре, благосклонно и несколько снисходительно, и сказал:

— Вы ночью бродите по заводу, а ваша жена, наверное, скучает по вас. — Эре сделал протестующий жест; он был рад, что почти темно. В груди стоял ком. Лаутер продолжал: — Вы хорошо обращаетесь с вашей женой? Знаете, какой она у вас молодец!

Перед глазами Эре все смешалось — стены, лица обоих мужчин, едва различимые в скупом свете слабой лампы, и, словно огнем, обожгла его мысль: «Почему они все заладили насчет моей жены? Жена то, жена сё! А сам-то я? Дерьмо, что ли? Появится вот такая юбка, немножко похитрее других, обведет мужчин вокруг пальца, и они начинают носиться с ней, точно это невеста какое золото! А я?»

Сквозь туман своих мыслей Эре услышал опять голос Лаутера, звучавший теплее и настойчивее:

—...без нес? Да я никогда бы не выдержал! Всякий раз, когда я в отчаянии хотел уже все бросить и говорил себе, что ведь там, в Западной зоне, известен же весь процесс, а я тут зачем-то мучаюсь, что нужно съездить туда и поговорить с людьми, — в конце концов, они тоже немцы и, наверно, нам помогут, — она не отходила от меня, и хотя она молчала, ее взгляд был красноречивее слов. Один только раз она заговорила. Я уже решил было все бросить. А она сказала: «Товарищ Лаутер... — да, так и сказала, — товарищ Лаутер, всегда помните о том, что двадцать миллионов, а может и больше, смотрят на вас, ждут и спрашивают себя: выполнит он задание или не выполнит? И вы всегда должны...»

— Мы не затем сюда пришли, чтобы заниматься всю

ночь болтовней, — грубо прервал его Эре, и хотя он из всех сил старался подавить волнение, голос его дрожал.

Лаутер посмотрел на него, ничего не понимая.

— Нам всем троем следовало бы хорошенько выспаться, — спокойно заметил Вассерман. Свет падал теперь на лицо Лаутера, и Эре увидел, какая в этом лице была напряженность; отяжелевшие, припухшие веки вздрагивали.

— Простите меня, доктор, — сказал Эре вполголоса. — Верно, всем нам следует выспаться. Но сначала давайте обсудим одно дело.

И Эре коротко рассказал о своем фасонном кирпиче, о новой трудности, возникшей в шамотном цехе; в заключение он попросил Лаутера потолковать с Фале о рецептуре шамотного порошка. Чем дольше Эре говорил, тем ласковее становилось лицо Лаутера, а под конец он похлопал Эре по плечу и, лукаво улыбнувшись, пояснил:

— Вам для этих кирпичей больше ничего не нужно. Я полагаю, что Фале может воспользоваться тем же рецептом, которым пользовался и до сих пор.

Улыбнулся и Вассерман. Но Эре вскипел:

— Вы думаете, он в самом деле этого не знал?

Лаутер пожал плечами.

Потом они простились. Когда оба вышли во двор, небо уже не было таким темным, на востоке как будто начинало светлеть. Ветер проносился порывами над заводскими зданиями; вихрями взлетала пыль. Вассерман распахнул пальто, потянулся и выставил грудь навстречу ветру.

— Вчера ночью я тоже в это время был на заводе, — сказал он вполголоса.

— Так, так, — пробормотал Эре; его негодование еще не улеглось.

— Я с заводом прощаться ходил, — продолжал Вассерман.

Эре удивленно поднял голову, отбросил еще дымившийся окурочек и смотрел на крошечную огненную точку до тех пор, пока она не погасла.

— Прощаться ходил, — повторил Вассерман.

Только теперь Эре понял, что тот имел в виду. Не глядя друг на друга, зашагали они дальше в молчании, и каждому хотелось сказать: «Наш завод!» И оба видели его перед собою — цехи и бараки, шамотный цех и обжиго-

вый, удушливый чад, валивший из их дверей, и длинные полосы тумана, тянувшиеся со стороны Рюдерсдорфа; и каждый из них знал, что другой тоже это видит.

Дойдя до двери заводоуправления, Вассерман сказал: — А теперь я отпраздновал наше свидание.

Эре не знал, что ответить. Они зашли в проходную и вызвали машину для Вассермана, которого Эре убедил вернуться домой. Когда подали машину, Эре подвел к ней старика так бережно, как он и представлял себе, и когда они остановились, чтобы попрощаться, им захотелось обнять друг друга; но они продолжали стоять молча и неподвижно, пока Эре, наконец, не сказал хриплым голосом:

— Поймите меня, доктор. Не каждый раз это можно выдержать: разлуку и свиданье.

А Вассерман улыбнулся тонкой и умной улыбкой, и в лицо ему повеял свежий ветер. Он сел в машину, и не успел еще водитель дать газ, как старик, высунувшись, крикнул:

— Да ведь это и было в последний раз!

Лишь когда вахтер спросил Эре: «А ты домой не собираешься?» — Эре вздрогнул, оглянулся и увидел в конце двора ярко освещенные окна шамотного цеха. Не ответив вахтеру, Эре направился туда. Однако двери оказались закрытыми. Он постучал; среди шума его стук, видно, никто не услышал. Он постучал громче и, так как и после этого ему не отперли, схватил камень и стал колотить с такой силой в стальные двери, что грохот гулко раскатился по всему цеху.

Через некоторое время девичий голос спросил:

— Кто там?

— Открывай же, чорт тебя побери! — заорал Эре, продолжая колотить камнем в дверь.

— Да кто там? — снова спросил тот же голос.

— Я! — крикнул Эре. Голос не ответил; сквозь шум дробилки до него донесся скрип и стук множества пил и молотков, а также глухое топанье трамбовок.

Так как Эре показалось, что шаги удаляются, он снова постучал и завопил:

— Да открывайте же! Мне необходимо видеть Фале! Я из дирекции!

Он приложил ухо к дверям, ему послышалось при-

глушенное хихиканье. Эре сжал кулаки. Девушка спросила опять — и он услышал совершенно явственно, что она с трудом сдерживает смех:

— Кто там?

— Я! — завопил он. — Я!

— Да кто — я?

— Эре!

— Кто? Ганс Эре? — Тут уж она неудержимо и звонко расхохоталась, а из цеха донесся дружный смех рабочих.

— Ну да! — продолжал он кричать. — Ганс Эре из обжигового, чорт бы вас всех побрал! Впусти же меня, мне необходимо переговорить с Фале насчет фасонных кирпичей.

— Насчет кирпичей? — повторил голос, и девушка добавила: — Так они уже скоро готовы! Мы уже сто пятьдесят штук сделали. А ты нам совершенно не нужен!

— Как? Что? — пробормотал он, запинаясь, а потом крикнул: — Повтори, повтори еще раз! Что ты сказала?

Однако девушка ничего не могла повторить — она заливалась смехом, а Эре стоял перед стальными дверями и смотрел на свои кулаки; затем он начал приплясывать, сначала медленно, потом все быстрее; и если бы кто-нибудь увидел его в эту минуту, то, вероятно, решил бы, что перед дверями шамотного цеха в поздний ночной час пляшет большой неповоротливый медведь. Он кричал и пытался петь, все еще продолжая приплясывать перед холодными, стальными дверями, и при этом чувствовал, как по его лицу что-то течет тонкими струйками, и не отирал этой влаги, не отирал, а только твердил про себя: «Неужели... Неужели!..»

Тот же молодой голос прервал его танец:

— Эре, Ганс Эре, ты еще тут?

— Да, я еще тут, — ответил он в каком-то дурмане. А девичий голос продолжал:

— Товарищ Фале велел тебе передать, чтобы ты домой шел. Домой. Слышишь?

— Ну, слышу, — ответил он.

— И еще он велел сказать, что тебя жена ждет!

Шаги удалились, а он стоял перед воротами и отчетливо слышал все звуки работавшего цеха, хотя в голозе у него точно вихрь бушевал. И этот шум стал таким мощным, что заглушил все шумы, доносившиеся из-за две-

рей. «Ах чорт! Ах чорт! — повторял он. Что сказала эта девчонка, а потом Фале?»

Он пошел прочь, и на душе у него стало тяжело. Катрин, что ж Катрин... и он вполголоса забормотал: — Да вы-то чего сюда вмешиваетесь? Ни при чем вы тут. Только меня это дело касается, меня да Катрин, а коли вы хотите касательство иметь, так вы ко мне по-другому подходите! Если уж я завяз, уж так запутался, что не знаю, как и выпутаться, — вы должны помочь мне! Как вы думаете? Если уж вы решили, что Катрин — молодчина, замечательная женщина, а я хотел держать ее при себе вроде фарфоровой штучки в комнате, а вы мне теперь все уши прожужжали — такая, мол, она, да сякая, дельная да хорошая, так и вы не должны ее всю целиком забирать себе, нужно же и мне хоть что-нибудь от нее оставить — хоть чуточку, а?

И он побрел через двор, спотыкаясь, точно его ударили по голове. Да, это и был один из тех ударов, после которого можно и не подняться. Но у Эре был крепкий череп, и поэтому по пути в обжиговый он все же овладел собой: «Разве у меня самого нет никаких достижений? — думал он. — Есть у меня достижения». И ему показалось, что он стоит перед трибуналом, и этот трибунал — он сам; в этот миг в его памяти пронеслось все, что произошло с ним за последние полгода, и когда он очутился перед обжиговым, он твердо решил: печь доделать непременно. «Только доделать печь, и тогда я возьму себе свободный день, один-единственный...» И, открывая дверь в цех, он уже чувствовал твердую уверенность, что и недоразумение между ним и Катрин будет улажено.

Был включен только один прожектор, его резкий свет падал на незаконченную камеру. Когда Эре подошел, он увидел, что Бакханс, Кербель и Рейхельт лежат рядышком на мешках с песком и крепко спят. Было достаточно тепло, так как неподалеку находились непотушенные камеры. Эре задумчиво остановился перед спящими и ласково проворчал:

— Ах вы, черти! Вот какие вы теперь стали — даже ночуете на заводе!

В тусклом сумрачном свете цеха вдруг показалась фигура Пустешейда, он не шел, а крался, и чем ближе, тем было заметнее, что по его худому бледному лицу с тощими усиками змеится ехидная усмешка.

— Они скоро своих баб сюда на ночь приташат, — прошептал он. — Около десяти часов пришлось послать за пивом и колбасой для них, а потом они снова начали работать. Прямо какие-то бешеные!

Не ответив, Эре направился к еще не законченной камере. Такой проныра этот Пустешейд, не знаешь — чего от него ждать. Ночной мастер обжигового! Чтоб он провалился со своими фасонистыми усиками! На заводе двадцать два года, близкий дружок Матшата, не ходит, а крадется, и как поглядишь на него — прямо с души воротит.

В камере не было выложено всего несколько рядов кирпичной кладки. Вероятно, все трое настолько устали что решили доделать работу утром; вообще-то это было бы ничего, но сейчас планировать нужно иначе, так как в этой камере предстоит обжигать первые кирпичи.

Эти несколько рядов нужно было выложить, обмазать всю внутреннюю поверхность камеры цементом, а кроме того, так продумать и спланировать рабочий процесс для двух соседних камер, чтобы в работе не было ни перерыва, ни бесполезной суеты подсобных рабочих. К тому же Эре предчувствовал, что в связи с применением нового фасонного кирпича должны будут возникнуть и новые технические проблемы, которые смаху решать-нельзя. До сих пор над каждой боковой стеной они работали по двое: один был занят каналами, другой — кладкой самой стены. Теперь же рабочий, выкладывающий каналы, будет значительно опережать товарища, так как ему уже не надо тесать кирпичи и, вероятнее всего, оба начнут мешать друг другу. Однако до конца разобраться во всем этом Эре еще не мог. И сейчас, когда он принялся класть недостающие ряды, работа настолько захватила его, что у него не нашлось времени продумать до конца все затруднения.

Озадаченный, уставший и несколько рассеянный, принялся он тесать кирпичи, накладывать раствор, и каждый раз, когда обломки падали, тишину сотрясало глухое эхо.

Бакханс храпел, Рейхельт что-то бормотал во сне, как всегда торопливо и насмешливо, как всегда — захлебываясь; только Кербель лежал совершенно тихо, точно на самом деле отдыхал от шуточек и трудов, которыми были полны дневные часы.

Эре чувствовал, что где-то поблизости находится Пу-стешейд и наблюдает за ним; наблюдает с недобрыми мыслями. Он поискал глазами вокруг себя, но луч прожектора освещал только камеру. Дальше стоял мрак, словно черная стена. Вдруг Эре услышал чьи-то шаги, и из тьмы, устало протирая глаза, вышла женщина. Эре улыбнулся. Он сразу узнал ее, она работала в его бригаде и в первый же день колко заявила: «Какой в тебе прок? Да у тебя только кожа да кости!» Все же она стала работать, хотя и с неохотой, насмешничая; и уже прошло немало времени с того дня, как он стал относиться к ней по-дружески,— после того, как она цыкнула на Кунцеля.

И вот эта женщина стояла перед камерой, с ног до головы покрытая пылью, все еще протирая глаза; она удивленно спросила:

— Ты? А я думала, Эре, ты...

— Дома, у жены в постели? Да? — рассмеялся он.

Она сердито помотала головой.

— Не хотела бы я быть твоей женой... вот уж нет... воображаю, как твоя жена довольна, когда тебя дома нет...

Эре обиженно промолчал. Кэте Шпрингер, худая и высокая женщина с сильными мозолистыми руками, прыгнула в камеру и начала складывать кирпичи так, чтобы они были у него под рукой.

— Ложись и спи себе дальше, — сердито сказал он, не глядя на нее. Она села и стала смотреть на него. Он снял куртку, а так как становилось все жарче, — то и рубашку. На его худой груди почти не было видно мышц, вены на руках набрякли, и он производил сейчас впечатление человека хилого и не очень сильного.

— Ну, что уставилась? Никогда не видела, что ли? — смущенно пробормотал он. Она рассмеялась, но ничего не ответила. Через минуту он спросил, не глядя на нее: — Ты правду говоришь?

— Насчет чего?

— Да что тебе не хотелось бы моей женой быть и что тебе мою жену жалко?

Она резко рассмеялась.

— А то нет? Конечно!

Он вздрогнул. Она встала, взяла у него из рук лопатку и начала накидывать раствор на кладку.

— И ты права, — буркнул он. Она поняла, однако спросила:

— В чем права? Зачем же мне зря сидеть и на тебя глаза пялить, коли я могу тебе чем-нибудь помочь? Так дело скорее пойдет.

— Брось трепаться! — огрызнулся он. Она расхохоталась. В ярости он тут же схватил обеими руками обтесанные кирпичи и стал класть их на край стены, а она, все еще смеясь, взялась опять за лопатку. Спустя некоторое время он спросил: — Так тебе, значит, мою жену жалко?

— Брось трепаться! — отозвалась она.

— Нет, ты в самом деле так думаешь?

И он в первый раз посмотрел ей в лицо, но, увидев ее слегка расширенные, словно от испуга, глаза, отстранился и прошептал:

— Ну что ты, что ты... Кэте.

Поджав губы, она лопаткой загремела о стену и сказала, запинаясь:

— После боев под Воронежем я осталась совсем одна.

— Ну что ты, что ты, Кэте, — целовко пробормотал он, — может, и одной быть не худо.

Она с горечью засмеялась, и ее длинное худое лицо исказилось гримасой; из-за края камеры донесся резкий смех:

— Чудная парочка! Одна накладывает раствор, другой кладет кирпичи. Здорово!

Выглянув из камеры, она смутно различила лицо Кербеля. Он спрыгнул к ним и, взяв лопатку из рук Кэте, накинуся на женщину:

— А ты чего не спишь? С каких это пор раствор кладут на стену лопаткой?

Вид у него был невыспавшийся и усталый, изможденное лицо нервно подергивалось, глаза мигали от резкого света прожектора.

— У нас, кажется, скоро будет только два выхода: либо тащить печь к себе домой, либо тащить кровать сюда.

Бакханс и Рейхельт проснулись; усталым шагом подошли они к камере, и Бакханс, набивая трубку, заметил:

— А свою старуху ты тоже собираешься притащить вместе с кроватью?

Все засмеялись, и точно с облегчением засмеялась Кэте Шпрингер, сидевшая на куче кирпичей.

Покончив с одним из рядов, Эре отбросил лопатку, опустился рядом с Кэте, и так они уселись все пятеро, тесным кружком.

— А войну мы выиграли! — сказал Эре вполголоса, переводя взгляд с одного на другого.

— Отвыкни, пожалуйста, от этих дурацких выражений, — отозвался Бакханс. — Что это такое? Войну выиграли! Не хочу я выигрывать никакой войны.

— Первые двести фасонных кирпичей будут завтра утром готовы!

Он думал, что они сейчас же вскочат и бросятся обнимать друг друга — они же понимали, что означает этот новый вид кирпича. Но ничего подобного не произошло: они все сидели, словно оцепенев, не глядя друг на друга, и он, вспомнив, как плясал перед дверями шамотного цеха, тоже словно оцепенел. Он думал: «Неужели они не рады? Разве это только мое личное дело?»

Бакханс выбил трубку и засопел, Рейхельт смущенно потянулся за папиросой, а Кербель первно заерзал на своем сиденье из кирпичей и прошептал:

— Значит, кровать не надо сюда тащить?

Кэте засмеялась, но от ее смеха, так резко и неожиданно раздавшегося среди тишины, мужчины вздрогнули.

— Так... — сказал Рейхельт. Его худое задорное лицо, до того запыленное, что казалось большой шершавой маской, было опущено; он смотрел на свои башмаки. Бакханс стиснул кулачищи, затем встал, подошел к Эре, обрушил ему на плечо правую руку, так что Эре даже согнулся, и проревел:

— Вон что! Ах ты чорт! Видишь, какая штука!

Встал и Кербель, тоже хлопнул Эре по плечу, и оба начали смеяться, сердечно и грубовато, а Эре, вставший на ноги, чтобы спастись от этих мощных похлопываний, присоединился к их радостному смеху.

— Да вы меня убьете! — крикнул он, прислонившись к стене; но они напирали на него и, окружив, ласково пихали в бок.

— Ах ты! — сопел Бакханс, а Кербель пробурчал:

— Я хотел уж кровать сюда тащить...

— Мы должны еще закончить эти несколько рядов! — сказал Эре, увертываясь от их кулаков. — Камеру-то ведь

нужно доделать к завтрашнему утру. Ведь завтра в нее уже пойдут новые кирпичи! Да, завтра утром!

— А почему ты сам не работаешь? — заорал Кербель. — Целый день бегаешь туда и сюда, а мы тут из кожи вон лезем.

И они опять двинулись на него, но он успел спастись — одним прыжком выскочил из камеры и крикнул им вниз:

— Кэте, скажи этим полоумным — пусть лучше по кирпичам колотят.

Наконец все утихомирились, и Рейхельт выругал их:

— Чего вы беситесь, старые болваны? Разве я не говорил вам, что он своего добьется?

Они снова начали класть кирпичи, и когда застучали кирки и заскребли лопатки, Эре услышал голос за своей спиной:

— Значит, ты все-таки добился своего?

Эре оглянулся и увидел прямо перед собой серые глаза Пустешейда, который под пристальным и настороженным взглядом Эре тут же отвернулся и стал смотреть в камеру.

— А это... что? Господи, все пропало! — вдруг хрипло крикнул Эре Бакхансу.

Бакханс засопел, и так как ему почудилось, что Эре покачнулся, он схватил его за локоть. Эре словно издали услышал гул удивленных голосов.

— И фасонные кирпичи, значит, тоже... — беззвучно сказал он.

Поблизости стоял Кунцель. Он тщетно пытался скрыть появившееся на его грубом лице злорадное удовлетворение. Столпившиеся вокруг рабочие увидели: все четыре стены той камеры, в которой были заложены новые кирпичи, рухнули и лежат одной спекшейся массой; она еще не успела остыть, и жар светился сквозь серую корку верхнего слоя. Но хотя все увидели одно и то же, никто не подумал спросить — что же это? Они точно окаменели. Кербель, Рейхельт и Кэте Шпрингер стояли, опустив глаза, чуть не плача. Когда Эре, наконец, поднял голову, он успел уловить на губах Кунцеля затаенную усмешку, а в глазах — скрытое торжество.

— Где Пустешейд? — спросил он.

Никто не ответил. Напрасно Бакханс смотрел вокруг. Пустешейда нигде не было. Хотя каждая мысль вызывала

в мозгу у Эре нестерпимую боль, как будто кто-то водил там раскаленным грифелем, он постарался ясно все припомнить. Как же это было? Когда они увидели готовый фасонный кирпич, их радость не знала границ, и они прямо накиннулись на эти удобные коричневые кирпичи. Никогда еще за всю историю существования кольцевой печи не клалась камера с такой быстротой, а главное — с такой легкостью и радостью! Они почти мешали друг другу, и если бы не надо было опробовать одну камеру, прежде чем переходить к другой, — они наверняка одновременно сложили бы и вторую.

Рабочие из других цехов прибегали взглянуть на работу Эре и его товарищей, и на лицах одних было написано полное недоумение, на лицах других — неудержимая радость. Матшат сначала стоял на самом краю камеры, затем слез вниз и, похлопав Эре по плечу, с притворным дружелюбием заявил:

— Что ж, Ганс, тебя поздравить можно? Этот кирпич — великое дело. Так ты уж на меня не сердись за ту историю, помнишь?

Охваченный радостью, Эре только пробормотал:

— Да уж ладно... ладно...

Матшат ушел, а вечером вызвал к себе в контору Пустешейда, и они обменялись всего несколькими отрывистыми фразами:

— Новые-то кирпичи... — Матшат кивком указал в сторону камеры...

— Ничего не скажешь, удались! — Пустешейд осклабился, и его усы дрогнули, приподнявшись.

Потом, сдвинув головы, они зашептались, но так тихо, что если бы даже кто-нибудь и подслушивал, он ничего бы не смог разобрать. Да никто и не подслушивал.

А Эре продолжал вспоминать. На следующее утро отремонтированные камеры снова пустили, а вечером, перед тем, как уйти домой, он еще раз подошел к крышке камеры, чтобы через узкую щель заглянуть внутрь. И все было в порядке. Газ подавался исправно, и, судя по указывающему гальванометру, температура была соответствующая.

А сейчас, утром, он вот уже несколько минут стоит перед рухнувшей камерой и видит, что все их труды пошли прахом.

— Гальванометр исчез,— сказал он тихо Бакхансу.

— Наверно, тоже расплавился.

— А где Пустешейд?

И так как Бакханс не ответил, в голове Эре вихрем завертелось: «Гальванометр! Гальванометр! Пустешейд!» Он наклонился, вглядываясь в дно камеры, но нигде не было и следа гальванометра.

— Не могу поверить, что он расплавился, — шепнул Эре Бакхансу. Вокруг них раздавались удивленные возгласы. Он едва ли слышал их. Его сердце было мертво, как серый остывающий в камере кирпич. Бакханс что-то сказал ему вполголоса. Эре не слышал и только в полной растерянности кивал головой.

Через толпу рабочих, собравшихся перед печью, протолкалась Зуза Рик; она была такая же, какой ее привыкли видеть каждый день: в штанах, в рабочей куртке, белокурые волосы засунуты под платок.

— Эй, Рикхен, где же ты пропадала? — раздался чей-то голос.

Из-за печи вышел Кербель, остановился и удивленно спросил:

— Ты жива?

— А я и не собиралась помирать! — рассмеялась Зуза, и ее смех прозвенел свежо и молодо. И когда все посмотрели на нее, то увидели в ее глазах радостный лучистый блеск.

— Всякое горе проходит, даже когда милый бросит,— съязвил Кунцель. Зуза насмешливо посмотрела на него, но его слова, видимо, ее не затронули, и, повернувшись к остальным, она спросила:

— Что у вас тут стряслось?

Кербель объяснил. Она подошла к Эре и поздоровалась. Тот посмотрел на нее отсутствующим взглядом и на ее вопрос, как поживает его жена, ответил:

— Пустешейда нет, Матшата нет, и гальванометр тоже исчез.

Рабочие постепенно расходились по своим местам, перешептываясь, строя самые различные предположения.

Две соседние камеры были убраны и подготовлены для кладки. Эре как будто только сейчас узнал Зузу Рик. Он потащил ее в одну из камер и спросил вполголоса:

— Ты одна вернулась?

Так как Бакханс и Кербель тоже подошли, а Рейхельт

даже спустился в камеру, то Зуза не ответила. Рейхельт в бешенстве швырнул на пол куртку и заявил:

— Теперь и это полетело к чертям. Проклятый кирпич!

Эре не пошевелинулся, и когда Рейхельт снова выругался, не ответил ни слова. Он был погружен в свои мысли и уже забыл про Зузу. Кербель сказал:

— По виду камеры ясно одно — печь была перегрета. Я сужу по цвету кирпича. Несколько лет назад был такой же случай. Рабочие во время ночной смены дрыхли и не следили за нагревом, должно быть, забыли выключить газ, а утром — вот такая же картина.

— А можно по кирпичам установить температуру, до которой их нагревали?

— Ну, конечно.

— А кто мог бы это сделать? — продолжал Эре. Взгляд его стал зорким, оживился.

— Настоящий специалист скажет тебе по цвету кирпича, какая температура была в камере.

— Примерно с той же точностью как и гальванометр?

— Да, примерно с такой же точностью это мог бы установить и любой химик.

— Так, — пробормотал Эре и ушел, не прибавив ни слова.

Ни у кого из трех оставшихся членов бригады Эре не было охоты продолжать работу. Печники все еще стояли группами и обсуждали необычайное происшествие. Иные подходили к камере, выражали свое сочувствие. Бакханс испытующе заглядывал каждому в глаза и думал с облегчением: «Нет, ни у кого нет злорадства! Слава тебе господи!»

Кербель сел и стал крутить козыю ножку. Кончив, он протянул табак Зузе Рик. Она тоже быстро и ловко свернула себе папироску. Зуза снова чувствовала себя дома. Вглядываясь в лица печников, она поняла, что не ее комнатенка под крышей и даже не этот большой, любимый ею город привлекли ее обратно, а в сущности — только сам завод. Этот прокопченный дымный завод с бешеным вихрем работы и сложным производственным процессом, который она едва могла охватить с начала и до конца, с тысячами людей, зачастую ворчливыми и

грубыми,—вот что вернуло ее и не дало ей сбиться с прямой дороги. Этот завод был для нее родиной. И, проводя языком по клочку газеты, она с нежностью улыбалась, и тепло ее сердца отражалось в блеске ее глаз.

Зуза вернула Кербелью табак. Рейхельт, насупленный и словно разбитый, все еще сидел на груде кирпича.

— А мне ты не дашь табачку? — сердито спросил он.

Кербель протянул табак и ему. Однако он был не в силах оторваться от сияющих глаз Зузы. Ему очень захотелось спросить, что с Андрицким, но он побоялся, что товарищи догадаются о его чувствах к Зузе. Он только спросил грубоватым тоном:

— Ты была сильно больна?

Зуза удивленно подняла голову.

— Ну как же,—смущенно продолжал Кербель,— все же говорили, то есть вся дирекция говорила, что ты болеешь.

— Да, я действительно болела, — улыбнулась Зуза.

— А теперь совсем поправилась? — спросил Кербель и подумал: «Значит, она послала его к чертям, этого негодяя. Ну, так и для нее лучше будет. Все эти художники... да если они еще техники... известно, как они относятся к женщинам».

— Значит, совсем поправилась? — переспросил он, и в его улыбке была та сердечность, которую он предпочел бы скрыть.

— Вы еще долго будете тут миндальничать? — вмешался Рейхельт. Он усиленно дымил папирсой. По тому, как он сжимал тяжелые кулаки, и по выражению его дерзкого лица было видно, что внутри все у него так и кипит.

— Это мы-то миндальничаем? — смущенно возразил Кербель.

— А то нет? — возмутился Рейхельт. — Печь стоит, все провалилось к чертям, а вы тут любезничайте. Скажи-ка мне лучше по правде, как ты считаешь, в чем тут дело, в фасонных кирпичах или в том, что камеру перегрели? Это очень важно.

— Да как сказать... — уклонился было Кербель.

— Нет, тут что-то не так, — вставил Бакханс. Видно было, что он силится додумать до конца какую-то мысль.

— Ты говоришь, — продолжал он, — что, судя по

кирпичам, камеру перегрели. Гальванометр исчез. Ну, если даже мы все это знаем, а толк какой?

— Толк какой? — воскликнул Рейхельт с таким возмущением, что Зуза удивленно посмотрела на него.

— Ну да, какой для нас толк? — беспомощно повторил Кербель.

Рейхельт сжал руками виски, как будто у него болела голова.

— Господи! Да пошевелите же хорошенько мозгами. Либо всему виной кирпич, либо в камере был перегрев. А если дело не в кирпиче, тогда все в порядке.

— Кабы знать, куда опять провалился этот Эре! — сказал Бакханс.

— А что в порядке-то? — спросил Кербель.

— Ах ты старый дуралей, — в отчаянии почти простонал Бакханс. — Что в порядке! — Он наклонился к товарищу: — Так ведь мы можем тогда продолжать работу с этим кирпичом!

Кербель кивнул, задумчиво поглядел перед собой и затем уверенно сказал:

— Камеру перегрели, ясно...

— Наверняка? — спросил Рейхельт.

Кербель опять кивнул.

— Так чего же ты тут расселся, — зарычал на него Рейхельт. — Тогда к чертям! Пусть уж Эре дознается, каким образом лишнее тепло попало в камеру, а мы... мы же можем, чорт тебя побери, продолжать работу!

— Что это на всех вас наехало? — удивилась Зуза.

Но никто ей не ответил. Все трое поднялись и стали озираться в пустой камере, а Рейхельт с лихорадочной торопливостью спросил:

— У нас хватит фасонного кирпича на эту камеру?

— Почему я знаю! — огрызнулся Кербель.

— Живо, Зуза! — крикнул Рейхельт. — Пусть нам доставят сюда кирпич! — И, уже забыв о ней, высунулся из камеры и рявкнул подручным, сидевшим у одного из столов: — Эй вы, кривые черти, давай шамот, давай кирпич!

Зуза, смеясь, вылезла из камеры; подошли подручные. Кэте Шпрингер обиженно спросила:

— Это я — кривой чорт?

Она кивнула молодому крановщику; тот, держа руку на электрической кнопке, медленно подвел кран, который опустил в камеру ящик с кирпичом. Паренек

наклонил молодое смеющееся лицо и спросил: — Другую начинаете?

Кран взвился кверху, и парень крикнул:

— Сейчас привезу вам шамот. У нас с Кэте все приготовлено.

Кэте Шпрингер передала Кербелю ящики с раствором. Стоя у конца печи, где были сложены фасонные кирпичи, Зуза крикнула:

— Сколько вам на одну камеру нужно?

— Да подсчитай сама, глупая баба! — заорал на нее Рейхельт.

Подручный подошел к Зузе, чтобы помочь ей погрузить кирпичи в тачку. Кунцель стоял у края камеры, засунув руки в карманы; он спросил:

— Что это? Или вы собираетесь опять работать с этим кирпичом?

Рейхельт не удостоил его ответом. Но Бакханс так и накинулся на Кунцеля:

— Тебе-то, болван, какая забота? Подноси материал, а все остальное — не твоего ума дело.

Однако Кунцель не двинулся.

— Хотите, чтобы еще одна камера завалилась? — Он вдруг раскипятился и, как всегда, когда уже не мог владеть собой, начал шепелявить: — Одна камера уже завалилась, мало вам что ли? Этого Эре еще посадят за саботаж, вот увидите. Придумал новый кирпич, дурак! Разве так можно, сколько труда уже пропало задарма!

Все с удивлением посмотрели на него. Бакханс только свистнул сквозь зубы. Он выпрыгнул из камеры и спросил Кунцеля вполголоса:

— Ну-ка, парень, повтори, что ты сейчас сказал?

Кунцель побелел, его лицо с шишковатым подбородком скривилось подобием улыбки.

— Постой... постой... — зашепелявил он, — я только хотел сказать... нельзя же прямо так — взяли да и начали опять, как будто ничего не случилось...

Бакханс, которому стало жалко Кунцеля — он не мог слышать его шепелявое хныканье, — решительно заявил:

— Ну и делай свое дело, тащи кирпич! А все остальное — наша забота.

Кунцель сделал крутой поворот и, схватившись за тачку, покатыл ее из цеха. Во дворе он оглянулся. «И куда запропастился Матшат?» — с тревогой подумал он. Дойдя

до угла, он нагрузил тачку кирпичом, затем покати́л ее через двор на северный конец заводской территории. Малиш, составитель поездов, крикнул ему с локомотива:

— Эй, ты, прокатиться решил?

Кунцель осклабился. Он перешел рельсы, втолкнул тачку в узкий проход между двумя цехами и, подкатив ее к невысокой стене, окружавшей территорию завода, перемахнул стену и исчез среди огородов.

А тем временем перед печью уже началась деловая суэта, и так как все внимание было сосредоточено на одной камере, то вскоре, благодаря усердной работе небольшого мостового крана и подносчиков, печники оказались прямо заваленными кирпичом и шамотом. Наконец Рейхельт возмущенно крикнул молодому крановщику:

— Да постойте! Вы что — нас замуровать хотите?

— Вот именно! — засмеялся тот, а Зуза Рик и Кэте Шпрингер, сидевшие на краю камеры, тоже захохотали. Однако печники действительно едва могли повернуться в камере, и так как подносчики свалили в одну кучу сразу все кирпичи, они хватали не те, злились и бранились, а когда двое наклонялись одновременно и сталкивались головами, казалось, они вот-вот вцепятся друг другу в волосы. Наконец Рейхельт отшвырнул лопатку и заявил:

— Это невозможно! Надо работать как-то по-другому.

Кербель удивленно взглянул на него и колко ответил:

— Пока мы камеру кончим — можешь полежать.

— Идиот! — прошипел Рейхельт и весь побагровел.

— Ну ладно, ладно! — успокаивал их Бакханс, не теряя обычного хладнокровия и не переставая работать.

— А как же по-другому? — спросил Кербель.

— Нужно работать одновременно в двух камерах, — сказал Рейхельт. — Когда Эре вернется, нас в каждой будет по двое, так дело скорее наладится.

— Кто пойдет туда? — спросил Кербель.

— А ну, катитесь оба, — напустился на них Рейхельт. — Пока Эре вернется, я и один тут справлюсь.

Бакханс и Кербель, посмеиваясь над нелепой яростью Рейхельта, взяли свой инструмент и вместе с подручными принялись готовить для кладки соседнюю камеру. Крановщик наполнил камеру кирпичом, и так как каждый работал с необычайной быстротой, вскоре Бакханс и Кербель смогли приступить к кладке стены.

Зуза Рик опять вернулась к Рейхельту, который, обливаясь потом, клал кирпич за кирпичом. Так как она не знала, что ей делать, то спустилась в камеру и, убрав мешавшие ему кирпичи, положила их так, чтобы ему было удобнее брать. Пришла и Кэте Шпрингер, но, когда она захотела помочь ему накладывать на стену раствор, Кербель, ругаясь, прогнал ее.

— Убирайся ко всем чертям! — заорал он. — На что ты мне нужна? Если кто нас увидит, скажут, Кербель заставляет бабу на себя работать!

Кэте тихонько шепнула Зузе:

— Клади кирпичи на стену так, чтобы ему только сдвигать их на место.

Рейхельт удивленно взглянул на нее и насмешливо заметил:

— Что вам обеим здесь нужно? Я прогнал двух печников, потому что мне с ними тесно, повернуться негде, так теперь вы явились... Совсем спятили! Надоели старики, молодых захотелось?

— Может, ты вообразил, что тебя? — зашипела Кэте, а Зуза добавила:

— Не волнуйся, никто на тебя не покушается.

Кэте решительно взялась за лопатку, набросала на стену раствор, и Рейхельт, хочешь не хочешь, был вынужден его разглаживать, в то время как Зуза Рик клала на стену все новые кирпичи.

— Я где-то читала, — начала Кэте, — что русские все так работают. По сдвоенной или строенной системе.

— Против работы вдвоем я не возражаю, — многозначительно пробурчал Рейхельт и, подмигнув, продолжал: — А вот как это втроем делается, я еще не в курсе.

Зуза, спокойно клавшая на стену кирпич за кирпичом, спросила:

— А ты читала, как именно они работают?

Кэте тоже сделала вид, что не поняла непристойности, отпущенной Рейхельтом, и продолжала:

— Русские уверяют, что таким способом можно сэкономить очень много труда и самому печнику гораздо легче, потому что ему уже не пужно пагиваться за каждым кирпичом. Русские говорят еще...

— Русские... — язвительно прервал ее Рейхельт, — русские! Только и слышишь на каждом шагу — у русских то, у русских сё... И мы должны то, должны сё... К дьяволу!

— А если так оно и есть? — настойчиво продолжала Кэте. — Я своими глазами читала и запомнила.

— Запомнила... запомнила... — передразнил ее Рейхельт. — Что у нас, своей головы нет? Да если бы это было что-нибудь дельное — неужели бы мы сами давно у себя не ввели?

Все же он отодвинулся, видя, что Кэте начала накладывать на стену раствор, и промолчал, когда Зуза выложила кирпич за кирпичом так, что ему оставалось только передвинуть их на нужное место.

— Вот видишь? — сказала Кэте. Рейхельт неохотно проворчал что-то в ответ. Но когда Зуза положила один из кирпичей не так и Рейхельт не мог просто подвинуть его на место, он вдруг накинулся на нее:

— Уж если взялась, так клади как следует, да! Хочешь, чтобы у меня кладка вышла как пуддинг, с пупырышками?

Обе женщины переглянулись; они улыбались одними уголками глаз, насмешливой, но доброй улыбкой.

Эре увидел Катрин в лаборатории по изготовлению медного порошка: она стояла рядом с Лаутером. Эре стало досадно. Его жена и Лаутер оживленно о чем-то беседовали и, как ему показалось, в каком-то особом, интимно-дружеском тоне. Опасаясь, что он не в силах будет сдержаться, Эре хотел сейчас же уйти. Но Лаутер крикнул ему:

— Эре, послушайте, вам что-нибудь нужно?

Насупившись, он подошел. Взгляд у Катрин стал упрямым, она сурово сжала губы и словно приросла к месту. А Эре смотрел на нее, и так как он много дней ее уже не видел, то теперь был поражен, глядя на это зрелое, волевое и умное лицо, на эти глаза, в которых появилось какое-то совсем новое, непонятное выражение. Он пожал обоим руки; рука Катрин была холодной, пожатие крепким, рука Лаутера теплой и пожатие дружеским.

— Да я только так, по пути заглянул... — пробормотал Эре, запинаясь. А сам подумал: «Нужно поймать его, когда он один! Если тут будет Катрин, получится не то. Только чтобы насолить мне, она отговорит его сделать для меня анализ, обрадуется, что у меня что-то сорвалось и можно меня унижить».

Лаутер улыбался; он наблюдал за обоими своим спокойным умным взглядом, и хотя уже решил было оставить их наедине, что-то смутно подсказывало ему, что уходить не следует.

Лаутер с интересом осведомился:

— А как печь?

Эре сердито посмотрел на него. Они еще радуются! Наверно, об этом и говорили, когда он вошел.

— Понимаете, — обратился Лаутер к Катрин, — в одну из последних ночей сваливаются сюда ко мне, как снег на голову, ваш муж с господином фон Вассерманом. Я еще подумал, зачем я понадобился этим двум привидениям? И вот ваш муж, этот всем известный смутьян, мнетя, жметя, а потом оказывается — ему нужен химический анализ шамота для его новых кирпичей. А Фалето попросту подшутил над ним. Кстати, какая же судьба постигла этот кирпич?

Эре уклонился от ответа и пробормотал что-то себе под нос. Катрин спросила:

— А вы хоть одну камеру закончили?

Эре стоял перед ними беспомощный, его руки повисли, тяжелые, как гири, губы дрожали; он силился не потерять перед собою власть.

— Мне идти надо, — с трудом выдавил он. Не успел он сделать несколько шагов, как Катрин догнала его, и хотя на них глядели рабочие и даже Лаутер смотрел с удивлением, обняла его за плечи.

— Ганс, в чем дело? — спросила она.

Но он молчал.

— Господи! — возмутилась она. — Да скажи ты, что случилось? Ну, скажи! Бык ты этакый, проклятый, упрямый бык, воды, что ли, в рот набрал? — рассердилась она, так как его губы все еще были сжаты. — Ты же здесь не у помещиков!

Кто-то фыркнул. Лаутер подошел к ним ближе. Его удивление все росло. Наконец Эре с трудом проговорил:

— Пускай он мне поможет!

— Ну и человек! — вздохнула Катрин и умоляюще взглянула на Лаутера. — Разве из Эре что-нибудь вытянешь? «Пускай он мне поможет...» — передразнила она мужа. — Да в чем дело, скажи же наконец! Ну как я могу угадать!

— Печь завалилась! — угрюмо отрезал Эре Катрин побледнела.

— Рухнула, совсем развалилась, и фасонный кирпич — тоже.

Лаутер, умудренный сотнями неудавшихся опытов, улыбнулся:

— Послушайте, Эре, все это не так страшно. Ведь вы же исследователь, надо уметь переносить временные неудачи.

Глаза Эре потемнели и стали враждебными. Катрин бросила Лаутеру предостерегающий взгляд. Все еще не снимая руки с плеча мужа, она спросила:

— В чем он должен тебе помочь?

Эре подумал и сказал, овладев собой:

— Камера могла обрушиться только по двум причинам: либо рецептура кирпича была неправильной — только я не верю в это, — либо температура слишком высока. Доктор Лаутер должен мне одно сказать: какая была температура в камере нынче ночью. Когда я это узнаю, все станет ясно.

— Я пошлю своего ученика, — усмехнулся Лаутер.

Эре стиснул зубы. Он обернулся, и ему показалось, что вокруг него столпились рабочие и насмешливо скалят зубы. Он опять сделал попытку вырваться и снова почувствовал, что его держат крепко.

Катрин сказала:

— Подожди! — Хриплым от волнения голосом она сказала Лаутеру: — Доктор, вы... ну, нехорошо это с вашей стороны. Эре доверяет вам, он пришел сюда, и мне кажется, это не пустяк, что он доверяет вам, именно вам. Может быть, вы не заметили, в каком он горе, в каком горе все там, у печи. Разве вам трудно самому пойти и взглянуть на эти обгоревшие кирпичи и сказать, сколько же градусов было в камере, а?

— А моя работа? — возразил Лаутер. Но оба увидели, что он смущен. Катрин засмеялась и решительно заявила:

— Работа не убежит.

Однако Лаутер продолжал:

— Я понимаю, что эта история с камерой для вашего мужа — тяжелый удар. Но, как я уже говорил тогда ночью, виною не может быть состав, ведь новый кирпич нагревается не выше прежнего. Хорошо, пусть это

будет установлено, так сказать, официально, но что мы от этого выиграем?

Эре чуть было не вспыхнул, но Лаутер предупредил его:

— Да я тоже иду, успокойтесь! Если я не пойду, мне эта женщина покою не даст! — И с комическим отчаяньем он спросил: — И как вы только выдерживаете? Ведь это же сущая пила, она покою не даст! Нет, я бы с такой женой не выдержал!

— Ах, идите вы к чорту! — сердито огрызнулась Катрин.

— Да иду, господи, иду, — сказал Лаутер, улыбаясь, и поспешил выйти.

Эре стоял перед Катрин, и она, опустив глаза, спросила:

— Ну как, теперь все в порядке?

Эре кивнул; он был счастлив. Он протянул руки, Катрин отстранилась. Вокруг них стоял шум работы — скрип пил и стук молотков, и хотя он все заглушал, биенья их сердец он заглушить не мог.

— Он пошел смотреть печь, — сказала Катрин. — А ты чего же тут прохлаждаешься?

Эре прищурился. Легкая улыбка тронула его губы.

— Ну, Катрин... если все в порядке...

— Да иди же... — почти прикрикнула она. — Ты... медведь...

И так как он все еще не двигался с места, она круто повернулась и, словно потеряв терпение, ушла в темноту, в дальний угол, куда не доходил свет и где никто не работал. А Эре не посмел последовать за ней, так он испугался ее лица.

Венде улыбнулся умной и тонкой улыбкой, неожиданно скрасившей его не совсем правильные черты лица; этой улыбкой он завершил разговор, наполнивший его сердце надеждой и доверием. Затем он добавил:

— Видите ли, Андрицкий, я понимаю ваш страх. В годы фашизма людей нарочно запугивали, и так скоро от этого не отвыкнешь. Но вы вернулись, этим все исправлено, и я надеюсь, что мы немало еще поработаем вместе. Как вы думаете?

Андрицкий кивнул; лицо его было спокойно, взор ясен. Он сказал:

- А теперь мне хотелось бы пойти в обжиговой.
- Вы хотите там работать? — удивился Венде.
- Почему бы и нет?
- Но ведь вы художник!

Блеск в глазах Андрицкого потух.

— Я же отказался от этого! — прошептал он.

Венде помолчал, задумавшись, сжав губы; потом сказал:

— Что ж, пошли в обжиговой. Мы еще поговорим на эту тему.

Они направились в цех. Словно вырезанный, кусок неба над цехами и заводскими зданиями был светел и окрашен первыми отблесками весны.

Когда они шли через обжиговой цех, рабочие удивленно смотрели им вслед, перешептывались, и некоторые даже показывали пальцем на Андрицкого. Венде слышал, как один из рабочих сказал:

— Этот? А я думал, он удрал.

Возле печи, в обеих камерах, по которым разделилась бригада, было тихо. Никто не суетился, каждый спокойно и обдуманно делал свое дело — в первой камере Зуза готовила кирпич, Кэте накладывала раствор, а Рейхельт, все еще недовольно кривя зазорное лицо, с обычной ловкостью укладывал кирпичи на нужное место. Когда Зуза увидела у камеры Венде и Андрицкого, она от растерянности уронила кирпич прямо на ногу Рейхельту. Он выругался и поднял голову.

— Ах, так... — напустился он на Зузу. — А ну-ка, давай сюда кирпичи!

Сердце Венде сжалось. Как было бы хорошо и самому двигаться вперед, видеть, как у тебя на глазах растет твоё детище, и вечером иметь право сказать себе: «Вот это... мой день!» Он слышал за своей спиной голос Эре, тот стоял над разрушенной камерой, взволнованный, без колпака; его седые спутанные волосы дыбились над упрямым лбом. Размахивая руками, он что-то объяснял доктору Лаутеру. «Следует ли подойти к нему и сказать, что история с Матшатом кончена, — размышлял Венде, — сказать, что Матшат сознался?.. А Андрицкий еще дополнит. Нет, пусть сам докопается, почему его камера рухнула. Эре тоже отчасти виноват, что Матшат так долго бесчинствовал. Хорошо, пусть к Боку он не питал доверия, и правильно делал, но почему он не пришел к нему,

Венде, новому секретарю? Разве не партия его сюда поставила и разве Эре не должен был бы понять, что в партия вынесла урок из истории с Боком? Нет, пусть сам докапывается, почему камера обвалилась!»

Он подошел к Бакхансу и Кербелю. Те клали стену, подручные с лопатами стояли наверху и делали вид, будто тоже работают. Печникам приходилось самим наклоняться за каждой лопаткой раствора, за каждым кирпичом, оба взмокли, и не только от жары в камере. Венде подумал: «В чем же секрет так называемой системы строенной работы?» Он читал статьи об этом движении, однако так до конца и не уяснил себе, в чем суть. Да и неудивительно. Все статьи ссылались на эту систему, но ни один автор не умел описать комплексную работу и ее методы так, чтобы люди, которые должны были ее освоить, чему-нибудь из этих статей научились. Он бросил взгляд на Рейхельта. Одна из работавших с ним женщин — ну как ее, как ее... — набрасывала на стену раствор, Зуза Рик — она помоложе и поживей — подкладывала кирпич за кирпичом, а Рейхельт аккуратно прилаживал их на место. Что же давал подобный метод работы? Те три движения, которые раньше должен был выполнять один печник, теперь раскладывались на троих — все подсобные движения делали неквалифицированные рабочие и только ответственные выполнял сам печник. А это означало большое облегчение для печника. Ведь до сих пор его силы не экономились, и поэтому не удивительно, что к пятидесяти годам он становился сутулым и словно одеревеневшим от постоянного нагибания.

Венде обратился вполголоса к Андрицкому:

— Видите разницу?

Андрицкий кивнул, но хотя он и заметил разницу в приемах работы, его воображение было занято другим.

— Товарищ Кербель, поднимитесь-ка сюда наверх, ладно? — крикнул Венде Кербелю.

Венде сел на кучу кирпичей, присел и Кербель, свернул папиросу, и когда к ним подошел Бакханс, он тихонько спросил:

— Разве тот вон не удрал?

Бакханс не ответил. Венде тоже молчал, уставившись на Рейхельта и на обеих женщин, а Кербель, следивший за его взглядом, буркнул:

— Сначала удрал...— но тут Кербель замолк окончательно. Некоторое время они следили за ритмом работы. Андрицкому казалось, что это плавные движения людей, наконец освоивших очень трудный танец; Бакханс видел, как взлетает лопатка, видел, как Зуза кладет на стену кирпичи и как быстро под руками Рейхельта растет стена; Кербель что-то ворчал себе под нос. Андрицкий отметил его насмешливый профиль и немногими штрихами набросал на полотне своего воображения. Венде слышал, как подошел Эре и Лаутер; оба молчали.

Рейхельт спросил из камеры:

— Что вам тут, театр, что ли? Лодыри проклятые, расселись! Что вам тут, зоопарк?

Все рассмеялись, а Кербель сделал свирепое лицо.

Венде спросил его:

— Ну, что ты скажешь?

— Насчет чего?

Улыбаясь, Венде показал на Рейхельта.

Кербель, запинаясь, ответил:

— Да ведь вы человеку покоя не даете. Сначала Эре сделал крышку камеры, и теперь мы все делаем, как он. Потом он потребовал новый кирпич. Ну, ладно, сделали. Потом решил печь ремонтировать, не гася — ладно, помогли ему и тут. Потом — фасонный кирпич. Тут дело лопнуло. А сейчас этот вот сумасшедший внизу изобретает что-то новое!

— Я изобретаю новое? — Рейхельт возмущенно размахивал лопаткой перед самым носом Кербеля. — Почему я? Что особенного я делаю?

— Скажешь — не ты? — не отступал Кербель.

Венде улыбнулся про себя. Он спросил:

— А что — это хорошо или плохо?

— Никак покоя не дают, — Кербель покачал головой с комическим отчаянием, преисполненный жалости к себе.

— А если что-нибудь хорошо, нужно это делать или нет?

— Никогда покоя не дадут! — повторил Кербель и поднялся, правда, несколько уставший, сгорбившийся, однако полный энергии.

— Ну-ка, выкатывайся отсюда! — сказал он Бакхансу. — Немедленно! Не желаю больше тебя видеть в своей камере! — Рейхельту он ядовито зашептал: — А ты подожди, подожди у меня! Думаешь — молодой, и этим взял!

Я тебе нос утру. Хочешь нас, стариков, обставить? Да? Только со мной не выйдет. Нет! Я старый печник и покажу тебе, как надо работать! Вот тогда ты попотеешь, да... Так попотеешь, что весь мокрый станешь; но если ты ко мне явишься и ныть будешь — не надейся, я тебе пощады не дам. Тут я только по-настоящему и начну! — И сразу же напустился на подручных, которые, столпившись по ту сторону камеры, хохотали над его яростью: — Что стали, черти кривые, пошли в камеру! А если вы будете работать хуже, чем эти две бабы, я вас там замурую!

Своим торопливым, спотыкающимся шагом он направился в камеру. Все следили за ним глазами. В это время подошли Эре и Лаутер, остановились рядом с Венде, и Эре сказал:

— Теперь вы кое-что увидите!

Кербель зорко следил за работой подручных, направляя их двумя-тремя движениями, указывая, как класть кирпичи, раствор, где и как становиться, чтобы самим работать и не мешать друг другу. Когда все было подготовлено, он бросил:

— Начали!

Оба подручных стояли, неуклюже переминаясь, не зная, за что раньше браться, и один из них, худенький молодой паренек, недовольно спросил:

— Ну, а что теперь?

— А сам-то не видишь?

Подручный неохотно взялся за лопатку, стал набрасывать на стену большие комья раствора, не разглаживая их.

— Хоть бы у женщин поучились! — пробурчал Кербель. Стараясь, однако, не терять спокойствия, он взял из рук подручного лопатку и разгладил раствор так тщательно, что не осталось ни одной щели. А другому он прошипел: — Положи кирпичи-то! — Потом взглянул на Рейхельта, который стоял, выпрямившись, и улыбался; «Насмехается», — подумал Кербель, наблюдая за его усилиями растолковать подручным, в чем именно состоит новый метод.

Кербель погрозил ему кулаком. — Ну, подожди! — Рейхельт рассмеялся, и Бакханс, занятый с двумя подручными подготовкой к ремонту следующей камеры, крикнул:

— Кербель, пошевеливайся! Работа пот любит!

Кербель ответил что-то ехидное, но никто не понял что, и так как подручный начал класть кирпичи на стену, уже некогда было смотреть за тем, что делается в других камерах. Постепенно движения сливались в один поток, становились равномернее, и после того как было выложено несколько рядов, каждый из трех понял, в чем состоит его задача, и тогда камера начала расти — спокойно, непрерывно; и если бы не жара, то на лицах работающих в ней едва ли выступила бы хоть капелька пота.

— А дело-то, оказывается, просто! — крикнул наконец один из подручных Кербеля.

— Заткни глотку-то! Сквозит! Охрипнешь! — Дурное настроение у Кербеля все еще не проходило. Лишь когда стена выросла еще на несколько рядов кирпичей и он, быстро сравнив обе камеры, увидел, что у него стена растет с такой же скоростью, как и у Рейхельта, он сказал уже добродушно: — И правда, дело простое.

Венде повернулся, чтобы уйти к себе в кабинет, но Эре остановил его:

— Товарищ Венде, я должен сообщить тебе кое-что. В первой камере, где использовали мой фасонный кирпич, очевидно, было совершено вредительство. Лаутер считает, что в ней было по крайней мере две тысячи семьсот градусов. Пустешейд исчез, дома его нет. Матшат тоже не вышел сегодня на работу.

— Так... — отозвался Венде, но как будто совсем не удивился. — Пойдем вместе в дирекцию, нам, кстати, надо кое о чем потолковать.

К своему удивлению, Эре вдруг заметил Андрицкого и радостно пожал ему руку. Однако сдержанность Венде все же тревожила его. Они молча прошли втроем короткий путь до заводоуправления. Войдя в помещение партийного бюро, Венде уселся в свое кресло и сказал Эре довольно официальным тоном:

— У меня к тебе просьба, товарищ Эре. Дирекция внесла одно предложение и просит твоего согласия. Сейчас я тебе об этом скажу, и ты, пожалуйста, не кипятись, не взрываись, хорошо? Прежде чем высказаться, подумай сначала с четверть часика. И вообще возьми себе за правило: сначала обдумать, а потом говорить.

Эре не ответил, не почувствовал и внимательного взгляда Андрицкого.

Опустив голову, Эре неподвижно стоял возле письменного стола, и когда тишина стала настолько напряженной, что, казалось, можно было задохнуться, он проговорил вполголоса:

— Ну, валяй!

Венде улыбнулся довольной и добродушной улыбкой. Но Эре ничего не видел, его грудь бурно вздымалась, руки были засунуты в карманы. Он сжимал кулаки с такой силой, что пальцы ломило.

Он услышал спокойный голос секретаря:

— Я тебе сейчас покажу кое-что, вам обоим, после этого ты ответишь на предложение, которое я тебе сделаю или, вернее, передам от имени дирекции. Тебя ждет новая работа...

— Об этом и речи не может быть! — вскипел было Эре, но, встретив взгляд Венде, поник головой и умолк.

— Я ведь просил тебя сначала подумать и посмотреть на то, что я тебе покажу, да? Так вот как обстоит дело: дирекция хочет поставить тебя на новую работу, она доверяет тебе и надеется, что ты поймешь, как важно, чтобы ты согласился. Мы все того же мнения...

— А кольцевая печь? — вполголоса, почти жалобно спросил Эре.

— Отвечать будешь через четверть часа. Ну, идемте вы оба!

Венде зашагал впереди, а они шли за ним по коридорам заводоуправления, пока не оказались перед кабинетом Карлина. Венде пропустил их вперед, затем притворил за собою дверь. Эре тяжело дышал. Трое людей с ясными и зоркими глазами сидели вокруг Матшата, лицо которого было залито потом; они встали и пожали руку Эре и Андрицкому. Матшат на мгновение закрыл глаза; потом снова открыл, и его взгляд приковался к Андрицкому. Лицо мастера посинело, как снятое молоко, кулаки сжимались и разжимались, потом весь он как-то поник: потух блуждающий взгляд, которым он в отчаянии обводил присутствующих, все его тело, казавшееся до сих пор, несмотря на тучность, еще крепким, обмякло. Один из трех мужчин, охранявших его, сказал:

— Ну, Матшат, придется начать еще раз с самого начала! Так что же случилось с подлинными чертежами?



Был конец февраля, сизое небо нависло над городом, как перевернутая чаша; был такой день, когда всем существом ощущаешь весну и это ощущение уносишь с собой и на завод, в цеха. Был конец февраля, и они закончили работу над печью и едва сдерживали радостное возбуждение. Бакханс опустился на ящик с раствором, Кербель, работавший рядом, отбросил лопатку, Рейхельт крикнул:

— У кого есть папироса?

Никто не ответил, сидели молча. Кто уставился на носки своих башмаков, кто — себе на руки, а потом они подняли глаза, задумчиво, выжидательно посмотрели на людей, стоявших вокруг, и лица у всех были светлые и радостные.

Рейхельт опять крикнул:

— Дайте хоть разск затянуться!

Но и Бакханс и Кербель попрежнему молчали, их лица светились внутренней красотой, тем великим, могучим чувством гордости за свою работу, от которого ширится сердце. Жизнь избороздила их лоб и щеки глубокими, неизгладимыми морщинами, но глаза блестели свежо и молодо, как в двадцать лет.

Зуза Рик вылезла из камеры и сказала Бакхансу:

— Дай мне для него папироску, а то он еще взбесится.

— Где Эре? — спросил Кербель.

Зуза пожала плечами. Нигде в цеху его не было видно. Она отнесла Рейхельту папиросу, которую ей дал Бакханс, а потом пошла на поиски Эре. Немного погодя она вернулась вместе с ним. Эре остановился на краю камеры, и Кербель, смотревший на него, спросил:

— Ну как, доволен?

Рейхельт крикнул:

— Вот теперь загуляем!

— Гуляйте... — сказал Эре, — выпейте как следует, а я... словом, у меня дело есть!

— Ишь как зазнался! — поддел его Кербель. — Как мастером стал, так уже и времени не найдет с нами выпить!

Зуза ткнула Эре в бок, он испуганно поглядел на нее, потом полез к Кербелю в камеру, сел рядом с ним, потянулся, и сразу стало видно, как он устал, как измучился. Зуза смотрела на него и думала: «Нет, не в цехе, не в кольцевых печах, не в ответственности за них тут дело, не из-за этого он такой измотанный. Но из-за чего же тогда? Правда, за два последние месяца на заводе много всяких происшествий было: и с Боксом, и с Матшатом, и с сырым материалом, и фасонными кирпичами, но не в этом дело. Что же тогда, что его так доконало?» Как-то она встретилась с Катрин. Та стояла в цехе по производству медного порошка такая спокойная, широкое крестьянское лицо словно окаменело, а когда Зуза свела разговор на Эре и стала допытываться, что с ним, Катрин послала ее к чорту. Эре не младенец, нянька ему не нужна, сам справится. Да, Катрин зубастая и упрямая, стену лбом прошибет. И Эре тоже упрямый. Вот в этом-то все и дело.

Бакханс и Рейхельт спустились в камеру к Эре и Кербелю. И вот теперь они сидели все вместе и молчали, у Эре от усталости слипались глаза; Бакханс спросил:

— Ну, а теперь что? Что теперь будем делать?

— Что же, надо отпраздновать! — ответил Эре. — Пошлите за папиросами, за пивом, хотите — за водкой.

Он сидел с закрытыми глазами. Все молчали, и Бакханс опять спросил:

— Ну, а теперь что?

Эре сказал:

— Можете хоть сейчас печь номер два ремонтировать.

— Всей бригадой?

— Всей бригадой. Я вашу бригаду разбивать не хочу.

Кэте Шпрингер сбегала в заводскую палатку и принесла пива, водки, папирос.

— Собственно, это не разрешается, — ворчливо заметил Эре.

— А ну тебя в болото! — прошипел Кербель.

Они закурили, им стало полегче. Промочили пивом высохшие глотки и так при этом крякали, словно наконец утолили накопившуюся за два месяца жажду.

— Ишь как пенится! — засмеялся Рейхельт и потянулся к следующей бутылке.

— Сколько ни выпей, все мало, — простонал Бакханс и утер растрескавшиеся губы могучим кулаком.

Они курили и пили пиво; к водке никто не притронулся; перекидывались обрывками фраз, вспоминали: «Помнишь, как тогда Матшат... В тот день мы самую большую норму выработали... Ну и дурак же, ведь он тогда думал...» А Рейхельт по молодости лет несколько раз даже прихвастнул: «Если б не я...» Они ухмыльнулись, Кербель съязвил:

— Послушай, ты ведь, кажется, собирался весной уйти на стройку?

— Я собирался? — запротестовал Рейхельт. — Даже и не думал! На стройке зимой мороз, летом жара, а весной и осенью как зарядит дождь... Нет, я лучше здесь останусь, тут круглый год тепло!

Стариков это не удивило. Они оба знали, как трудно оторваться от завода. Пусть воздух кольцевых печей и удушлив, и насыщен угольной пылью, и вреден, но кто им дышал, тот навсегда в плену, тот никуда от него не уйдет.

— Ну так, так, — сказал Кербель, — на сегодня баста! Пойдемте в пивнушку, напьемся как следует!

Но никто не встал, и сам Кербель тоже. Они курили, потягивали пиво, смотрели друг на друга — казалось, они никак не могут расстаться со своими воспоминаниями. Потом Эре поднялся и, запинаясь, сказал:

— Пойду погляжу, что-то там у них с печью номер один не ладится.

Зуза догнала его:

— Послушай, Эре, хочешь я тебе что-то покажу?

Он с удивлением посмотрел на Зузу, однако не стал спорить и пошел за ней к Дому культуры.

И остальные три печника тоже не пошли в пивную.

После долгих разговоров и горячих споров Венде убедил Андрицкого не возвращаться на завод, а заняться живописью, еще раз испробовать свои силы, изображая жизнь завода и людей, работающих на производстве.

В вестибюле Дома культуры была устроена выставка первых его достижений, приуроченная к окончанию ремонта кольцевой печи.

Эре, наморщив лоб, молча стоял около Зузы; и Андрицкий тоже молчал, он ждал, что скажет Эре, от волнения у него дрожали руки.

В свойственной ему незаконченной манере Андрицкий изобразил самые различные моменты жизни завода, но все эти наброски, повидимому, представляли эскизы к более крупным, к более значительным работам. Центральным мотивом был обжиговый цех, и рисунки свидетельствовали, что художнику хорошо знакомы все процессы работы. Прищурив глаза, ходил Эре по выставке, и хотя он не имел ни малейшего понятия о живописи и рисунке, почти во всех работах было что-то, что говорило его уму и сердцу. Вот Кербель, это его насмешливая гримаса, он стоит, протянув руки к длинному ряду шамотных кирпичей, и кажется, что насмешливая улыбка предназначается этим кирпичам, словно он говорит: «А ну, пожалуйста, пожалуйста сюда, голубчики! Сколько б вас ни было, со всеми справлюсь, всех одолею!» А вот — суровое, скуластое лицо Бакханса, глаза напряженно прищурены, от всей фигуры веет таким невозмутимым спокойствием, такой уверенностью. И повсюду Зуза — здесь ее портрет, там она среди угольщиков, и вот опять она... Зуза, которая ходила по выставке вместе с Эре, думала: «Ведь не потому он рисует меня, что мы с ним близки, конечно же нет». Она смущенно сказала Эре:

— Я точно артистка какая на первых ролях — всё с меня портреты рисует.

— Да ты и есть у нас на первых ролях, — сказал художник. Эре заметил, какой нежной любовью светился его упрямый взгляд, и сердце Эре тоскливо сжалось, хотя он и радовался счастью Андреаса и Зузы.

А вот портрет Катрин, — но Эре прошел мимо; болезненно сжал губы и прошел мимо; Андрицкий с Зузой тоже не задержались у ее портрета. Тоска душила Эре.

А вот и он сам на нескольких рисунках под общей надписью: «Наш активист». На одном, верно из самых первых рисунков Андрицкого, у него такое лицо, словно он говорит: «А ну, подходи! Я тебе покажу!» Художнику удалось передать всю его неуверенность и связанную с ней особенную уязвимость, чувство неприязни ко всему

и всем. Эре долго смотрел на свой портрет, потом сказал, запинаясь:

— Вот, значит, я какой!

На лице Андрицкого появилась чуть заметная ласковая улыбка, а Зуза, тоже с улыбкой, сказала:

— Со стороны глядеть — так мы совсем другие, смешно, право!

Эре взял Андрицкого под руку:

— Господи боже мой, и откуда у тебя такие глаза?

Он смотрел на свой портрет, и ему казалось, что с его лица снята маска, что со стены на него глядит другое, настоящее лицо, что он стоит обнаженным перед людьми.

В целом ряде эскизов он был изображен в самых различных видах: вот он за работой в камере, вот что-то обсуждает с Бакхансом, Рейхельтом и Кербелем, а вот и Зуза рядом с ним — размахнулась, чтоб вклеить ему оплеуху.

Он засопел. Ему казалось, что надо что-то сказать, но слова застревали в горле. И вдруг он оказался перед большим полотном. У открытой камеры, в которой работает Бакханс с двумя подручными, стоят Вассерман, Венде и он сам. Он поднял свои широкие руки, и в первый момент можно даже подумать, что он собирается драться, но по его лицу — энергичному, решительному, с ясными, умными глазами — было видно, что, размахивая руками, он подкрепляет жестом свои слова, обращенные к Вассерману. Вассерман стоит перед ним, слегка вытянув шею, чтоб лучше слышать; спокойное, умное лицо освещает улыбка, и видно, с каким удовольствием он слушает Эре. Центральное место на картине занимает Венде — он чуть пониже Эре ростом, зато крепистее, плотнее, в лице уверенность, сила; Венде с интересом слушает Эре, и совершенно очевидно, что разговор его радует.

Эре, долго простоявший перед этой картиной, тихо спросил:

— Вот, значит, какими мы тебе представляемся?

— Смешно? Правда? — засмеялась Зуза, и чувствовалось, что она гордится Андреасом.

Эре опять хотел что-то сказать, но язык словно прилип к гортани, губы не разжимались; слышно было только, как он сопит.

Когда Эре ушел, они еще немного посидели в камере, покурили, выпили; шум цеха доносился глухо, словно издалека. Бакханс вылез из камеры и стал что-то делать около печи; другие тоже вылезли и увидели, что он убирает мусор и кирпич.

Кербель насмешливо спросил:

— Что случилось? Руки у тебя, что ли, чешутся?

Бакханс ничего не ответил, огляделся по сторонам, словно что-то искал, и, увидев в углу ящик, притащил его к печи.

— Что случилось? — опять крикнул Кербель.

— Видно, в мусорщики нанялся? — съязвил Рейхельт.

Но Бакханс, не спеша, подошел к ним и сказал:

— Вот теперь мы отпразднуем по-настоящему!

— Как так отпразднуем?

— А вот так, отпразднуем.

Кербель покачал головой. Рейхельт проворчал:

— Собрание, что ли, устроим?

Из открывшейся двери потянуло холодом. Ветер поднял угольную пыль и окутал черно-серебристой пеленой медленно приближавшуюся группу людей. Доносились голоса, молодые, свежие, как весенняя песнь ветра.

Кербель прошептал:

— Что им надо?

— Глядите! Вся дирекция! — сказал озадаченный Рейхельт и огляделся по сторонам, словно ища, куда бы спрятаться.

Венде с некоторой торжественностью пожал всем по очереди руки, его глаза ласково улыбались. Доктор фон Вассерман тоже поздоровался с каждым в отдельности и Бакханс подумал: «Господи, какие ручки-то маленькие!»

Венде спросил:

— А где Эре?

Печники смущенно пожали плечами.

— Был здесь, — ответил Бакханс, — а потом Зуза куда-то его увела.

— Придет, — сказал Венде.

Вассерман беседовал с Рейхельтом. Кербель, чтобы не вступать в разговор, стал подбирать и отбрасывать в сторону обломки кирпичей.

К печи со всего цеха сходились печники, угольщики — мужчины и женщины с черными, закоптелыми лицами, на которых поблескивали белки глаз. Казалось,

что солнце на улице светит ярче, но солнца не было, стоял конец февраля, был пасмурный, ветреный день.

Одна из женщин окликнула Кэте Шпрингер.

— Ну как? Готово?

Кэте что-то невнятно пробормотала. Но ее угрюмое лицо, на которое война и послевоенные годы — безнадежность, горечь, мучительные одинокие дни — наложили свою печать, просветлело.

Кто-то спросил:

— По почам он тебе больше не снится, не мучает, а, Кэте?

Она весело рассмеялась.

— Мучить не мучает, а снится, твердит одно: мы печь отремонтировали, триста тысяч марок сэкономили.

Все рассмеялись и Кэте тоже. Их веселый грубоватый смех гремел на весь цех не хуже оркестра.

Тут в дверях появилась Зуза, за ней шла слегка взволнованная Катрин, а Эре, шагнувший с ней рядом, при виде такой большой компании, даже остановился. Но Андрицкий подтолкнул его вперед. Венде поздоровался с ним, Вассерман тоже пожал ему руку. Все вместе подошли они к ящику, который Бакханс поставил около печи.

Венде шепнул Гансу Эре:

— Тебе надо выступить!

— Мне? — Он уж готов был вспылить, но Катрин сжала ему руку.

— Должен же кто-нибудь из вас выступить! — Венде посмотрел на остальных печников. Бакханс спрятался за других. Кербель пробормотал:

— Нет уж... нет уж... пусть Эре говорит!

— Кто-нибудь из вас должен выступить!

— Эре, Эре, пусть Эре говорит!

Катрин едва удерживала мужа, его так и подмывало куда-нибудь спрятаться. Взгляд Венде крепче, чем рука жены, приковал Эре к месту. Он стоял бледный, запыленный, руки его дрожали, а когда окружающие ободрили его своими улыбками, он сердито буркнул:

— Ладно! Буду говорить, чорт вас возьми!

Катрин держала его за руку. Даже под слоем пыли было видно, как он вдруг покраснел. Он встал на ящик, в его сероглазом лице произошла поразительная перемена. Оно стало уверенным, открытым, взгляд, переходивший с одного рабочего на другого, спокоен и тверд.

Он громко сказал:

— Печь отремонтирована! Отремонтирована нами! Всеми вместе, общими усилиями! — И пока он говорил, он все время смотрел на Катрин, прямо ей в глаза, и думал: «Все как прежде! Господи, все как прежде и все-таки по-иному!» И он чувствовал, как подымается в нем волна возбуждения, как она захлестывает его; хоть он и стоял с открытым ртом, но сказать больше ничего не мог.

Кербель пробормотал:

— Этак он всех нас осрамит! Говорил бы по-человечески!

— Стащи его с ящика! Всех нас осрамит! — прошептал Рейхельт.

Но Эре справился с волнением:

— Мы сложим еще много печей, очень, очень много печей, потому что мы — сила, большая сила, — сказал он и соскочил с ящика.

Рабочие захлопали. Вассерман задумчиво стоял около Эре, затем подошел к ящику, но не смог влезть на него и остановился около. Близорукими глазами вглядывался он в лица окружающих, застенчиво улыбался, и всем было ясно, что он хочет что-то сказать и не находит слов. Но никто и не догадывался о том, что видел он своим внутренним взглядом, о картинах, которые проплывали у него перед глазами.

— Вот что я должен сказать, — начал он. — Я был против того, чтоб поручать Эре ремонт печи. Больше того: я был против, потому что у меня не было веры ни в других, ни в себя. Вы должны меня понять, я старик, и потому мне трудно поверить, что рабочий... простой рабочий... — он запнулся от волнения, отер лоб, провел рукой по глазам, по рту, но улыбка, тонкая умная улыбка не сходила с чуть дрожавших губ. Он продолжал совсем тихо: — Эре... Эре такой человек... Словом, я таких людей еще не встречал. Он уничтожил во мне ветхого Адама, начисто уничтожил, я стал... я стал другим человеком.

Он опять провел рукой по морщинистому лбу; стоявшие вокруг улыбались, они увидели, как Вассерман вдруг замигал. Венде пожал ему руку, раздались оглушительные аплодисменты, словно рассыпалась груда кирпичей.

Затем заговорил Венде; он старался, чтобы речь его была деловой, сдержанной; говорил о двухлетнем плане, о той силе, которая поможет его выполнить. Он коснулся

сложившихся на заводе условий, показал, что изменило эти условия.

— И способствовал этому изменению Эре, — продолжал он, — всем нам известный Эре, такой же рабочий, как и мы; он стал этой решающей силой, ибо в нем жила живая сила партии. — В голосе его уже не было сдержанности и деловитости, глаза излучали тепло. — Посмотрите на него! Ведь он вышел из наших рядов, ведь он такой же рабочий, как и мы. Он простой человек, но в нем есть сила. Во всех нас есть эта сила, надо только ее осознать...

Не раздалось ни одного хлопка, все, точно зачарованные, впились в Венде глазами. Только Эре не взглянул на него, он стоял, опустив голову; он чувствовал, что Катрин рядом. Бакханс толкнул его в бок.

— Слышишь, слышишь, что он говорит!

Эре шепнул:

— Слышу, и прежде слышал и сейчас слышу!

Все разошлись. Только Эре, Катрин и Зуза с Андреасом задержались у той камеры, которую закончили последней.

— Ну что ж, будем работать дальше, — сказал Эре медленно.

Катрин кивнула, но не тронулась с места. Эре посмотрел на нее, увидел ее сияющие, словно небо в ясный полдень, глаза и отвел взгляд. Андрицкий сказал:

— Мне хотелось бы, чтоб и Катрин посмотрела мою выставку. Остальные, верно, уже там.

Не спеша пошли они все вместе к выходу. Вдруг Зуза предложила:

— А что если нам провести сегодня вечер вместе? Очень бы хотелось послушать хорошую музыку, а то и в кино сходить.

Катрин кивнула в ответ; глаза ее все так же сияли. Она вопросительно посмотрела на Эре. А он почувствовал, что все в нем наполняется радостью.

— Ну, конечно... конечно, — сказал он, но вдруг осекся и через минуту прибавил: — А девочка как?

Катрин покачала головой:

— Опять за старое принялся!

— Девочку-то ведь нельзя одну оставить!

— А кто тебе говорит, что она одна останется? —

Катрин весело рассмеялась, а потом сказала Зузе: —

Знать бы наперед, не взяла бы на себя такую обузу! Говорит о девочке, а думает совсем о другом. Так ведь?— обратилась она к мужу.

Он посмотрел ей в глаза и опять увидел в них то, что наполняло его жизнь все эти годы: и ее веру в него, и тепло, и ласку, и все, что влекло его к Катрин.

— Да, Катрин, так, — сказал он, и хотя Андреас и Зуза стояли тут же, и хотя неподалеку были рабочие, Эре взял жену за руку:

— Но ведь на самом же деле, девочка...

Катрин в притворном отчаянии всплеснула руками:

— Господи боже мой! Опять все сначала, опять за старое принимаешься!

— Опять сначала, опять за старое? — и впервые за долгое время Катрин увидела в его глазах прежний огонек, пожалуй, насмешливый, но в то же время ласковый, любящий. — Говоришь, за старое принимаюсь? Нет, ни в коем случае! Только за новое, слышишь?

Редактор К. А. ФЕДОРОВА

Художник *Е. О. Бугункер*

Технический редактор

Б. И. Корнилов

Корректор *И. А. Булгаков*

Сдано в набор 8/V 1953 г.
Подписано к печати 7/X 1953 г.
А 05191. Бумага $84 \times 108^{1/8} =$
4,6 бум. л. 15,1 печ. л. 16,5. Уч.-изд.
л. Изд. № 12/1822. Цена 9 р. 75 к.
Заказ 892.

Типография «Известий Советов
депутатов трудящихся СССР»
им. И. И. Скворцова-Степанова.
Москва, Пушкинская пл., д. 5.

Отпечатано с набора в 20 л тип.
«Союзполиграфпрома» Главлгдата
Министерства культуры СССР.

Москва, Ново-Алексеевская, 52.
Зак. 768.